

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

Инженеры

Из семейной хроники

I

– Довольно!

И осветились вдруг весь этот громадный зал в два света, экзаменационные зеленые столы, черные доски. И это он, Карташев, стоял, и это ему говорил профессор, пробежав глазами исписанную доску:

– Довольно!

Там в открытых окнах был май, легкий ветерок качал занавески, доносился аромат распускающихся деревьев, сверкало солнце, грохотали мостовые. Карташев кладет в последний раз в жизни этот мел и повторяет мысленно «довольно», стараясь как можно сознательнее пережить это мгновение. И так, довольно, он – инженер. То, к чему четырнадцать лет стремился с многотысячным риском сорваться, – достигнуто.

Каким недостижимым еще вчера казалось это счастье, и отчего теперь, когда цель достигнута, безумная радость не охватывает его неудержимым порывом, отчего он чувствует только, что устал, что хочет спать и что то, к чему он стремился, теперь, когда это достигнуто, кажется ему таким ничтожным, несостоящим...

И потом, положив мел и отойдя в глубь залы, Карташев продолжал ощущать все ту же охватившую его пустоту, в которой как будто вдруг потерял себя.

Ему казалось, что нет больше ни его, ни всех этих людей, здесь стоявших, волновавшихся. Что все они только тени, быстро, быстро проносящиеся в пространстве времени.

И что все эти радости, горе? Что вечно среди этого изменяющегося, равнодушного, неудержимо несущегося вперед?

Двадцать пять лет его жизни казались ему теперь только одним промчавшимся мгновеньем, в котором так ярко помнил он все, всякую мелочь. И в то же время так скучно, так ничтожно, так прозаично все это. И все-таки хорош этот день, этот ясный радостный май, в открытых окнах эти ароматные вздохи ветерка, тянущего с собой привет полей, лесов. Он поедет скоро туда, опять увидит свою Новороссию, ее степи, неподвижные, безмолвные, с угрюмыми скирдами сена на горизонте, ясную тихую речку в камышах с далекою далью сел, церквей, белых хаток, высоких и стройных тополей. И спит это все там теперь в ярком сиянье веселого дня, молодой весны, радостных надежд.

Правда, там нет лесов. Здесь под Петербургом он только узнал эти леса, полянки среди них, здесь под Петербургом только узнал он и аромат этих распускающихся лесов и мощное пробуждение их сразу от зимней спячки. Осень на юге, весна на севере. А эти ночи светлые, белые, – дни во сне, молчаливые, светлые, ароматные. Этот аромат распускающихся душистых тополей и сейчас несется с островов. Ах, эти острова, их сочная зелень, близость

их друг к другу, голубые полосы окружающей их со всех сторон воды. Карташев вздохнул всей грудью. Везде прекрасна природа, и жизнь ее и красивее и законнее людской жизни. Радость ее – радость всех, а радость одного человека – всегда горе для других.

Вот он, Карташев, радуется, что кончил курс, что инженер он теперь. А основа этой радости? Кончил за счет тысяч других обездоленных. Кончил и обеспечен и будет сыт все за тот же счет других голодных.

А можно как-нибудь изменить все это?

Карташев поднял голову и следил в окно за птичкой, нырявшей в радостной синеве безмятежного неба.

Когда-то в гимназии он думал с другими, что можно. Теперь, когда он узнал жизнь... Теперь он думал, что нельзя? Теперь он ничего не думает. Ему показалось вдруг, что он совсем еще маленький в своем саду, Тёма – которого мама ведет за руку по дорожкам душистого сада в такой же ясный день, а он идет ленивый, беспечный и не хочет даже и думать, куда ведет его мама, зачем ведет: умыться ли, ногти остричь или почитать с ним что-нибудь.

К Карташеву подошел его товарищ, Володька Шуман, – толстый, веселый, добродушный.

– Ну, поздравляю.

Шуман еще вчера выдержал свой последний экзамен. Он пожал руку Карташеву и продолжал:

– Ну-с? Я вчера тоже так. Ничего: пройдет. Выспишься... Сегодня проснулся, и первая мысль, что никогда больше ни одного экзамена держать не надо. Хорошо!

Он спохватился и, весело раздувая ноздри, сказал шепотом:

– Однако, пожалуй, на прощанье выведут.

Он еще потоптался на месте и спросил:

– Ты что сегодня думаешь делать?

И, не ожидая ответа, сказал:

– Хочешь, поедем на острова, потом куда-нибудь еще закатимся... Ты вот что: иди пообедай теперь, потом выпись и часам к семи приезжай ко мне. Идет?

– Идет.

Шуман озабоченно пожал руку Карташева и сказал: «А теперь я пошел».

Смешно переваливаясь, мелкими быстрыми шагами пошел к двери.

И Карташев двинулся за ним, в последний раз обводя экзаменационный зал и все стараясь отдать себе ясный отчет в переживаемом мгновении. Но ничего и из этого не выходило. Все было серо, буднично и обыкновенно.

Он устало, лениво шагал по лестнице и думал: «Самое приятное, конечно, что больше никогда не будет экзаменов».

И сейчас же подумал:

«А может быть, что-нибудь будет гораздо худшее, во сто тысяч раз худшее, чем экзамены?»

Он тревожно стал рыться в голове, что худшего могло бы с ним случиться? Умрет жена, дети, когда он женится? Но он никогда не женится. Что еще? Он приобретет состояние и потом потеряет его? Ему смешно стало. У него-то состояние? Никогда у него ничего, кроме долгов, не было и, конечно, никогда ничего другого и не будет. И на что это состояние? Иметь разве рублей тысячу... Он увидел швейцара Онуфриева, красное лицо которого теперь расплылось от радости и сверкало, как красный медный шар.

– С окончанием! Потрудились, и наградил господь.

Это он-то, Карташев, потрудился? Ему стало совсем стыдно, и он смущенно заговорил:

– Не можете ли, Онуфриев, дать мне еще двадцать пять рублей?

Мысль эта у Карташева мелькнула вдруг, и надо было согласиться, что момент был выбран удачный. Расчувствовавшемуся Онуфриеву не удалось принять его обычный настороженный и даже неприступный вид.

Он только нерешительно сказал:

– Не много ли будет? Ведь триста с хвостиком уже.

– В последний раз, – ласково-просительно ответил Карташев.

Онуфриев полез в карман и, доставая из кожаного кошелька точно для случая приготовленную двадцатипятирублевку, отдуваясь, обиженно проговорил, отдавая ее Карташеву:

– Как тут вам откажешь? Только уже, пожалуйста, Артемий Николаевич, – продолжал Онуфриев, вынимая перо, чернила и бумагу для расписки, – вы уже не обидьте.

– Ну, что, бог с вами, Онуфриев, – усмехнулся Карташев.

Когда расписка была написана и спрятана, Онуфриев, подавая Карташеву фуражку, добродушно говорил:

– Согрешить меня заставили, Артемий Николаевич, – ведь после тех троек я на образа крестился, что больше вам не дам.

Да, это была глупая история с этими тремя тройками тогда ночью, когда вдруг он один остался на них среди ночи с поручением рассчитать их, потому что все деньги, какие были у компании, пошли на ужин, а так как он за ужин не платил, то ему и поручили, передав остаток в двенадцать рублей, рассчитаться с этими тройками. В таком отчаянном положении он и поехал тогда к Онуфриеву, подняв его с кровати, а на попытку Онуфриева отказаться сказал:

– Какие пустяки вы говорите, Онуфриев, пока вы не заплатите, я не уйду от вас, потому что ямщики меня убьют.

Это было так убедительно, что тут же, повернувшись к большому киоту с лампадкой, заставленному образами, взбешенный Онуфриев в белых подштанниках, белой рубахе, босой, красный, сияющий гневом, сказал, крестясь:

– Образами клянусь, что это в последний раз и больше от меня не получите ни копейки.

Мсть этим не ограничилась. Надев калоши и пальто, он сам пошел рассчитывать ямщиков, выражая этим подрыв всякого доверия. Это было, конечно, обидно, но дело сделано, и ямщики получили свои деньги, и у него в кармане еще осталось двенадцать рублей, которых до поездки не было.

Было и еще кое-что, отчего Онуфриев охладел.

Как-то раз Онуфриев позвал Карташева к себе в гости.

Приглашение было необычное. Карташев поблагодарил и пришел.

На столе стоял самовар, варенье, бутылка с водкой, другая какая-то, ветчина.

За столом сидела худенькая, тоненькая, почти подросток, светлая блондинка с маленьким птичьим личиком, смешно, точно в миньютюре, снятым с лица самого Онуфриева. И хотя первое впечатление и было далеко не в пользу девушки, но Карташев с свойственной ему в этом отношении добросовестностью уже нащупывал те стороны, если не тела, то души ее, которые вызвали бы и в нем симпатию. Было, конечно, некрасиво смотреть, как она прямо с общего блюдечка брала своей ложечкой варенье, съедала его, облизывала ложечку и опять брала ею варенье, как-то сгибая так пальцы, как будто бы шила. Но при всем том в ней не чувствовалось уверенности, что так и надо было делать. Напротив – робость, нерешительность, она как будто искала опоры, и, наверно, если бы Карташев сказал ей, как надо делать, она и делала бы все, что надо, не хуже всех других.

После чаю Онуфриев, сказав дочери сухо: «уйди», наклонился доверчиво к Карташеву и заговорил, понижая голос:

– Спасибо вам, Артемий Николаевич, что не побрезгали и зашли. Очень полюбил я вас. Простите за слово, как отец сына... Тридцатый год доходит, что я швейцаром в институте, а добрее вас и не видел. Очень много в вас этой доброты, и льнут к ней люди, как мухи к меду. Только ведь и пропасть так легко от этой самой доброты. Солнышко и то всех не обогреет. А ведь вы для всякого рады, а не можете, а беретесь. Ведь я вот вижу, через мои же руки все повестки проходят, сколько вы получаете, сколько каждый год привозите, сколько у меня и других, может быть, перехватываете, – по-царски жить бы можно, а вы в двугривенном

всегда нуждаетесь. А отчего? Все людям...

Карташев энергично замотал головой.

– Нет, нет, Онуфриев. Это только так кажется: просто я не умею обращаться с деньгами. Когда у меня в кармане деньги есть, мне кажется, что они и всегда будут.

– И потому их и нет у вас. Ну, да известно, ваше дело барское, и маменька оставит, и сами станете зарабатывать...

– От матери я ничего не получу: все пойдет сестрам...

– Ну, это уж ваша вполне воля, а я к тому, что я-то жил не по-барски и всю жизнь копейками собирал. И все думал: как жить, как жить. Была жена у меня, мать вот Лизы, теперь только Лиза одна на весь свет божий. Для нее живу, для нее и работаю. Кто враг своему детищу, хотел бы я, чтобы хоть по мужу, если не по отцу, вышла бы она из хамского сословия, – хотел бы, а как бог велит, как люди побрезгают, нет ли?

Карташев оживленно и горячо начал доказывать, что времена теперь уже другие, что никакой давно уже разницы нет между сословиями, что его Лиза такое прелестное дитя, что он лично не сомневается в том, что она достойна высшего счастья на земле.

– Ваша бы воля, – перебил его Онуфриев, усмехнувшись. – Все в руках божиих: только одно, что Лиза моя тоже не с совсем пустыми руками в люди пойдет. Вот я и хотел об этом с вами посоветоваться. Я так вам, как на духу, откроюсь: скопил я тридцать семь тысяч, вот вы мне и посоветуйте теперь – в каких бумагах мне их лучше держать? – Онуфриев уставился в Карташева совсем близко своими рачьиими глазами. Карташеву казалось, что он, как в лупу, смотрит в красную расширенную кожу его лица, где каждая пора рельефно обрисовывалась впадиной и где так много было каких-то белых пупырышков.

«Как в швейцарском сыре», – подумал Карташев, и ему показалось, что от лица Онуфриева и пахнет, как от швейцарского сыра. Он быстро подавил в себе неприятное ощущение и ласково-смущенно ответил:

– Видите, Онуфриев, я совершенно ничего не понимаю в бумагах.

– А как же... Ведь у маменьки вашей, наверно же, деньги в бумагах?

Карташев отлично знал, что у матери его никаких бумаг нет, что и дом и деревня заложены, но ответил:

– Конечно, вероятно, в бумагах, но она мне об этом никогда ничего не говорила. Дом есть, деревня есть... Если хотите, я напишу матери и спрошу...

– Ах, пожалуйста...

После этого Карташев стал прощаться, обещал заходить, несколько раз Онуфриев напоминал ему.

– Непременно, непременно, – отвечал озабоченно Карташев.

Как-то Онуфриев спросил:

– А что, от маменьки нет еще ответа?

– Вероятно, скоро будет.

– Вот с этим ответом, может, зашли бы... Обрадовали бы старика, и дочка все про вас спрашивает...

– Ваша дочка такая милая...

– Простая девушка.

– Слушай, Володька, – говорил Карташев, идя с Шуманом после этого разговора из института, – помоги, ради бога, может быть, ты знаешь, какие бумаги считаются самыми доходными?

– Тебе на что? Покупать хочешь?

Карташев рассказал ему, в чем дело.

– Тридцать семь тысяч?! Однако твоих сколько там?

– Что моих? Я каждую осень дарю ему сто рублей.

– Хорошенький процент за триста и за неполный год. Очевидно, таких дураков не ты один.

– Наверно, один. Он сам говорил, что за тридцать лет другого такого он не знал.

– Откуда же у него деньги?

Картагаев пожал плечами.

– Кого-нибудь убил, обокрал? – спросил Шуман, – впрочем, я отчасти догадываюсь, я кое-что слышал, он дает свои деньги инженерам-подрядчикам и участвует в прибылях.

– Ну, а насчет бумаг?

– Все это глупости: он лучше тебя знает толк в бумагах. Он просто хочет женить свою дочку на тебе и таким путем показывает тебе свое состояние.

– Его дочь очень симпатичная...

– И ты, конечно, уже не прочь жениться?

– Я не женюсь, потому что решил никогда не жениться...

– И самое лучшее, что ты мог бы сделать и чего, конечно, не сделаешь. Десять раз женишься...

– И по закону можно только три всего...

– Ну, закон... – махнул рукой Шуман.

– Все-таки что ж мне ему сказать насчет бумаг?

– Насчет бумаг? Много хороших есть бумаг: Брянские. Ты вот что ему посоветуй – Харьковского строительного общества. Это новое дело и обещает очень много.

– Отлично!

На другой день Карташев так и сообщил Онуфриеву. Тем и кончился разговор у них о деньгах, и так больше и не был Карташев в гостях у Онуфриева, если не считать его визит тогда только за деньгами для троек.

Все это быстро вспомнилось теперь Карташеву, когда он шел по улице в свою кухмистерскую.

Время было еще раннее, и в кухмистерской, кроме одного молодого студента, никого не было. Студент усердно читал какую-то книгу и ел, или, вернее, пожирал ломти серого ароматного хлеба в ожидании, пока подадут обед.

Все так же стояли белые столы, и каждый стол принадлежал другой девушке. В дверях появилась Ефросинья. То же светлое накрахмаленное платье, черная бархатка на шее.

– Сегодня рано пришли.

Карташев сегодня как-то ближе взгляделся в Ефросинью и с грустью заметил следы времени на ее лице: как-то уменьшилось лицо, выдвинулся подбородок, сморщилась и сбежалась местами кожа, и не белизну шеи, а желтизну ее подчеркивала уже бархатка.

Пять лет назад это была свежая, еще красивая женщина. И резче подчеркивалась эта перемена, потому что в раскрытые окна смотрел ясный майский день, радостный, молодой, ленивый.

– Как поживает ваша дочка?

Точно кто дернул за невидимый шнурок, и лицо Ефросиньи сбежалось так, что слезы вот-вот готовы были брызнуть из глаз. Она только махнула безнадежно рукой и ушла за новым блюдом. Умерла, что-нибудь случилось? Карташев не решился больше спрашивать.

Когда он кончил, народу набралось уже много. Все это были молодые, незнакомые, чужие. Теперь уже совсем чужие. Ефросинья кивнула ему головой и равнодушно бросила:

– Прощайте.

Да, все это чужое уже.

II

Карташев пришел домой и лег спать.

– Агаша, будите меня в пять часов. Крепко только будите, а то я две ночи не спал и легко и до завтра просплю, а мне необходимо...

Отдав это распоряжение, Карташев с удовольствием вытянулся на кровати.

Кончена одна часть жизни. Странная, кочевая изо дня в день жизнь. Только бы сегодня как-нибудь.

И сколько ни пробовал Карташев выбиться из этого сегодня, как-нибудь наладиться, так ничего никогда не выходило из этого. Жизнь точно в гостинице, куда приехал на несколько дней. И так шесть лет день за днем. Что сделано?

Ах, решительно ничего. Никаких знаний не приобретено. Каким-то только чудом сохранилась жизнь и возвратилось здоровье.

Возвратилось ли еще? Через десять, двадцать лет все это еще может сказаться. В сущности, если серьезно вдуматься, жизнь уже разбита. Разве можно, например, при таких условиях...

Если серьезно вдуматься...

III

Долго будила Агаша Карташева. Были минуты, когда Карташев окончательно решал продолжать спать до следующего утра. Но все-таки проснулся и в шесть часов в штатском пальто и в студенческой фуражке вышел на улицу.

Ради такого торжественного случая он решил, благо деньги были, взять лихача.

– О-го, – сказал Шуман, выходя и увидев лихача. – Прежде всего вот что надо сделать: купить кокарды на шапки.

– Следовало бы и шапки новые.

– Сойдет, даже лучше так, – как будто старые уже инженеры с постройки приехали.

И конец дня был такой же ясный, как и весь день. Веяло прохладой от Невы, заходящее солнце так безмятежно золотило ее гладь, таким покоем, такой радостью веяло от воды, от зелени, от деревьев, такой чудный свежий аромат проникал весь воздух.

Вот Петербургская сторона, вот Александровский парк, вот дом, где когда-то он, Карташев, жил. Там и Марья Ивановна жила. Как безумно тогда он любил ее. Потом разлюбил. Другую полюбил. Как ее звали? Да, Анна Александровна. Она жила против Петровского парка. Он как сейчас помнит подъезд этого дома, переднюю, где однажды, стоя на коленях, он надевал на ее ботинки калоши. Вот Большой проспект. Как часто он гулял здесь под вечер с ней. Что-то было тогда очень хорошее. Такое хорошее, что и теперь стало Карташеву весело и легко.

– Все-таки хорошо, Володька?

– А? Что? Да ничего.

– О чем ты думал?

– О чем думал? Думал, что надо с завтрашнего дня начать шляться по разным передним: служить надо начинать.

– Давай вместе шляться?

– Гм... Давай, пожалуй.

– Черт возьми, денег ведь дадут, Володька.

– Ну, подождешь еще: нынче с местами не так просто. Те времена, когда со скамьи, да чуть ли не в главные инженеры прямо, – прошли. Теперь, ой-ой, как горб набьешь, пока дослужишься до чего-нибудь.

– Тебе хорошо, – ты все пять лет бывал на практике, и всё на стройке, а я ведь только кочегаром ездил.

– Да, трудно будет. Придется учиться у десятников. Ты сразу начальство из себя не торопись разыгрывать, а то дурака сваяешь. Сперва тише воды, ниже травы, учись, а там через несколько месяцев, как подучишься, и валяй.

– Трудно строить?

– Трудно сапоги шить? Научишься, ничего трудного и не будет.

– Что, собственно, из наших институтских познаний пригодится?

– Для практического инженера? Ничего. Практически-то, что знает хорошо десятник, мы так никогда и знать не будем.

– А теорию ведь мы тоже не знаем.

– Научились рыться в справочных книжках, – на все ведь готовые формулы есть...
– Проживем?
Шуман только рукой махнул.
– Эх, Тёмка, Тёмка, – вздохнул Шуман, – бить тебя некому.
– А что?
– Да вот я думаю. Ну я? Ну и бог мне велит. А ведь ты... ведь ты такой талантливый.
– Я-то талантливый?
– Такой способный... самый способный между нами... Самую чуточку занимался бы и блестящим был бы инженером. Я не хочу тебе никаких комплиментов говорить, но ведь занимались же мы с тобой, и видел я, как тебе все без всякого труда дается.
– В этом-то и несчастье мое. Лучше было бы, если бы я знал, что мне дается с трудом, тогда бы я трудился.
– А без труда тоже нельзя, – пустой ракетой пролетишь... А мог бы... Куда поедет? На Крестовский, что ли?
– Покатаемся еще – и на Крестовский.
Вот и Стрелка. Плоская даль воды. Красный диск на горизонте, вереница экипажей, гуляющих на Стрелке.
Ох, сколько и здесь воспоминаний. Наташа... Сколько их, однако, было? С Наташей большой кусочек жизни ушел. Хороший? Так недавно все это было еще. Болит и до сих пор, лучше и не думать: прошло и не воротится. Тогда зимой на этом озере он ходил с ней, это было в первые дни знакомства, он до сих пор помнит ощущение прикосновения к ее руке в перчатке. Точно мир весь он принимал тогда от нее, замирая от восторга.
Оттуда поехали на Крестовский. И Шуман и Карташев слонялись, скучая в густой толпе собравшейся публики, то слушая исполнителей открытой сцены, то гуляя по аллеям.
– Скучно, – сказал Шуман, – едем домой, с завтрашнего дня надо приниматься за искание дела, пока еще не все кончили свои экзамены. Завтра в девять часов будь готов: я найду за тобой.
– Так рано?
– Рано! Порядочный инженер в девять часов второй раз спать ложится.
– Ну, значит, я буду плохой инженер, потому что больше всего на свете люблю спать.

IV

В девять часов точно на другой день Шуман был у Карташева.
Карташев, конечно, не только не был готов, но и с кровати еще не вставал.
– Даю тебе четверть часа сроку, – сказал деловито Шуман, – если не будешь готов, пойду один.
Он вынул из кармана газету и сел ее читать.
– И разговаривать не хочешь?
– Не хочу.
– Ну, и черт с тобой.
Карташев начал быстро одеваться.
– Стакан чаю можно выпить?
– Пей. А потом садись и пиши вот такое прошение.
– Это что?
– Это прошение в министерство о зачислении на службу. Это не мешает частной службе, а по министерству будешь числиться. Будут идти чины, эмеритура, пенсия...
– Господи, о чем он думает?
– Все, друг мой, в свое время придет. На старости лет, когда разобьет паралич и, кроме исполнительных листов, ничего за душой не будет, полтора ста, двести рублей в месяц – их как пригодятся! Будет на что нанять комнату, человека, который будет тебя по носу щелкать.
– Купить, наконец, револьвер, чтобы покончить с собою, вместо того чтобы вести

такую гнусную жизнь.

– Кончают единицы, – наставительно ответил Шуман, – а остальные миллионы с жизнью расстаются только поневоле.

Карташев написал такое же прошение, как и Шуман, и приятели отправились в министерство. По дороге они оба купили по маленькому инженерному значку и вдели в борты своих сюртуков.

Справились у швейцара, доложились дежурному чиновнику, а тот привел их в приемную директора департамента общих дел.

Пришлось ждать долго. Наконец вышел плотный, низко остриженный господин и отрывочно спросил:

– Чем могу служить?

Шуман и Карташев молча подали свои прошения.

– Вы, собственно, куда же хотите поступить?

Карташев и Шуман переглянулись. Куда они хотели бы поступить?

Они хотели бы поступить на постройку какой-нибудь железной дороги.

– Непременно на постройку?

– Непременно.

– В департамент шоссейных, водяных не желаете?

Не только не желают, но Карташев объяснил и причины. И на шоссе и в водяных берут взятки, а так как они этого не желают, то и хотят идти на постройку.

– А на постройке взяток не берут?

– Там платят такое жалованье, что люди могут и без взяток жить.

– Гм... Очень жалко, господа, что ничем вам не могу быть полезным, так как в моем распоряжении места только по общему департаменту, где этого, – он дотронулся рукой до значка Карташева, – не надо. Но, если хотите, свободные места у меня есть.

– А с этим что делать? – спросил Карташев, показывая на свой значок.

– Снять.

– Очень жаль, что пять лет тому назад мы не догадались прийти к вам, теперь, вероятно, мы бы уже дослужились...

– Чем еще могу служить? – резко перебил его директор и, не дождавшись ответа, скрылся за дверью.

Карташев и Шуман залились веселым смехом.

– Нет, какая свинья... – начал было Карташев.

Но в это время дверь снова отворилась, и в ней опять показалась фигура директора. Карташев и Шуман бросились в коридор.

– Ну, здесь ловко устроились, – говорил полушутя, полусердито Шуман Карташеву, шагая с ним по панели, – и, если так же успешно дальше пойдет, мы скоро себе составим блестящую карьеру. Послушай, так нельзя!

Его маленькие ноздри раздулись.

– Мы бы еще весь курс с собой прихватили и так и шлялись бы. Надо ходить каждому отдельно.

Шуман вынул из кармана записную книжку и сказал:

– Вот запиши себе, куда идти.

У Карташева не было ни карандаша, ни бумаги.

– Ну, какой ты к черту инженер, если у тебя нет записной книжки. Карточки есть?

– И карточек нет.

Шуман пожал плечами, вырвал листок из своей книжки и записал несколько адресов.

– Сегодня иди вот к этим, а завтра к этим. Не перепутай смотри, а то будем встречаться. Если еще что-нибудь подвернется, буду нюхать и скажу тебе. А теперь прощай. Прежде всего ступай и купи себе книжечку с карандашом, еще лучше технический календарь, а то вдруг спросят, сколько будет дважды два, так без календаря, пожалуй, и не ответишь. Потом закажи себе карточки, а внизу – инженер путей сообщения. И не будь нахален при ответах.

Все-таки с директором можно было бы разговориться: может быть, в конце концов и узнали бы от него что-нибудь. А ведь прошения наши все-таки взяли.

– Что ж с этого толку?

– Зачислят, по крайней мере, по министерству. Ну, прощай.

Друзья расстались. Карташев заказал себе карточки, купил технический календарь, обошел все правления по записанным адресам, но толку из этого никакого не вышло. Везде более или менее вежливо отвечали, что мест никаких нет. Иногда вскользь спрашивали, бывал ли он на практике, и на отрицательный ответ повторяли опять, что никаких мест нет.

Выяснилось и чувствовалось, что ходи он так и всю остальную жизнь, все только бы и выслушивал он на разные лады тот же ответ. Шуман почти пропал из виду. Исчезли как-то с горизонта и остальные товарищи. Кончились экзамены и в институте, и прежде широко раскрытые его двери теперь были запорты.

Точно карточный домик, развалилось вдруг все связывающее его с товарищами, институтом.

Кончил, и все надо было опять начинать откуда-то сначала, надо было опять взбираться на какую-то неприступную без лестницы башню жизни.

Карташев тоскливо ходил кругом этой башни и не видел ни входа, ни выхода.

Что толку, что он инженер теперь? Никогда на самом деле он не будет инженером, никогда ни одной дороги не выстроит. Но что же делать, как жить дальше?

Идти на шоссе или в водяные?

Лучше совсем распрощаться с инженерством.

«Сделаюсь учителем математики», – думал Карташев и тут же думал:

«Какой же я учитель, когда я не знаю никакой математики. Любой гимназист сконфузит меня, как захочет».

Поступить разве опять в университет на математический факультет, чтобы стать настоящим учителем? Тогда уж лучше на юридический опять? Чтобы быть лучшим юристом между инженерами, лучшим инженером между юристами.

«Ну, в акциз поступлю, – думал Карташев, – там теперь тоже взятки нет. – Как-нибудь проживу же».

Редкие встречи с товарищами и даже с Шуманом оставляли еще более тяжелое впечатление. Всякий боялся проговориться, всякий таинственно отвечал на вопросы, что он думает делать.

– Еще ничего не известно...

«Все эгоисты, все думают только о себе», – горько жаловался сам себе Карташев.

Зато из дому слали ему без счета радостные поздравительные письма и телеграммы. Энергично звали его домой.

Конечно, приятнее было бы приехать уже настоящим инженером-строителем, с местом, с бумажником, наполненным деньгами. Но и без этого тянуло туда, где любят и ждут.

– Поеду, – решил Карташев.

Зашел к Шуману, по обыкновению не застал его дома и оставил ему записку, что завтра с почтовым уезжает.

Шуман незадолго до отхода почтового поезда приехал на вокзал.

– Ну, что, как твои дела? – спрашивал его Карташев.

– Клюет, – ответил уклончиво Шуман.

– А у меня ничего не выгорело, – пожаловался Карташев.

– Гм... – промычал в ответ Шуман.

Перед последним звонком появился Шацкий.

В злополучный год болезни Карташева и его Шацкий отстал на один год, и с тех пор бывшие друзья почти не виделись.

Шацкий остался Шацким. Ломаясь, изображая из себя героя того романа из иностранной жизни, который последний прочел, он церемонно и галантно, едва дотрагиваясь до протянутой руки Карташева, проговорил:

– Узнал, что уезжаешь, и счел долгом проводить тебя.

– Ну, а я пошел, – сказал Шуман. – Прощай.

Он запыхтел, покраснел и трижды поцеловался с Карташевым.

– Ну, всего лучшего.

Шуман неуклюжей, проворной походкой, смущенно кивнув Шацкому, направился к выходным дверям.

Шацкий сейчас же после ухода Шумана сбросил с себя шутовской вид и заговорил простым языком.

– Ты грустен? Не могу ли я быть чем-нибудь полезным? Может быть, денег?

– Нет, спасибо. Да, невесело. Вот кончил и решительно не знаю, что с собою делать.

– Очень все это глупо организовано у нас. У одних все пять лет практики, у других ни разу. И моя судьба такая же будет. И в этом году опять никакой практики.

– Иди хоть в кочегары, – посоветовал Карташев.

Шацкий только досадливо дернул плечом.

– Что ж ты будешь делать? Домой поедешь?

– Ну, вот еще. Я уже третий год домой не езжу. Я ведь постоянно на практике, а с практики я еду прямо на лекции, потому что я остепенился и вот уже три года, как у меня нет ни одного потерянного дня. Что дня? Часа потерянного нет.

– И это, конечно, стоит денег?

– Не будем говорить об этом. Меньше, во всяком случае, чем служба моего брата в гусарах.

– Он кем там?

– Солдатом, *mon cher*, но это стоит десятка полтора тысяч в год. Держит, между прочим, своих лошадей для скачек. Теперь как раз скачки, и он зовет к себе в Варшаву. Старик в восторге: высылает ему и лошадей и деньги.

– Это тот твой брат, который поступал, когда мы кончали?

– Тот самый. В высшее заведение не пошел, и поверь, что сделает лучшую, чем мы с тобой, карьеру. Этот мальчик имеет нюх и поставлен не по-нашему. А мы с тобой... старики уже... Еще живы, еще не в могиле, но...

Суждены нам благие порывы,

Но свершить ничего не дано...

Тряпки, *mon cher*. Третий звонок, прощай, и если когда-нибудь вспомнишь старого друга, каких теперь уж нет и быть не может...

Шацкий опять впал в свой обычный тон и махал стоявшему в окне вагона Карташеву. Вагоны медленно двигались, Шацкий еще раз махнул, повернулся спиной, постоял мгновение и, карикатурно раскачиваясь, быстро, толкая публику, помчался прочь.

Карташев уныло провожал его глазами.

Скучные мысли ползли ему в голову.

Быстро пронеслось время. Давно ли подъезжал он впервые шесть лет тому назад к этому Петербургу. Шесть лет промелькнули, как шесть страниц прочитанной книги. Он ехал тогда и мечтал, что в эти шесть лет он приобретет знание, которое даст ему прочную возможность независимо стоять в жизни. Но знания нет. Давно, еще в гимназии, потерял аппетит к работе, и если кто-нибудь не сжалится и не даст кусок хлеба, то он пропал.

Ах, может быть, и будет этот кусок хлеба, но так тоскливо, так пусто на душе. Назад бы опять, к началу этих шести лет, за работу.

Все быстрее и быстрее мчался поезд по зеленым кочкам и болотам.

Карташев печально смотрел в окно.

Приезд домой не освежил Карташева. По крайней мере, на первое время. Дома как будто все осунулось, уменьшилось.

Мать постарела, волосы ее побелели еще с болезни Карташева. Давно и эта болезнь была забыта, и отношения установились как будто прежние, но что-то из прежнего оставалось все-таки и навсегда легло между матерью и Карташевым. В той бывшей борьбе слишком уже обнаружилось как-то все и было так неприкрашено, что всякое воспоминание и с той и с другой стороны о том времени вызывало прозу и горечь. А отсюда постоянное опасение как-нибудь коснуться этого прошлого, этого больного. Опасение коснуться не только на словах, но и в воспоминании.

Наташу часто вспоминали еще, и сильнее тогда вставало в памяти пережитое.

Зина по-прежнему была замужем за Неручевым, но дела их шли все хуже и хуже. Муж ее отчаянно кутил, а Зина толстела и ходила с опухшими глазами.

Аня кончала гимназию, религиозная, влюбленная в мать. Кончал гимназию и младший брат и, хлопая покровительственно старшего брата по плечу, говорил, горбясь:

– Так-то, батюшка, через годик и мы студентами уже будем.

– Ну, что, вас донимают в гимназии?

– Кого донимают, а кого и нет. Везде надо с умом. С умом проживешь, а без ума не взыщи. Мы тоже кое-что маракуем и на вершок сетей наплетем два.

– Не совсем понимаю, в чем дело.

– Не совсем это и просто, – отвечал многозначительно младший брат, – а в общем, как видишь, живем, хлеб жуем.

– Политикой занимаетесь?

– Что политика? Ерунда... Что мы, гимназисты, можем значить в какой бы то ни было политике? Надо быть уж совсем мальчишкой...

– Но все-таки такие мальчишки у вас в классе есть?

Младший брат горбился по-стариковски, делая ироническое лицо, и говорил:

– Есть и такие... Всякого жита по лопате, но суть не в них.

– Суть в таких, как ты?

– Я вижу, – отвечал младший брат, – ты хочешь, кажется, начать иронизировать, – ну что ж, на здоровье. Но если хочешь говорить серьезно, то я отвечу, что суть действительно в таких, как я. Мы ничем себя не воображаем, звезд с неба не хватаем, вершить судьбы любезных сограждан не собираемся, но свое дело, которое под ногой, исполняем и в будущем, надеемся, будем также исполнять. Не в обиду тебе будь сказано, – ведь кое-какая память о вас сохранилась, – вы все были чуть ли не гении, когда кончали гимназию, а знали-то вы, вероятно, ох как мало. Не знаю, что узнал ты за это время в своем институте.

– Ничего не узнал.

– Ну, что ж, сознание вины – половина исправления, говорят, а все-таки...

– Водку пьете, в театр ходите, собираетесь вы?

– Водку иногда для ухарства пьем, в театр ходим мало, в карты маненько маракуем.

– В какие игры?

– Больше в винт, иногда в макашку.

– Влюбляетесь?

– И не без этого, бо homo sum [я человек (лат.)].

– Читаешь?

– Как тебе сказать? Попадется под руки, прочтешь, конечно. Но постоянно читать – времени нет. Если заниматься как следует, то когда же читать? Вы, конечно, в этом отношении счастливее нас были: вы считали возможным игнорировать занятия. Вы гении зато, а мы бедные ремесленники: куда пойдешь без знаний?

Увидев огорченье на лице старшего брата, младший сказал:

– Ты не обижайся. Гении вы не потому только, что там способности у вас, что ли, больше, чем у нас, а и по своему положению, как старшие в семье, – ты, Корнев, Рыльский, все вы ведь первенцы, на вас все внимание, а мы подростки, мы всегда в тени, – книги от

брата, костюмы от брата, и это через все само собой проходит. И в результате – вам императорскую корону, вам все можно, и вы все можете, а нам зась, мы только вашего величества братья, мы обречены жить и прозябать только в тени ваших лавров. Вы, старшие, словом, съели наши доли, так уж где же нам сметь и на что больше можем мы надеяться, как не на свои усиленные труды.

– Однако... Ты, любимый братец, лет на десять старше, прозаичнее и скучнее меня... Перед тобой, как говаривал Корнев, я просто мальчишка и щенок.

– Ну, ну, унижение паче гордости.

– В бога ты веришь?

– Осмелюсь доложить, что верю. А ваше величество?

– Нет.

– Но в душе это вам не мешает креститься на каждую церковь и молиться на ночь?

– На церковь я не крещусь, а на ночь молюсь. Но это не молитва: это привычка, благодаря которой я вспоминаю каждый день всех близких мне. Точно так же я люблю все обряды рождества, пасхи, потому что они связывают меня с прошлым, и без этого жизнь была бы скучна.

–носишь образок на шее?

– Висит – и ношу. Куда же мне его деть?

– Видишь ты, – наставительно заговорил младший брат, – я не люблю делать что-нибудь машинально, я люблю давать себе во всем отчет. Я не верю в неверующих людей. Я думаю, что предрассудками ли, поколениями ли, действительной ли своей силой, но вера так связана со всем нашим существом, что, отрешаясь от нее на словах, попадаешь в очень унижительное положение перед самим собой. По существу от нее не отделаться, а снаружи отрезав: ложь и фальшь. Так чем так, я лучше буду на виду у всех крестить себе лоб.

– Неужели ты не можешь допустить мысли, что существуют искренно неверующие люди?

– Охотно допускаю. Я сам начну вдумываться, рассуждать и всегда приду к тому, что ничего нет и быть не может. Вся эта сказка вочеловечения, вознесения на какое-то небо, когда мы теперь уже знаем, что это за небо, – все это, конечно, устаревшая сказка, и тем не менее все эти рассуждения, как спичка в темноте – пока горит, – светло и видишь, что ничего действительно нет, а потухла – и опять охватывает мрак и образы мрака опять таинственно что-то шепчут, шевелят душу, трогают.

– Да ты бессонницей, что ли, страдаешь, галлюцинациями?

– И не думаю, сплю, как убитый, но я знаю, что я человек моей обстановки и никуда от нее не денусь; и не важно это: верю я там или не верю. Больше скажу тебе: если б я даже действительно перестал верить, я больше бы гордился тем, что все-таки я крещусь, а не стыдился бы того, что вот я крещусь.

Вошла мать, положила младшему сыну руку на голову и сказала:

– Умница: это мой сын, и все они не вашему поколению чета.

– Там умница или не умница – это особь статья, а думать так, как мне думается, это я считаю своим правом.

– Да это, конечно, хорошо, – согласился старший Карташев, – но чтоб думать правильно, нужна гарантия для этого. Гарантия же в развитии, чтении, в знакомстве с мыслями других. Да и этого мало, необходимо руководство. Знаний так много, что без руководства запутаешься в них и никогда на торную дорогу не выйдешь.

– А на что тебе торная дорога?

– Потому что в том и жизнь, что наступает мгновение и требует для него решения, – без подготовки и решения никакого быть не может.

– А по-моему, сознание является *post factum* [впоследствии (лат.)], и всякое решение для действующих лиц всегда является бессознательным. Осмысливают его уже потом историки, ученые, филологи.

– Ты умный, – улыбнулся старший Карташев.
– Вумный, – поправил младший брат.
– Умный с воздухом, как и я, как всякий русский, – палец приложил ко лбу и поехал: выходит гладко, но торных дорог мышления нет, нет степени, нет направления, а потому все мы только рассуждающие балды, очень щепетильно отстаивающие свое право быть такими независимыми балдами.

– Ишь как у тебя сильна закваска старого, – усмехнулся младший брат. – Ну, поживешь еще, проветришь и остатки.

– А его мысли ведь зрелее твоих, – кольнула мать старшего сына.

– Я и то говорю, что он на десять лет старше, скучнее и прозаичнее меня.

– Ишь сердится, – ответил покровительственно младший брат, – друг Горацио, ты сердишься, потому что ты не прав.

– Да ну тебя к черту, – полушутя, полураздраженно сказал Карташев, – надоел.

– Идите лучше черешни есть.

– Вот это верно, – согласился младший брат.

И, взяв под руку старшего, сказал все тем же покровительственным, добродушным тоном:

– Идем, голубчик мой, черешни есть, и черт с ней, с философией, бо морочная дюже эта наука!

– Ах, Сережа, я ведь не отрицаю, что я профан и невежда, но ведь сомнение без знаний – это ведь совсем уж безнадежное профанство.

– Ну и будем безнадежными профанами, но оставим друг друга в покое: ты думай так, я буду по-своему, а черешни будем есть вместе.

– Так, так, так, – согласился старший Карташев.

Больше других жизнь в семью вносила Маня.

Тюрьма на нее не имела никакого влияния: она по-прежнему смело, вызывающе смотрела своими прекрасными глазами, густые, вьющиеся от природы волосы ее были всегда в беспорядке, она любила смеяться, в ней было много юмора, задора, душа нараспашку; она всегда была быстра на решения и действия.

Во время суда в ней большое участие принимал председатель военного суда Истомин. Он и после в тюрьме навещал ее, через нее же познакомились семьями.

Председатель был уже старик, женатый на совсем молодой, и у них была прелестная трехлетняя дочка. Обе семьи очень сошлись между собой и в конце концов поселились в одном доме – Истомины вверху, Карташевы – внизу. В обеих квартирах были большие террасы, и так как дома стояли на возвышении, то с этих террас открывался далекий вид на город, и на море, и на всю кипучую пристанскую жизнь.

Истомины ждали к себе сестру жены, молодую девушку, кончившую за границей гимназический курс и теперь возвращающуюся домой. Она ехала морем и, прежде свидания с отцом, решила погостить несколько дней у сестры.

Сестра ее, жена Истомина, Евгения Борисовна, молодая красивая шатенка, немного картавила, говорила с уверенностью и непогрешимостью молодости и вся была поглощена воспитанием своей трехлетней дочки Али.

Маня была очень дружна с Евгенией Борисовной, а Аня сторонилась ее за воспитание Али.

– Мне жаль бедную девочку, – говорила Аня, – она не воспитывает, а дрессирует ее, как собачонку. Так и слышится: пиль, апорт, тубо!

И Аня так комично подражала командорскому голосу Евгении Борисовны, так воспринимала ее манеру, что все смеялись.

С Тёмой Истомины познакомились еще в прошлом году, когда он ездил кочегаром, и Евгения Борисовна относилась к нему с своей обычной покровительственной манерой, в общем очень хорошо.

Эта покровительственность, строгость, дрессировка нравились Карташеву, и он поддавался ее влиянию, и это, в свою очередь, вызывало к нему еще большую симпатию.

Но генерал Евграф Пантелеймонович, муж Евгении Борисовны, был с ним как-то настороже и даже сух.

В мундире генерал был еще бравый старик, но дома он ходил в халате, носил туфли, за поясом ключи от кладовых.

Все хозяйство было на его руках, и Евгения Борисовна демонстративно ни во что не вмешивалась.

– Зачем нам ссориться, – уклончиво говорила она Аглаиде Васильевне, – он так привык, у него сложившиеся вкусы, взгляды.

Истомины поженились четыре года тому назад.

Ему было тогда пятьдесят четыре года, ей двадцать лет.

Истомин был товарищем по корпусу отца Евгении Борисовны. Истомин уже командовал полком, входил с ним в тот город, где в тот день появилась на свет Евгения Борисовна.

Как ни противился отец этой свадьбе, Евгения Борисовна настояла.

С своей обычной непоколебимостью она категорически заявила:

– Или я выйду замуж за Евграфа Пантелеймоновича, или уйду в монастырь.

В первое время они очень любили друг друга. Любили и теперь, но уже более спокойным, остывшим чувством. На горизонте их семейной жизни собирались тучки: привычки старого холостяка, аккуратника, педанта давали себя чувствовать. Обижали Евгению Борисовну и халат, и туфли мужа, и весь тот непреклонный режим, который он вел и требовал от жены.

Она и сама была непреклонная, и между ними все чаще происходили столкновения. Но об этом ни прислуга и никто из посторонних и не догадывались. Со стороны все было благодушно, патриархально и гладко. Муж уходил часов в одиннадцать на службу, а жена с Алей и бонной ходила гулять, играла на фортепиано, вела дневник и читала. Читала романы, почти всегда иностранные, так как тоже воспитывалась за границей, читала все, что можно было прочесть по воспитанию, и прежде всего, конечно, Жан-Жака Руссо.

Выглядела она вполне уравновешенным, спокойным и довольным своей судьбой человеком.

Со времени известия о приезде к ней сестры ее Аделаиды, или Адели, как называла ее Евгения Борисовна, Евгения Борисовна и Маня еще больше сошлись. Маня постоянно бегала наверх и возвращалась оттуда веселая, задорная и, проходя мимо Тёмы, ерошила ему волосы по дороге и ласково бросала что-нибудь вроде:

– Ах ты, Тёмка, урод!

И Евгения Борисовна еще больше покровительственно смотрела на Карташева и говорила с ним как-то загадочно и даже как будто лукаво.

Она не была кокеткой, Карташев не относил это лично к себе и еще более смущался от всего этого.

Иногда вдруг Маня принималась хохотать, как сумасшедшая. Карташев смотрел на нее, на улыбающуюся Евгению Борисовну, и ему становилось и самому весело, а особенно когда и Евграф Пантелеймонович тоже начинал улыбаться. Прежде он почти никогда не улыбался Карташеву, и Карташев в этом видел, что начинает приобретать симпатии даже и сурового генерала, прежде относившегося к нему с недоверием, а теперь все более и более расположенного к нему. И это Карташеву было очень приятно.

Он любил, чтобы к нему хорошо относились, любил и умел добиваться этого.

– Вероятно, – решил Карташев, – он думал, что я буду ухаживать за его женой, и, убедившись, что не ухаживаю, переменял свое обращение со мной.

Однажды под вечер Карташев пошел прогуляться к морю и возвратился домой, когда уже были сумерки.

Прозрачные, ласкающие окна их квартиры были раскрыты, и Карташев услышал игру

на рояле. Игра была нежная, мягкая, звуки точно лились – и прямо в душу.

Кто это так играл? Игра Мани была бурная, звучная; правда, у Зины было тоже очень мягкое туше, но Зина – в деревне.

Парадные двери были не заперты, и Карташев вошел в гостиную. За роялью сидела незнакомая худенькая женская фигурка с закрученной на голове косой. У рояля сидела лицом к нему Маня и задумчиво, под впечатлением музыки, смотрела в пол.

Шум отворявшейся двери остановил игру. Незнакомая девушка оглянулась на Карташева, перестала играть и смущенно смотрела на Маню.

– Мой брат, – сказала Маня и назвала брату свою гостью: – Аделаида Борисовна Воронова.

И так как лицо Карташева ничего не выражало, то она прибавила:

– Сестра Евгении Борисовны.

– А! – радостно сказал Карташев.

Сестра Евгении Борисовны уже друг и семьи и его, а особенно такая чудная музыкантша, такая изящная, такая скромная, такая застенчивая.

И сколько достоинства, сколько прелести в этой маленькой фигурке, выглядывающей почти еще девочкой.

Обыкновенно первые шаги знакомства – самые тяжелые. Люди натянуты, хотят что-то изобразить из себя необычное. Так, по крайней мере, всегда бывало с Карташевым. А тут произошло совсем обратное: Карташев сразу почувствовал себя в своей тарелке, стал восторгаться ее игрой, просил ее еще играть. Карташев развеселился, начал рассказывать разные глупости, от которых и он сам, и Маня, и Аделаида Борисовна чуть не до упаду смеялись.

Потом пришли Аня, Сережа. Приехала из города Аглаида Васильевна, пришла Евгения Борисовна, пили чай, сидели на террасе, и вечер прошел незаметно и быстро.

Весь под настроением, Карташев провожал Аделаиду Борисовну и сестру ее наверх, помог ей надеть шотландскую накидку, нес ее шкатулочку из розового дерева, в которой лежало ее шитье.

И накидка, и шкатулочка, и она вся, когда уже ушла, стояли перед ним, и, возвратившись, он в каком-то очаровании слушал рассказы о ней своих домашних.

Всех очаровала Аделаида Борисовна.

Даже Аня сказала:

– Вот это – человек, настоящий, хороший человек.

– Ласковая какая, мягкая, а глаза, глаза, – восхищалась Маня.

Сережа сказал:

– И при этом она ведь и совсем некрасива.

– А, ну, что такое красота? – досадливо воскликнула Маня. – Кукла красивая, а что с нее толку?

– В ней именно удивительная человеческая красота, – качала головой Аглаида Васильевна. – Я много видала девушек на своем веку, – и Аглаида Васильевна точно опять пересматривала их всех в своей памяти, – но такой воспитанной, такой скромной, такой обаятельной...

– А сколько достоинства в то же время? – сказала горячо Маня и добродушно, вызывающе обратилась к старшему брату. – А ты что молчишь? Ты что, очумел или от природы такой чурбан бесчувственный?

– Маня! – сказала Аглаида Васильевна.

– Да, что ж он, мама, сидит, сидит, как не живой между нами. Ну? Говори...

Карташев с наслаждением слушал похвалы, расточаемые Аделаиде Борисовне, готов был от себя еще столько же прибавить, но когда Маня обратилась к нему, он потянулся и нехотя сказал:

– Девушка как девушка: симпатичная...

– Что?! – взвизгнула Маня. – Ах ты свинтус, ах ты оболтус, ах ты Вахромей!

– Маня, Маня! – звала ее Аглаида Васильевна.

Но Маня не слушала. Ее волосы рассыпались, глаза сверкали, как бриллианты, она наступала на Тёму и визжала:

– Да я тебе, негодному, все глаза твои выцарапаю, своими руками задую негодяя...

– Я ухожу, – в отчаянии сказала Аглаида Васильевна.

– Хорошо, я больше не буду, но я так зла, так зла...

Она быстро то сжимала, то разжимала пальцы рук и проговорила комично:

– Хоть бы кошка мне, что ли, попалась, чтоб разорвать ее в мелкие клочки.

Все смеялись, Карташев довольно улыбался, а Маня продолжала:

– Нет, как вам нравится? Можно сказать, ангел сошел на землю, а он, чучело...

– Маня, что за манеры?!

– Манеры? Разве с таким господином хватит каких-нибудь манер?! Ну, хорошо же! Только ты ее и видел! На коленях будешь умолять, ручки мне целовать – никогда!

Она ходила перед Карташевым и твердила:

– Помни, помни – никогда! И заруби это себе хорошенько на своем носу-лопате!

Она остановилась перед братом, взялась в бока и сказала:

– Ну! Повтори теперь еще раз, что ты сказал?

– Сказал, что она очень симпатичная и милая...

– Дальше, дальше.

– Что ж дальше?

– Ну, уж говори прямо, что влюбился, – сказал Сережа. – Я, по крайней мере, – готов.

– Молодец, Сережка! Вот настоящий мужчина, а не такой кисляй, как ты.

– А нога у нее некрасивая: длинная, на низком каблуке, – заметил Тёма.

– Смотрите, смотрите, успел уж и под платье заглянуть...

– Маня!

– Дурак ты, дурак, – продолжала Маня, – нога ее в великолепном, самом модном, летнем ботинке. И всякую ногу одень в такой ботинок, она будет длинная и узкая, как у обезьяны. И через полгода ты и не увидишь другого фасона. И слава богу, потому что нет ничего ужаснее этого полуторааршинного каблука, торчащего на середине подошвы. И в таком ботинке и нога слона и та будет ножкой, а такие, ничего не понимающие, как ты, будут только вздыхать от восторга: ах! ах! Ну, а играет она как?

– Играет прелестно, и если Сережа уже влюбился в нее, то я тоже влюбился в ее музыку.

– Не беспокойся, черт полосатый, влюбишься и в нее.

– Маня! То есть после тюрьмы у тебя такие стали ужасные манеры, замашки, выражения...

– Одним словом, известно, острожная, пропащий человек, и конец.

И Маня хлопнула по плечу старшего брата.

– Ну, ты совсем уж разошлась, – сказала мать, – идем лучше спать.

Но Маня, проходя через гостиную, присела к роялю, и долго еще сперва шумная, а потом тихая музыка разносилась по дому. Под окном кто-то кашлянул. Маня остановилась, прислушалась и встала.

Теперь лицо ее было совершенно другое, напряженное, немного испуганное.

Оглянувшись и увидев на кресле старшего брата, она быстро приняла свой обычный вызывающий вид.

– Ты что здесь делаешь? – накинулась она на него, – пора спать.

– Ну, спать, так спать, – согласился Карташев и пошел в свою комнату.

А Маня дразнила его вдогонку:

– А-га, а-га! хочется поговорить, заслужи сначала! Ты думаешь – такое сокровище даром дают. Надо стоять ее.

– Оставь себе это сокровище, – повернулся к сестре в дверях Карташев и, не дожидаясь ответа, затворил за собою дверь.

Маня не двигалась, пока не затихли его шаги, затем торопливо подошла к окну и кашлянула.

Когда раздался ответный кашель, она наклонилась в окно и тихо спросила:

– Кто?

– Ворганов.

– Проходите через парадную дверь на террасу. – И подождав еще, она пошла на террасу.

Там стоял молодой человек, светлый блондин, в пиджаке.

Маня и молодой человек крепко пожали друг другу руки.

– Благополучно? – спросила Маня.

– Вполне.

– Давно приехали?

– Сегодня.

– Долго пробудете?

– Несколько дней, вероятно...

Молодой человек усмехнулся.

– Жизнь коротка...

– Да, коротка! – вздохнула Маня.

– Жалко, что вы киснете здесь.

– Кисну?..

– Как у вас с матерью?

– Мать уже прошлое. Какую-то сказку, я помню, читала про страшного волшебника, который жил на дне моря, которому на завтрак было мало кита, а в конце концов от старости он стал таким маленьким, что самая маленькая рыбка его проглотила и не заметила даже.

– Так и во всем нашем деле будет.

– Будет-то будет, доживем ли только мы с вами до чего-нибудь хорошенького?

– Доживем. Особенно наш период будет чреватый. Собственно, организованной работе в деревне конец: урядники, смертные приговоры за агитацию ставят партию в безвыходное положение и волей-неволей поворачивают на путь политической борьбы, пропаганды путем нелегальной печати, политического убийства. Сочувствие со стороны общества, во всяком случае, большое. Главный симптом – деньги, прилив небывалый.

– В университет назад не думаете?

– Пока работа есть – нет. Вы знаете, что завтра у нас собрание?

– Знаю и буду. Опять шпиона выследили?

Маня сделала брезгливую гримасу.

– Не люблю этих дел. Доказательств всегда так мало, а уж одно подозрение навсегда вычеркивает человека из списка порядочных. Вот Ахматова: у меня положительно впечатление, что она невинна... И если она действительно невинна, тогда что? Что будет она переживать всю остальную свою жизнь? А мы с таким легким сердцем готовы кого угодно заподозрить, забросать грязью. Брр... – Маня вздрогнула.

Дверь на террасу открылась, и Аглаида Васильевна угрюмо спросила:

– Кто тут?

Маня ответила:

– Я.

– Ты одна?

– Нет.

После некоторого молчания Аглаида Васильевна очень недовольным голосом спросила:

– Спать скоро пойдешь?

– Скоро.

Дверь затворилась.

Когда через час Маня провожала своего гостя, он спросил ее:

– Не влюбились?

Маня равнодушно махнула рукой.

– Я слишком ненавижу, чтоб было еще место для любви.

– Звонко сказано! – усмехнулся молодой человек. – А я вот все мучаюсь и от того и от другого!

– И на здоровье! Дай бог только поменьше удач в любви и побольше в ненависти.

Маня захлопнула дверь, заперла ее и пошла к себе.

Как ни тихо проходила она коридором, сонный голос из спальни окликнул ее:

– Ты, Маня?

– Я.

И Маня быстро шмыгнула в свою комнату, пока опять не заговорила Аглаида Васильевна.

– Маня, зайди ко мне. – После молчания она опять сказала: – Маня!

Никто не отвечал.

– Ушла к себе! – Гнев охватил Аглаиду Васильевну, и первым побуждением было встать и грозно идти к Мане. Но она продолжала лежать в каком-то бессилии. Она только плотнее прижала свою белую голову к подушке и очень скоро опять заснула.

VI

В пять часов утра Аглаида Васильевна была уже на ногах. Она долго стояла на коленях перед своим большим киотом, уставленным образами. Были тут и старые и новые, были и в золотых и серебряных ризах, были и маленькие без всяких риз, совершенно темные. Висели крестики, ладанки, лежали пасхальные яйца, одно маленькое, красненькое, десятки лет уж лежавшее, совершенно высохшее и только во время тряски издававшее тихий звук от засохшего комка внутри.

Каждую пасху Аглаида Васильевна брала яйцо в руки и погружалась на несколько мгновений в соприкосновение с тем, что было когда-то.

– Мама, что это за яичко?

– Вам это знать не надо.

Был канун троицы. Аглаида Васильевна ждала сегодня Зину с внуками и внучками.

Она молилась больше часу. Встав, утомленными тихими шагами она прошла в столовую, взяла спиртоварительную кастрюльку, кофейник, кофе, сливки, просфору и вышла на террасу.

Радостное, светлое утро ослепило ее.

В соседнем монастыре уже звонил колокол.

«Хороший знак!» – подумала Аглаида Васильевна.

Она положила все предметы на стол и медленно, удовлетворенно три раза перекрестилась. Затем она села в соломенное кресло и некоторое время отдавалась охватившему ощущению красоты картины.

На террасе была тень, была прохлада, а там, на море, на горах, солнце уже ярко сверкало.

Как будто настал уже великий праздник и природа в сознании его замерла, охваченная восторгом, счастьем, сознанием своей жизни, бытия.

Только люди густой муравьиной толпой на пристанях копошились, и глухой гул толпы неся оттуда.

Аглаида Васильевна отыскала глазами купол собора, опять трижды перекрестилась. Затем она начала варить себе кофе.

Эти часы были лучшими в ее жизни. Потом проснутся дети, ворвутся, шум и заботы дня у каждого свои, многосложные, перепутанные; придет Зина с детьми, а теперь часы отдыха, часы, когда она только с богом, когда она набирается сил для всего предстоящего дня.

А чтоб их иметь достаточно, прежде всего мудрое правило – довлеет дневи злоба его, и другое – на все его святая воля. Думала в эти часы Аглаида Васильевна только о приятном.

Вот сын кончил и приехал. Пережить с ним пришлось больше, чем со всеми остальными, вместе взятыми, детьми. Буквально был вырван из объятий смерти, из объятий ужасной болезни.

Самого его заслуга, конечно, большая, но еще большая Наташи, которая свою жизнь отдала за него. А еще большая, конечно, святого Пантелеймона, которому умирающего тогда сына передала Аглаида Васильевна. Надо сегодня отслужить ему молебен, надо на Афон из первого жалованья сына отправить двести рублей... И непременно заказать образ со святыми Артемием и Пантелеймоном. Конечно, величайшая ее мечта, чтоб к концу жизни ее Тёма, прошедший уже весь тяжелый путь искупленья, в созерцании познанной жизни, последние свои минуты провел уже под схимой, приняв имя подарившего ему жизнь – Пантелеймона.

И еще об одной мечте своей подумала и вздохнула Аглаида Васильевна. Чтоб на этом образе была и та святая, имя которой будет носить подруга жизни ее сына.

«Аделаида», – где-то в самых тайниках сознания пронеслось это имя, но Аглаида Васильевна отогнала это, как суетное пока, и, крестясь, громко сказала:

– Во всем будет твоя святая воля!

Было много и неприятного, что хотя и гнала от себя Аглаида Васильевна, но все-таки прокрадывалось в голову: Маня и ее отношения к революционной партии! За одно была спокойна только Аглаида Васильевна, что здесь ни о каких любовных похождениях не могло быть и речи.

Все ее дочери в этом отношении больше чем застрахованы. Она сумела внушить им не только ужас, но даже полное отвращение ко всему, что не освящено браком, традициями.

Даже и при таких условиях эта сторона жизни не удовлетворяла их. Пример Зина. Все ссоры и раздоры ее с мужем, разгул мужа, все расстройство его дел – причиной всему было отношение к нему его жены. Эту сторону жизни Зина называла животной и говорила о ней с раздражением, бешенством и тоской.

– Я не могу, не могу выносить его ласки, когда его лицо делается животным, бессмысленным, это так отвратительно, так невыносимо ужасно!

И прежде Наташа, а теперь и Маня и Аня слушали и сочувствовали ей всеми тайниками своего существа. И даже в детях Зина не находила утешения, потому что и они были порождением того же омерзительного, греховного и тех мгновений, когда и она сама была унижена.

В последнее время особенно обострились отношения между Зиной и ее мужем. Она не хотела больше детей и единственный способ настоять на своем видела в прекращении супружеских отношений. Муж ее рвал, метал, пьянствовал, развратничал и все больше запускать дела. Из последнего займа в пятьдесят тысяч под будущий посев он привез домой только пятнадцать. Это уже знала Аглаида Васильевна из письма. Что-то у них там теперь? Как внуки? Сердце Аглаиды Васильевны радостно забилося. Эти внуки были ей теперь дороже, чем собственные дети, их любовь, их вера в ее силы. Слово – баба, – с которым они постоянно обращались к ней, чувствуя в ней и защиту и высший авторитет, звучало в ее ушах, как лучшая музыка в мире.

Когда все проснулись и пили чай и кофе на террасе, Аглаида Васильевна вышла, уже одетая в обычное черное платье, с черной кружевной косынкой на голове, и сказала:

– Тёма, я не касаюсь твоих религиозных убеждений, и не для тебя, а для себя, я прошу тебя и даже требую, чтобы ты пошел со мною в церковь отслужить молебен святому Пантелеймону.

Карташев смотрел на мать и все еще никак не мог свыкнуться с переменой в ее лице от выпавших зубов. Лицо ее стало от этого приплюснутым снизу. Как-то было жалко и смешно смотреть на всю ее и вызывающую и неуверенную в то же время фигурку.

– Я ничего не имею против, – ответил Карташев.

Все облегченно вздохнули, насторожившись было, как бы Тёма не сделал из этого

министерского вопроса. В церковь пошли только мать и сын. В ближайшую монастырскую церковь. Надо было только повернуть за угол, и перед глазами уже вставали белые монастырские стены с большими воротами посреди. Из-за стены выглядывали большие деревья густого тенистого сада. В воротах с кружкой стояла пожилая, полная, благочинная монахиня, которая радостно кланялась поясными поклонами Аглаиде Васильевне. Подойдя, Аглаида Васильевна поцеловалась с монахиней и, показывая на сына, сказала:

– Вот позвольте вам, мать Наталия, представить моего первенца. Приехал из Петербурга, кончил курс, инженер.

Мать Наталия кланяется, кланяется и Карташев.

– Идем молебен отслужить святому Пантелеймону, я вам рассказывала...

– Как же, как же, помню, помню! Радостно видеть своими глазами чудо господне, его святого Пантелеймона и нашего покровителя молитвами содеянное.

– Святой Пантелеймон, – пояснила мать сыну, – покровитель этого монастыря.

Карташев первый год жил на этой квартире и раньше никогда не бывал в монастыре.

Когда Аглаида Васильевна проходила дальше, монахиня ласково-просительно сказала:

– А уж после молебна не откажите с сынком в келейку нашу испить чашечку чаю. Не побрезгуйте, – поклонилась она и Карташеву, – мы вашу матушку чтим, как нашу мать родную, а вас, как брата нашего общего отца и покровителя святого Пантелеймона. Вы образ его на воротах приметили?

– Как же, как же!

Карташев поклонился монахине и, идя с матерью по мощеным плитам монастырского двора, сказал:

– Очень симпатичная и не глупая.

– О, очень не глупая. Она всем монастырем управляет собственно, но и самая смиренная, как видишь, не пренебрегает никаким трудом, никогда послушнице не позволяет прибрать у себя, все решительно сама делает.

Церковь, охваченная с трех сторон деревьями, сверкала своими белыми фронтонами.

– Смотри, как радостно, точно машут нам деревья, – сказала мать.

– Очень уютно и очень чисто, – ответил сын.

Когда они входили под своды церкви, женский хор где-то на хорах звонко пел, а священник, благословляя редкую толпу, говорил:

– Благословение господне на вас.

Мать радостно, тихо шепнула сыну:

– В какой момент вошли – чудный знак!

– У вас ведь плохих нет, – так же тихо ответил ей сын.

Мать встала на колени и погрузилась в молитву.

Обедня кончилась, мать пошептала с диаконом, и сейчас же начался молебен.

Мать весь молебен прослушала на коленях. В одном месте молебна она дернула сына за ногу и показала на пол. Он тоже встал на одно колено и наклонил голову, думая, долго ли надо ему так стоять. Ноги его затекли, и он опять поднялся на ноги, думая, как это мать может стоять так долго.

Когда молебен кончился, он сказал это матери.

– А завтра три часа придется стоять так!

– Почему?

– Первый день троицы, весь акафист святой троицы – все на коленях.

– Хорошо, что предупредили, – усмехнулся Карташев.

– Глупенький, это твое дело, мне важно было сегодняшнее. Ты мне такой праздник сегодня сделал... Больше, чем окончание курса.

И священнику и диакону мать представила сына.

Священник покровительственно смотрел на Карташева и говорил:

– Ну, стройте, стройте нам дороги, да покрепче, чтоб костоломками не были. Место уже имеете?

– Нет еще.

– Ну, все в свое время. Довлеет дневи злоба его.

– Вот, вот, батюшка, – сказала Аглаида Васильевна, – золотыми буквами в сердце всякого должны быть написаны эти слова.

– А без этого как жить? Разве чирикали бы так беззаботно птички, была бы вся эта божья благодать?

И священник указал кругом. В открытые окна церкви заглядывали зеленые деревья, белые и розовые кисти цветущих акации, сверкало там за окнами солнце, еще более яркое от прохлады в церкви. Уже вносили траву для завтрашнего дня, и этот аромат свежих трав, настой мяты, васильков и других полевых цветов слился с свежим и сильным запахом белой акации, сирени.

Они повернулись к выходу, и Карташев вдруг увидел у одной из колонн скромную фигурку Аделаиды Борисовны.

Аглаида Васильевна так и рванулась к ней и, горячо целуя, сказала:

– Голубка моя стоит здесь... Вы были на молебне?

– Да.

– Я никогда вам этого не забуду! Сегодня такой для меня праздник...

Аделаида Борисовна покраснела, как краснеют девушки ее возраста – до корня волос, до слез.

Карташев с несознаваемым восторгом смотрел на нее.

Но при выходе Аделаиде Борисовне пришлось еще раз покраснеть и даже совсем сгореть от стыда.

У притвора стоял нищий, высокий старик, угрюмый, державший себя с большим достоинством.

Аглаида Васильевна остановилась и подала ему.

Аделаида Борисовна достала маленький изящный кошелек, вынула оттуда серебряную монетку и тоже подала.

Старик посмотрел на нее и сказал:

– Да пошлет тебе господь хорошего мужа! Святому Артемию молись.

Выходившая уже Аглаида Васильевна остановилась, как пораженная громом. Она так и стояла, пропустив вперед сына и Аделаиду Борисовну, а затем, повернувшись к церкви, перекрестилась и положила земной поклон. После этого она подошла к нищему и, подавая ему трехрублевую бумажку, сказала:

– Молись, угодный богу человек, чтоб пророчество твое сбылось! – И совсем шепотом прибавила: – Молись за Артемию и Аделаиду!

И Аглаида Васильевна вышла на полянку, где ждали ее сын, Аделаида Борисовна, мать Наталия и другая монахиня, тоже пожилая, маленькая, полная.

– Милости просим!

– Позвольте прежде всего, дорогие мои, – сказала Аглаида Васильевна, – познакомить вас с этой дорогой моей барышней. Она сестра Евгении Борисовны.

– А-а! – воскликнули монахини и жали руку Аделаиды Борисовны.

– Ну, тогда и вас уж тоже позвольте просить для знакомства на чашечку чаю.

Мать Наталия, махнув рукой и добродушно прищурившись, сказала:

– Уж все равно заводите знакомство, чем с одним, – она посмотрела на Карташева, – так вдвоем еще веселее.

Она скользнула по Аделаиде Борисовне и, низко кланяясь, протягивая рукой вперед, кончила:

– Милости просим, милости просим, и да благословит ваш приход господь бог и святой Пантелеймон наш! Мать Наталия и мать Ефросиния, вперед дорогу показывайте!

– Ну, или так – мать Наталия вперед, а я сзади, чтоб не разбежались! – сказала вторая монахиня.

– И я с вами! – сказала ей Аглаида Васильевна.

Так они и шли под боковой колоннадой, и шаги их звонко отдавались по плитам, – впереди мать Наталия, потом Аделаида Борисовна и Карташев, а сзади Аглаида Васильевна с матерью Ефросинией.

Потом пошли длинным желтым коридором с такими же каменными плитами, темными, блестящими и звонкими. В окна коридора лил яркий свет, по другую сторону коридора шел ряд дверей в кельи. Иногда такая дверь отворялась, и оттуда выглядывала голова монашки. Увидев Аглаиду Васильевну, монашки радостно целовались, а Аглаида Васильевна знакомила их с ее сыном и Аделаидой Борисовной.

– А вот и наша хата! – сказала мать Наталия, широко распахивая дверь своей кельи и низко кланяясь. – Не побрезгуйте, Христа ради!

Все вошли в низкую продолговатую и узкую келью с маленьким окошечком в тенистую часть сада. В келье пахло кипарисом, мятой и еще какими-то пахучими травами или маслами.

Вдоль одной стены, ближе к окну, стояла застланная нара, против нее вдоль противоположной стены стенной шкаф со множеством полочек и ящичков.

Ближе к двери простой деревянный стол, покрытый цветной скатертью. Принесли еще два табурета, и все сели.

Молодая монахиня внесла медный, ярко блестящий самовар. Самовар кипел, пышно разбрасывая вокруг себя струи белого пара.

Молодая монахиня поставила самовар и ждала приказания. Это была стройная, красивая, с живым взглядом черных глаз девушка.

– Вот, позвольте вас познакомить, – сказала, привставая, мать Наталия, – наша молодая послушница Мария, во Христе.

– Мы знакомы, – приветливо ответила Аглаида Васильевна и поцеловалась с молодой монахиней.

Молодая Мария прильнула к Аглаиде Васильевне, так же радостно прильнула и к Аделаиде Борисовне и, потупясь, протянула руку Карташеву.

– А теперь, дорогая Мария, – сказала мать Наталия, – принеси нам хлебушка, икорки, балычка, грибков.

Мария бросилась было к дверям.

– Да, постой! – спохватилась мать Наталия, – принеси и сливочек. – И, обращаясь к Аглаиде Васильевне, прибавила: – Что ж нам неволить их? – Она показала на молодежь. – Придет еще время им поститься.

– Какая красавица ваша Мария! – качала головой Аглаида Васильевна, – и какая молодая! Невольно страшно за нее: вдруг – пожалее.

– Господь спаси и помилуй, – перекрестилась мать Наталия, – у нас в болгарском монастыре был такой случай... Мария ведь тоже болгарка; еще девочкой со мной была! Ох, и перестрадали мы!

Разговор перешел на болгарские монастыри, на Болгарию, откуда мать Наталия только в прошлом году приехала. Начавшаяся война вызвала особый интерес к стране, за которую лилась теперь кровь.

Принесли просфоры, хлеб, икру, балык, грибки и сливки.

Все, не исключая и послушницы, сели около стола. Мать Наталия рассказывала, не торопясь, толково и умно.

– И красивы же болгарки. Таких красивых женщин, я думаю, нигде в мире в другом месте нет. Видала я Библию с рисунками. Так вот там только такие лица. И лицом, и складом, и поступью – всем взяли – каждая царица. А мужики у них маленькие, кривоногие, и, прости господи, есть такие уроды, что во сне увидишь – и испугаешься.

И когда все смеялись, мать Наталия смотрела, кивала головой и добродушно повторяла:

– Уроды, уроды...

– Есть и красивые! – сказала послушница и покраснела.

– Старыми глазами, может, и проглядела, – ответила сдержанно мать Наталия и

заговорила о своей предстоящей поездке в соседний монастырь.

Напившись чаю, гости встали и, приглашая монахинь, попрощались с ними.

На обратном пути в коридор высыпал весь монастырь. Были тут и старухи и молодые. Все они ласково кивали головами, иногда крестили и по проходе о чем-то шушукались.

Аглаида Васильевна услышала один этот возглас:

– В добрый час!

И, наклонив голову, перекрестилась.

Прямо из монастыря Аглаида Васильевна поехала по делам в город, а в это время мать Наталия крикнула Аделаиде Борисовне и Карташеву:

– А в садике нашем и не побывали; зайдите посмотреть!

Карташев посмотрел на Аделаиду Борисовну, та – нерешительно на него, мать Наталия настаивала, и оба они возвратились назад в монастырь.

Аглаида Васильевна уже с извозчика оглянулась, но у ворот стояла только мать Наталия, которая и показала ей широким взмахом на монастырь, крикнув:

– Заманила опять ваших голубков!

– Постой!

Аглаида Васильевна сошла с извозчика, и к ней быстро подошла мать Наталия.

– Ведь знаете, мать Наталия, я только сейчас вспомнила свой сегодняшний сон! Стою я будто у окна, и вдруг белая голубка опустилась ко мне на плечо и так воркует, так ласкается...

– Божий сон – в руку сон! Чтоб не сглазить. Дане сглажу – глаза голубые ведь у меня... Сколько живу, сглазу не было... Давай бог, давай бог.

Обе женщины еще раз поцеловались, и мать Наталия, вдруг отяжелев, слегка прихрамывая, пошла в монастырь.

Во дворе уже никого не было. Еще на улице она слышала радостный возглас:

– Пожалуйте, пожалуйте!

Теперь она слышала веселый говор в саду.

Мать Наталия, подумав: «И без меня там справятся», – пошла по хозяйству.

VII

Дома ждала телеграмма от Зины: «Если Тёма может приехать за мной, то на троицу приеду с детьми».

Карташев в тот же день выехал за сестрой в имение Неручевых «Добрый Дар».

«Добрый Дар» находился в северо-западной части Новороссийского края, где местность уже теряла свой исключительно степной характер.

И здесь также открывались перед глазами необъятные степи, но местами попадалась и взволнованная местность, изрытая крутыми оврагами, подымались тут и там высокие холмы, а иногда торчали скалы, обнаженные, угрюмые, на которых вили свои гнезда сильные орлы, называемые беркутами.

Под вечер сверкнула перед ним красная крыша господского дома, и он опять увидел знакомые места. Вспомнил еврейку и нарочно по дороге заехал в корчму узнать, как она поживает. Но старый еврей Лейба с большой белой бородой, почтенный, солидный, на вопрос Карташева ничего не ответил и даже совсем ушел.

Какая-то дивчина-наймичка, с высоко заткнутой за пояс сподницей, из-под которой обнажались до колен ее голые ноги, с большими грудями, болтавшимися под рубахой, торопливо рассказала Карташеву, что дочь Лейбы убежала с соседним барином и теперь в монастыре, где примет христианство и выйдет за барина замуж. А старик Лейба после бесполезных хлопот проклял дочь и никогда об ней больше не говорит.

Весь охваченный воспоминаниями, въезжал Карташев в знакомый двор усадьбы.

Вот каретник, где когда-то произошла смешная сцена с ним и Корневым.

Тогда пара любимых Неручевым лошадей, когда их запрягли, вдруг заартачилась и

долго не хотела взять с места.

Неручев тогда рвал и метал, и его громовой голос несся по двору, и всё и вся дрожало от страха, когда вдруг Неручев упавшим голосом, как-то по-детски, сказал:

– Ну, давайте ножи, будем резать лошадей!

Этот переход, хотя и обычный, бывал всегда так смешон, что Карташев и Корнев, стоявшие сзади коляски, фыркнули и присели за коляску, чтоб их не увидел Неручев.

Но как раз в это время кони рванули, наконец умчались, и остались сидящие на корточках Карташев и Корнев, а перед ними Неручев, отлично понимавший, что смеялись над ним. На этот раз, так как взрыв уже прошел, Неручев новым не разразился и, молча повернувшись, пошел от них прочь.

На крыльцо выбежали встречать дети, Зина, бонна. Не было только Неручева.

Зина горячо несколько раз обнимала брата.

Какая-то перемена была в ней: она стала ласковая, мягкая, со взглядом человека, который видит то, чего другие еще не видят и не знают.

Она избегала говорить о себе, о своих делах и с любовью и интересом, трогавшими Карташева, расспрашивала его об его делах.

– Постой... – сказала она, и лицо ее осветилось радостью.

Они сидели на скамье в саду, в широкой и длинной аллее. Она встала и ушла в дом, а Карташев в это время стал раздавать детям подарки.

Зина скоро вернулась с маленьким ящичком. В нем был академический значок, выполненный в Париже по особому заказу Зины ручным способом.

Работа была удивительная.

– Пусть этот знак будет всегда с тобой и напоминает тебе меня.

Голос Зины дрогнул, и она вдруг заплакала.

– Мама плачет! – крикнул встревоженный старший мальчик и, бросив игрушки, кинулся к матери; за ним побежала и маленькая лучезарная Маруся, но второй, черноглазый, трехлетний Ло не двинулся с места и только впился в мать своими угрюмыми черными глазенками.

Но Зина уже смеялась, вытирала слезы, целовала детей, Тёму.

Потом все пошли обедать. И за обедом не было Неручева. Зина вскользь сказала, что он возвратится к ночи.

На вопрос Карташева, как дела, Зина только брезгливо махнула рукой.

После обеда Зина играла и пела.

Вечером они сидели на террасе и прислушивались к тишине деревенского вечера, с особым сухим и ароматным воздухом степей.

Где-то в горах сверкал ярко, как свечка, огонек костра, неслась далекая песня, мелодичная, печальная, хватающая за сердце.

– Ну, ты устал, а потом завтра опять дорога, ложись спать.

Карташева положили в той же комнате, где когда-то они спали с Корневым, и опять воспоминания нахлынули на него.

Так среди них он и заснул крепким молодым сном.

Проснувшись и одевшись, он вышел на террасу, где уже был приготовлен чайный прибор, но никого не было. Он спустился по ступенькам в сад. Прямо от террасы крутым спуском шла аллея вниз, к пруду.

Пруд сверкал и искрился в лучах солнца, окруженный высокими холмами, а местами обнажившимися скалами, угрюмо нависшими над прудом.

У той скалы ловили они с Корневым раков, на том выступе жарили лягушек и ели, в то время как Наташа, Маня и Аня с ужасом смотрели на них.

Несмотря на июнь, было прохладно, и уже покрасневшая трава на холмах говорила еще сильнее об осени, придавая всему особый колорит и особую прелесть.

И небо было сине-голубое, какое бывает только осенью.

Карташев медленно возвращался назад к дому и был уже недалеко, когда двери дома

вдруг распахнулись, и из них вылетела в белом пеньюаре с распущенными волосами Зина, а за ней взбешенный, растерянный Неручев.

Зина пронеслась мимо Карташева, бросив ему угрюмо, равнодушно:

– Спаси меня от этого зверя!

Лучшего слова нельзя было подобрать. С оскаленными зубами, страшными глазами, он уже настигал жену.

Он очень изменился с тех пор, как не видел его Карташев. Пополнел, обрюзг, с большим животом.

Худой и тощий Карташев, в сравнении с ним, массивным, коренастым, представлял из себя ничтожное сопротивление. Чтоб увеличить его, Карташев успел схватиться одной рукой за ветку дерева, и пригнувшись, другой обхватил Неручева и тоже схватился за ветку, и таким образом Неручев очутился в объятиях между Карташевым и веткой.

Карташев обхватил его вокруг живота, и ему казалось, что большой, жирный и мягкий живот Неручева переливается через его руки и вот-вот лопнет.

– Пустите! – прохрипел Неручев, безумными глазами впиваясь в Карташева. – Пустите, а то плохо будет!

И Неручев поднял над головой Карташева свои страшные кулаки.

– Я знаю, что плохо, потому обе руки мои заняты, и я в вашей власти. Но, дорогой Виктор Антонович, – заговорил Карташев, – бейте меня и даже убейте, не могу же я не удержать вас от того позорного, что неизгладимым пятном ляжет на вас. Ведь это же – женщина.

– А, женщина! – бешено закричал Неручев. – Вы знаете, что эта женщина сделала со мною? Она дала мне пощечину.

– Это ужасно, конечно, – заговорил Карташев, продолжая крепко держать Неручева, – это дает вам право прогнать ее, развестись с ней, но, ради бога же, не унижайте себя, не губите себя, меня...

– Пустите меня, – сказал Неручев уже другим, обессилевшим голосом, напоминавшим Карташеву тот голос, когда он говорил:

«Ну, давайте ножи, будем их резать!»

Карташев выпустил его, и тут же на скамейке Неручев начал плакать, жалобно причитая:

– Господи, господи, кто же когда в моем роду был бит и кто не убил бы тут же на месте за такое оскорбление!

Результатом этой сцены было то, что Зина с детьми в этот же день под вечер выехала с Карташевым, не повидавшись больше с мужем.

Впереди в маленькой коляске ехали Зина и Карташев, сзади в большом фэтоне – дети.

Дорога из усадьбы спускалась к плотине, а потом уже на другой стороне вдоль пруда поднималась опять в гору.

К вечеру еще похолодело и сильнее пахло осенью.

Садилось солнце. И из-за туч какими-то густыми, с красноватым отблеском, лучами освещало и пруд, и сад, и всю на виду теперь усадьбу.

Было что-то бесконечно грустное в этих тонах заката, в безмолвии, холодно сверкавшем пруде, окруженном скалами, над которым взвивались и кричали орлы.

Зина сидела и с горечью смотрела на усадьбу, зная, что она никогда уж не увидит в жизни этого уголка, и думала, зачем она его видела, зачем здесь жила, зачем погибли шесть лучших лет ее жизни, похороненные здесь в этой могиле, и не только могиле шести этих лет, но и всех радостей ее жизни, всех иллюзий, всех надежд.

Она страстно и горько сказала брату:

– Будь все это проклято, будь проклят виновник моей разбитой жизни!

Она замолчала; молчал и Карташев. Село солнце, и заволакиваемая сумерками и угрюмо, точно в тон мыслям, молчала округа.

Зина прервала молчание.

– Боже мой, какая нелепая жизнь! И зачем надо было меня выдавать замуж?

Она еще помолчала.

– Если бы не ты, он убил бы уж меня сегодня... и я ничего бы не испытывала больше!
В голосе ее как будто звучало сожаление.

– Что произошло у вас?

– Э, он стал совершенно невозможным человеком. Весь род его такой выродившийся...

Ты себе представить не можешь, какой это ужасный, какой извращенный человек!.. Какой ад я переживала с ним! Он всегда меня упрекал в холодности. Он судил по своей развращенной натуре и не допускал мысли, что я такова по природе. В его развратном, расстроенном воображении всегда гнездятся самые ужасные предположения... Он мне в глаза клялся, что поездка, например, к маме – предлог для того, чтобы в большом городе отдаваться самому ужасному разврату. Это я-то. Он рассказывал, что у него там есть они, которые ему и доносят всю эту ерунду. Наконец, что иногда он сам, переодетый, следит за мной и знает все отлично. Наконец, сегодня утром дошел до того, что... а... стал упрекать меня в связи с каким-то мужиком здешним... Вытаращил свои сумасшедшие глаза и кричал мне на весь дом: «Я сам своими глазами видел, и пускай весь мир провалится, пусть сам бог придет и скажет, что нет, я и ему не поверю». От этого гнусного оскорбления у меня в глазах потемнело, и я даже не знаю, как я его ударила... Но, слава богу, слава богу, теперь конец... Еще раньше я получила от него заграничный паспорт... Он твердо убежден, что и за граница мне нужна исключительно для удовлетворения моих всепожирающих страстей, и в периоде самоунижения жалобно твердит: «Я со всем мирюсь и прошу только об одном, чтобы не на глазах». Ведь он, негодяй, ездил ко всем и рассказывал все свои клеветы, изображая себя жертвой... Прекрасный человек, несущий терпеливо свой крест. Его знакомых я видеть не могу, потому что знаю, что он им наклеветал все, что можно... И как клеветает! Какие комедии разыгрывает! Боже мой, от одной мысли, что это ужасное свое свойство он передал и детям, я начинаю их ненавидеть, и моя жизнь такая ужасная, такая ужасная!

Из опасения, чтобы не было погони, ехали без остановки. Когда подъехали наконец на рассвете к станции, все та же пара прекрасных лошадей, когда-то гордость Неручева, дрожала от утомления, и кучер Петр с грустью говорил:

– Пропали кони, загнали коней.

Поезд, с которым ждали Неручеву с детьми, приходит в шесть часов.

Выехали встречать Зину все.

Ее увидели уж в окошко, и Маня, Аня и Сережа побежали с криком:

– Зина, Зина!

Красивое, суровое лицо Зины смеялось; она улыбалась и кивала головой.

Когда остановился поезд и появилась Зина и детки с бонной и няней, на них накинулись и стали целовать сразу по два – один в одну щеку, другой в другую.

Пока старший шестилетний мальчик радостно подставлял свои щечки, младший трехлетний Ло, кличку которого дал ему его старший брат, не обнаруживал никакой радости, начал огорченно и озабоченно рассказывать Мане о своих невзгодах.

Маня завизжала от восторга, вслушивалась в его воркотню и только отмахивалась от остальных, крича:

– Пойдите, пойдите!

Мальчик удивительно чисто и гладко, совершенно ровным и как падающая дробь голосом рассказывал, как он себе ехал и никого не трогал, и как тем не менее к нему приставали и один пузатый и один лохматый, и одна женщина его поцеловала.

– И у нее губы были толстые и мокрые, и она замочила мне лоб, и теперь у меня лоб мокрый! – Ло, с чудными черными глазенками, тип малоросса, снял свою шляпу и, окруженный восторженными лицами своих тетей и дядей и близких, усердно тер ручонкой свой лоб.

– Ах, ты мой бедненький, ах, мой миленький, – умирала над ним Маня, в то время как Зина, пренебрежительно махнув рукой, сказала:

– Вот уж немазаная арба – вечные жалобы, и все виноваты!

Их сестра, двухлетняя Маруся, маленькая красавица с остановившимися сияющими глазенками, восторженно смотрела на всех, на Ло, няню, бонну, мать.

– Дядя Тёма, а помнишь, в прошлом году ты обещал мне...

– Май! – возмущенно перебила его мать.

– Помню, помню! – отвечал Карташев, – и вот что: я с тобой сейчас же и пойду прямо к игрушкам.

– Ну, ради бога! – взмолилась было Зина.

Но Карташев настоял. Ло тоже пожелал с ними ехать. Ло Карташев посадил к себе на колени. Май сел рядом, и они поехали.

Их не ждали и пообедали без них.

Наконец появились и они, нагруженные игрушками.

Май, не снимая шапки, присел на стул, скучающими глазами обвел комнату и спросил:

– А теперича куда?

– Что куда, голубчик? – наклонилась к нему Маня.

– Куда опять поедем?

Все рассмеялись, а Зина говорила:

– Ведь мы все время из имения в имение, с железной дороги в экипаж, из экипажа на железную дорогу – совсем разбештались.

– Теперича, голубчик, никуда больше, теперича вы кушать будете! – объяснила ему Маня.

Май ел с аппетитом, широко раскрывая рот и громко чавкая, и в это время его роскошные слегка глазки закрывались нежными, почти прозрачными веками, и во всем лице, во всей фигурке чувствовалось что-то беспомощное, слабое.

Аглаида Васильевна сидела над ним, гладила его тонкие, как шелковинки, каштановые волосы и приговаривала:

– Голубчик мой, шутка сказать, два воспаления мозга перенести.

– А дифтерит еще, баба! – напомнил Май.

– Да, да, и дифтерит.

Ло сидел, сдвинув черные брови, и в упор куда-то смотрел острыми глазенками.

Маруся переходила с рук на руки, с восторгом принималась опять и опять целоваться и радостно, неподвижно смотрела на всякого нового, кто брал ее.

– Солнышко! – говорил Сережа. – Будь и всегда такой: грей, свети, кружи головы. Бог даст, и я еще поухаживаю за тобой. А тот, – он показывал на своего брата, – тот уж нет, тот и теперь старый. Плюнь на него и разотри. Вот так, – Сережа плевал, и Маня, нагнувшись, тоже плевала.

– А теперь вот так ножкой разотри.

Ло слез, никем не замеченный, со стула к важно направился на террасу.

Маня первая схватила его и бросилась за ним.

Ло уже успел в это время перелезть через ограду и расхаживал по плоской железной крыше подвального навеса. До земли было больше сажени, и каждое мгновение Ло мог полететь вниз.

Маня так и замерла, увидев это.

Она заговорила жалобно:

– Ло, миленький, иди назад.

Но Ло даже не ответил, делая вид, что не замечает ее.

Маня продолжала упрашивать его, а сама незаметно подвигалась к перилам. Но как только она хотела тоже перелезть на крышу, Ло встрепенулся и быстро побежал к противоположному краю крыши.

Совсем жалобно, замирая от ужаса, она быстро заговорила:

– Не полезу, не полезу, вот – даже отойду!

Она отошла и стала ломать голову, как уговорить упряма возвратиться на балкон.

– Я к вам больше никогда не приеду, – начал сам Ло переговоры.

– А почему, голубчик? – робко спросила Маня.

– А потому, что вы никто со мной не хотите разговаривать, вы любите только Мая и Марусю, а меня не любите. Никто меня не любит, ни мама, ни вы, никто...

– Ой, голубчик, я тебя так люблю, так люблю!

– Нет, нет, не любишь, а я знаю одну песенку и умею играть ее.

– Сыграй же мне, мой миленький, дорогой.

Ло еще подумал и ответил безнадежным голосом:

– Нет!

– Ну, хотя отойди от края!

Ло еще подумал и, уставившись в свою тетю потухшими глазенками, ответил еще безнадежнее:

– Нет.

– Почему же все нет, золото мое?

– А зачем ты ко мне пристаешь все?

В это время на террасу вышел Сережа. Маня прошептала ему:

– Спаси его, я сейчас в обморок упаду.

Сережа с напускной суровостью накинулся на Маню:

– Зачем ты пристаешь к Ло? Зачем ты обижаешь его? Постой же, я сейчас выброшу тебя через перила!

И Карташев потащил Маню к перилам.

– Ло, голубчик, спаси меня! – закричала Маня.

Ло бросился, мгновенно перелез через перила и с отчаяньем ухватился за фалды Сережи.

– Ах, ты не хочешь, чтоб я ее бросил! Ну, бог с тобой – держи ее!

– Ах, он спас меня, спас! – обнимала и целовала Маня Ло. – Ты знаешь, Сережа, он знает новую песенку и умеет ее играть.

– Да не может быть!

– Он тебе не верит, сыграй ему!

Ло снисходительно усмехнулся и пошел в комнаты. За ним пошли Маня и Сережа.

Ло подошел к роялю, вскарабкался на стул, и, пока собирался, Маня уже успела шепотом рассказать, что было.

– Надо сейчас же запереть дверь на террасу.

Аглаида Васильевна вскочила сама и быстро повернула ключ.

Ло уже начал играть и петь.

Слух и голос у него были удивительные. По временам он торжествующе вскидывал глазенки на Сережу. Кончив, он быстро, никого не удостоивая взглядом, прошел прямо к террасе.

Ему никто не мешал, но когда дверь оказалась запертой, – он на мгновение замер. А мать сурово сказала:

– Хозяин дома видел, как ты ходил по крыше, пришел и запер дверь.

Ло слушал, стоя спиной ко всем, но в следующее мгновение, прежде чем кто-либо успел помешать, вспрыгнул на окно, а оттуда на террасу. Но сейчас же тем же путем полетел туда Сережа, а в растворившиеся двери – все.

Ло барахтался в руках Сережи. Смеялся Сережа, смеялся Ло, смеялись все.

– Вот так огонь! – говорил Сережа.

– Постойте, я с ним поговорю! – сказала Аглаида Васильевна. – На каждого ребенка надо смотреть как на совершенно взрослого и – действовать только логикой.

Аглаида Васильевна занялась с Ло, а Зина начала рассказывать Тёме о своем житье-бытье, о том, какой несносный человек стал ее муж, как между ними не стало ничего общего.

– Последнее наше столкновение началось тем, что он, напившись пьяным, в таком виде

полез было ко мне. Этого еще никогда не бывало. Когда я ему крикнула «вон», он грубо схватил меня за левую руку и стал кричать: «Да ты что себе думаешь, да я тебя изобью». Я правой рукой как размахнусь и изо всей силы его ударила по лицу. Он растерялся, выпустил мою руку; тогда я бросилась, схватила револьвер, направила на него и сказала: «Я считаю до трех, и если вы не уйдете, я вас убью». Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами и, ничего не сказав, шатаясь, вышел. Я сейчас же дверь на замок, а на другой день выехала с детьми сюда. Утром было объяснение; я настаивала, чтоб он дал мне двухгодичный заграничный паспорт и две тысячи денег.

Уже было известно, что Зина оставляет детей у Аглаиды Васильевны и едет за границу, может, через Константинополь.

– В общем, ты что же решила?

– Я ничего не решила, ничего еще не знаю. Знаю только, что так жить нельзя. Я убью и его и себя; мне противно все, я хочу прежде всего успокоиться немного, забыться.

Расстройство нервной системы и раздражение Зины бросалось сразу в глаза и тяжелее всего отзывалось на детях. Неровность обращения взвинчивала и детей, делала их несчастными, в даже уравновешенная маленькая Маруся на руках у матери, как только та раздраженно скажет: «Ах, да сиди же ты спокойно, Маруся!» – начинает обиженно собирать губки, а затем кричать, заливаясь слезами.

– Дай ее! – скажет кто-нибудь.

– Ах, да берите – убирайся, гадкая, капризная девочка!

И на руках у других Маруся мгновенно успокаивалась. Личико ее сияло счастьем, глазенки радостно, блаженно смотрели, а слезки сверкали, как роса на солнце.

Пришли Евгения и Аделаида Борисовны.

Обе были в восторге от деток.

– Каждый из них, – авторитетно говорила Евгения Борисовна, – красавец в своем роде: Май – это Андрей Бульба, Ло – Остап, Маруся – красавица паненка.

Аделаида Борисовна только нежно смотрела на детей, хотела поцеловать их и не решалась, пока Маруся сама не забралась к ней на колени и начала ее обнимать и целовать.

Когда Аделаида Борисовна заиграла, Зина, сама хорошая музыкантша, пришла в восторг и упрашивала ее играть еще и еще.

Потом заставили и Зину играть.

Игра Зины была грустная до слез, нежная и глубокая.

– Как это чудно! – прошептала Аделаида Борисовна. – Что это?

– Так, мое! – нехотя ответила Зина и заиграла новое.

Вопрос застыл в глазах, во всей напряженной фигурке Аделаиды Борисовны; так и сидела она пораженная, слушая удивительную игру Зины.

Это была действительно какая-то особенная игра. Казалось, что пела невиданная красавица, вся усыпанная драгоценными камнями. И горели на ней голубыми и всеми огнями эти камни, и сверкала она вся неземной красотой, но столько бесконечной грусти и тоски было в этой красавице, в ее красоте, в камнях драгоценных, в ее пении, что хотелось плакать, так хотелось плакать. Аделаида Борисовна, едва успев вынуть платок, уткнулась в него и заплакала. И она была такая беспомощная, одинокая, так вздрагивало ее худое тело.

Когда Зина заметила наконец, какое впечатление произвела ее музыка, она бросилась к Аделаиде Борисовне, а та, в свою очередь, обняв ее, еще горше разрыдалась. Она шептала, всхлипывая, Зине:

– Мне так совестно, так совестно, так жалко вас стало... и не знаю почему... Вы такая красавица... Дети ваши так прекрасны... А я... я... я так некрасива.

Она камнем прижалась к Зине, и слезы ее сразу протекли сквозь платье на Зинину грудь.

Все остальные вышли на террасу.

– Милая моя, дорогая девочка, – ласкала плакавшую Зина, – разве в этом счастье? Что может быть лучше, прекраснее весны, ее аромата, а вы – весна, и такая же нежная, и такая же

прекрасная. Вы не красивы? Я не знаю, что такое красота, но прекраснее вас я никого еще не видела, и если вы располагаете даром сразу привязывать к себе все сердца, как мое, то что еще вам надо в жизни? И вас будут любить, и вы будете любить и узнаете то счастье, которого у меня никогда не было и не будет.

Зина заплакала.

И долго они обе не показывались. А когда вышли наконец, то точно поделили между собой все, что имели, – красоту, ласку, смирение и даже уверенность.

Взгляд Аделаиды Борисовны был глубже, увереннее, как у человека, который что-то вдруг узнал или познал и многое понял. А у Зины чувствовался покой удовлетворения человека, выплакавшего наконец то, что камнем лежало на душе.

И весь остальной вечер лицо Аделаиды Борисовны точно светилось, когда, робкая, сосредоточенная, она останавливала свой взгляд на Зине.

На следующий день была троица. Все, кроме Тёмы, были в церкви. Служба так затянулась, что Тёма, соскучившись, пошел тоже в монастырь.

Он обогнул церковь и прошел прямо в сад. Народу везде было много. Нарядной, одетой по-летнему толпой была битком набита церковь, притвор, весь подъезд, все дорожки сада.

В открытые окна церкви неслось пение двух женских хоров, струился синий дымок от кадил. Везде был сильный запах увядшей травы.

Карташев углублялся в сад, отыскивая уединения, когда на одной из скамеек увидел Маню Корневу.

Он еще не успел побывать у них и ничего не знал о том, где ее брат, кончивший в прошлом году медицинскую академию. Он смущенно и радостно подошел к Корневой. Она уже не была той распускавшейся девушкой, в которую когда-то он был так влюблен. Но кожа ее была так же бела и нежна, было что-то прежнее в карих глазах, связь прошлого скоро восстановилась, и они весело заговорили между собой.

Карташев совершенно не чувствовал прежнего смущения перед Маней и даже заговорил о прежнем своем чувстве к ней.

– Ведь теперь можно уже говорить, теперь это уже такое прошлое... – говорил он.

– Но когда же, когда это было?

– Господи, когда! Да когда вы и Рыльский оба с ума сходили; когда я был вашим поверенным, когда спиной своей закрывал вас, чтобы дать вам возможность поцеловаться.

Маня не потеряла свою прежнюю способность вспыхивать и точно загораться краской. Кожа ее еще нежнее становилась, а глаза сделались мягкие и влажные, и грудь, сквозившая из-под батистового платья, неровно дышала. Она ближе наклонилась и, понижая голос, повторяла:

– Не может быть! Но отчего же вы молчали? Отчего хоть каким-нибудь жестом не дали понять? Хоть так?

Она показала как – мизинцем своей красивой длинной руки – и весело рассмеялась. И смех был тот же – рассыпающегося серебра.

Служба кончилась наконец, и толпа повалила из церкви.

– Ну, надо маму идти искать, – сказала Маня, – слушайте, приходите же!

Она так доверчиво и ласково кивала головой.

– Ах, господи, господи!.. – если б я знала тогда... Слушайте... – Она смущенно рассмеялась. – Ведь сперва я... ну, да ведь прошлое же... ведь я же в вас влюбилась сперва, но вы были так грубы... Ах!

Они шли через толпу и оба были взволнованы, оба были охвачены прошлым. По-прежнему над ними цвела акация, и аромат ее проникал их, и, казалось, ничего не изменилось с тех пор.

Карташев увидел мать, сестер, Аделаиду Борисовну; он раскланялся с ней и пошел дальше с Маней Корневой, отыскивая ее мать.

Аглаида Васильевна сдержанно ответила на поклон Мани.

Когда нашли мать Корневой, та сделала свою любимую пренебрежительную гримасу и

сказала:

– О то, бачите, видкиль взялось оно!

А пока Карташев целовал ее руку, она несколько раз поцеловала его в лоб.

– О, самый мой любимый, самый коханный, солнышко мое ясное...

Карташев проводил их до угла и затем нагнал подходивших уже к дому своих.

Зина осталась в монастыре обедать с монахинями. Она возвратилась только под вечер, когда во дворе под музыку трех странствующих музыкантов-чехов – одной дамы и двух мужчин – танцевали дети.

Танцевали Оля, Маруся, Роли – маленькая девочка, дочь дворника, и маленький мальчик, сын хозяина.

Семья Карташевых присутствовала тут же, сидя на стульях.

Девочки были в венках из васильков. Оля смешно выставляла свои толстенькие ножки, сохраняя серьезное лицо. Маруся не в такт, но легко перебирала ножками, беспредельно радостно смотря своими светящимися глазками. Роли танцевала, снисходительно сгорбившись. Ло от общих танцев отказался наотрез, заявив, что танцует только казачка.

Еще что-то заиграли и наконец сыграли то, что требовал Ло.

И здесь Ло выступил не сразу, но когда начал танцевать, то привел сразу всех в восторг, так комичен был его танец, так легко и искусно выделял он ногами па и забирая нога за ногу, и приседая.

Уже самое начало, когда он легким аллюром пошел по кругу с поднятой ручонкой, вызвало бурю аплодисментов.

Танцюя, он все время посматривал со спокойным любопытством, какое впечатление производит его танец.

Торжество его было полное по окончании танца, но лицо его сохраняло по-прежнему презрительно спокойное выражение. Зина подошла в разгар танцев, в обществе нескольких монахинь, во главе с матерью Наталией.

– И красота же какая! – восторгалась мать Наталия на детей в веночках, – как херувимчики. Ай, миленькие, ай хорошенькие!

Резко бросалась в глаза Зина среди этих монахинь, что-то общее появилось у нее с ними.

Несмотря на праздник, она была в таком же черном платье, с черной накидкой сверху, как и монахини. Даже шляпа ее, тоже черная, остроконечная, напоминала не то монашескую камилавку, не то старинный головной убор при шлеме. Лицо Зины становилось еще строже, и еще красивее подчеркивалась ее холодная красота.

– Что это у тебя за шляпа? – спросила Аглаида Васильевна, всматриваясь.

Монахини переглянулись между собою и усмехнулись.

– А вот, – ответила мать Наталия, – пожелала Зинаида Николаевна, и общими трудами погрешили против праздника и смастерили что-то такое на манер нашего...

Аглаида Васильевна недовольно покачала головой.

– Балуете вы мне моих детей! Не идет тебе это!

Затем она встала и пригласила гостей в комнаты.

Там матушек угощали чаем, вареньем, им играли на фортепьяно. Зина пела им церковные мотивы, затем пели хором.

Матушки принесли с собой запах кипариса, ласково улыбались и постоянно кланялись всем, а когда пришел генерал – встали и долго не решались опять сесть.

Мать Наталия иногда глубоко вздыхала и с какой-то тревогой посматривала на Зину. А потом останавливала взгляд на детях и опять вздыхала.

Такая тревога чувствовалась и во взглядах Аделаиды Борисовны.

Когда монахини ушли, оставшиеся почувствовали себя сплоченнее, ближе, и слово за словом по поводу того, что на время отъезда Зины дети зададут хлопот Аглаиде Васильевне, был предложен Сережей проект старшим съездить в деревню. А Маня предложила ехать с ними и Евгении Борисовне и Аделаиде Борисовне.

Евгения Борисовна сперва сделала удивленное лицо, но муж ее неожиданно поддержал это предложение.

– Что ж, поезжайте, – сказал он, – а мы с Аглаидой Васильевной останемся на хозяйстве.

– Но как же так? – возражала Евгения Борисовна. – Я ведь без Оли же не могу ехать!

– Бери и Олю!

– Что для меня, – сказала Аглаида Васильевна, – то я согласна с удовольствием. С радостью я займусь моими дорогими внуками, приведу их и все хозяйство в порядок. Очень рада, поезжайте!

Евгения Борисовна говорила:

– Да как же так сразу?.. Надо обдумать.

Но остальные энергично настаивали, чтоб ехать. Сдалась и она.

– Только одно условие, – сказала Аглаида Васильевна, – во всем слушаться Евгению Борисовну...

– И меня! – перебил Сережа.

– Всю свою власть я передаю Евгении Борисовне.

– И я буду строгая власть, – с обычной авторитетностью объявила Евгения Борисовна.

– Я уже дрожу! – сказал Сережа и стал корчить рожи.

Решено было ехать, проводив Зину. Она уезжала на третий день в два часа дня, а в деревню решено было ехать вечером с почтовым.

Ехали Евгения и Аделаида Борисовны, Тёма, Маня и Сережа.

Аня оставалась, потому что экзамены не кончились у нее.

Зина тоже очень сочувствовала поездке. Она обняла Аделаиду Борисовну и сказала ей:

– Вы увидите чудные места, где прошло все наше детство. Тёма, покажи ей все, все...

– Почему Тёма, а не я? – вступился Сережа.

– Потому что мое детство прошло с ним и Наташей, а не с тобой!

– Ну, а со мной, может быть, пройдет твоя старость!

– Дай бог! – загадочно ответила Зина.

– Ого, ты уже говоришь, как пифия! – подчеркнул Сережа.

Провожать Зину, кроме своих, собрались и несколько монахинь.

– О-хо-хо! – то и дело тяжело вздыхали они.

– Чего эти вороны собрались тут и каркают? – ворчал на ухо брату Сережа. – Давай возьмем дробовики и шуганем их.

Присутствие и, главное, тяжелые вздохи монахинь действовали и на Аглаиду Васильевну; казалось, и в ее глазах был вопрос:

«Что они тут?»

В конце концов создалось какое-то тоскливое настроение.

Сейчас же после завтрака начали одеваться.

Зина уже надела свою остроконечную шапку, опустила вуаль на лицо, когда подошла к роялю со словами:

– Ну, в последний раз!

Она заиграла импровизацию, но эта импровизация была исключительная по силе, по скорби. Местами бурная, страстная, доходящая до вопля души, она закончилась глубокими аккордами этой запершей боли. Столько страдания, столько покорности было в этих звуках! Слышался в них точно отдельный звон и точно сперва удары разбушевавшегося моря, а затем плеск тихого прибоя того же, но уже успокоившегося, точно засыпающего моря. Все сидели, как пригвожденные, на своих местах, после того как кончила Зина.

– Ради бога! научите меня этой мелодии! – прошептала Аделаида Борисовна.

– Идите!

Через четверть часа на месте Зины сидела уже Аделаида Борисовна, и те же звуки полились по клавишам.

Слабее была сила страсти и крики души, но еще нежнее, еще мягче замерли далекий

звон и волны смирившегося моря. Зина стояла, и при последних аккордах слезы вдруг с силой брызнули из ее глаз, смочили вуаль и потекли по щекам.

Аделаида Борисовна встала и бросилась к ней: у нее по щекам текли слезы.

– В память обо мне играйте! – шептала Зина и горше плакала.

Плакали все монашки.

Аглаида Васильевна недоумевала, точно угадывая что-то, смотрела, точно желая провидеть будущее, с тревогой и недоверием спросила:

– Ты что это, Зина, точно навек прощаешься?..

Зина быстро вытерла слезы и, смеясь, плачущим голосом ответила:

– Ах, мама, ведь вы знаете, что мои нервы никуда не годны, а глаза у нас, у Карташевых, у всех на мокром месте. А тут еще я вместо Наташи Делю полюбила.

И Зина уже совсем весело обратилась ко всем:

– Деля – можно так вас звать? – моя сестра, и горе тому, кто ее обидит!

На последнем она остановила свой взгляд на Тёме и сказала ему:

– Ну, прощай, и да хранит тебя бог!

Она горячо поцеловалась с ним и прибавила:

– Ох, и твоя жизнь будет все время среди бурь. Бери себе надежного кормчего, – тогда никакая буря не страшна.

– Нет, нет, сперва сядем по обычаю, – сказала Аглаида Васильевна, – а потом уже прощаться.

И все стали рассаживаться. Марусе не хватило стула.

– Иди, дорогая моя, к бабе на колени.

– Ну, теперь пора, – сказала Аглаида Васильевна и начала креститься на образ в углу.

Все стали креститься, и все встали на колени.

– Отчего все это торжественно так сегодня выходит? – спросил Сережа. – Уж кого, кого, а не Зину ли мы привыкли провожать чуть не по сто раз в год.

Монахини пошли провожать и на пароход.

Пароход, уже совсем готовый, стоял у самого выхода.

На пароходе было чисто, свежо, ярко. Совершенно спокойное море сверкало лучами, прохладой и манило вдаль.

– Эх, – хорошо бы!.. – говорил Сережа, показывая рукою.

Вот и последний звонок, свисток, последняя команда:

– Отдай кормовой!

И заработал винт, и забрызгал, и заиграла, шипя и сверкая под ним, светлая, яркая бирюзовая полоса.

На корме у борта стояла Зина. Ей махали десятки платков, но она не отвечала, стояла неподвижно, как статуя, широко раскрыв глаза и неподвижно глядя на оставшихся.

VIII

В тот же вечер выехали те, которые предполагали выехать в деревню.

Опять перед глазами сверкала вечно праздничная Высь и вся ее даль с белыми хатками, колокольнями, садиками и камышами с высокими тополями.

Все тот же непередаваемый аромат прозрачного воздуха, цвет голубого неба, печать вечного покоя и красоты.

Та же звонкая и нежная песнь под вечер, те же стройные девчата, всегда независимые и всегда склонные к задору паробки.

Среди них много сверстников Сережиных, но уж никого нет из Тёминых.

Тёмины уже давно поженились, переродились и теперь покорно тянут лямку общественных и супружеских своих обязанностей.

– Ей, панычу, – говорили Тёме из таких остепенившихся, – та вже пора и вам женытыся, бо вже стары становытыся, як бы лихо не зробилось.

Аделаида Борисовна первый раз была в малороссийской деревне. И деревня, и сад, и дом очаровали ее.

Она умела рисовать и привезла с собой сухие акварельные краски, кроме того, она вела дневник в большой тетради, запиравшейся на замочек.

Любимым ее местом в саду стало то, где сад соприкасался с старенькой, точно вставшей в землю, церковью.

Тёма учил ее ездить верхом, и часто они ездили в поле. Евгения Борисовна и Маня в экипаже, Аделаида Борисовна, Тёма и Сережа верхом.

В поле пахали, и начался сенокос. Пахло травой, на горизонте выростали новые скирды сена, и около них уже гуляли стада дрохв.

Лето было дождливое, мелкие озера не пересыхали, и степь была полна жизни: крякали утки, кричали, остро ныряя в прозрачном воздухе, чайки, нежно пели вверху жаворонки, а в траве – перепела.

А то вдруг гикнет дружная песнь, и польются по степи мелодичные звуки.

Однажды на сенокосе катающихся захватила буря и дождь.

Как раз в то время, как Тёма косил, а Аделаида Борисовна училась подгрести накошенное.

В мягком влажном воздухе клубами налетели мокрые тучи, быстро сливаясь в беспросветно-сизо-темный покров там, на горизонте, и черно-серый, точно дымившийся над головой. Страшный гром раскатился, на мгновение промелькнула змеей от края до края молния, стало тихо, совсем стемнело, упало несколько передовых крупных капель, и сразу пошел как из ведра ароматный дождь.

С веселым визгом побежали работницы и работники под копны собранного уже сена.

Под одну из таких копен забились и Аделаида Борисовна с Тёмой.

Им пришлось сидеть, плотно прижавшись друг к другу, в аромате дождя и сена. Сено мало предохраняло их, но об этом они и не заботились. Им было так же весело, как и всем остальным, и Аделаида Борисовна радостно говорила:

– Боже мой, какая прекрасная картина.

Мутно-серая даль от сплошного дождя прояснялась. Все словно двигалось кругом и в небе и на земле. Земля клубилась волнами пара, и казалось, что сорвавшаяся нечаянно туча теперь опять торопилась подняться кверху; в просвете этих волн вырисовывались в фантастических очертаниях скирды, воза, копны, и вдруг яркая от края до края радуга уперлась в два края степи. А еще мгновение – и стала рваться темная завеса неба, и пятном засверкало между ними умытое, нежно-голубое небо. Выглянуло на западе и солнце – яркое, светлое – и миллионами искр засверкало по земле.

Природа жила, дышала и, казалось, упивалась радостью. Точно двери какого-то чудного храма раскрылись, и Аделаида Борисовна вдруг увидела на мгновение непередаваемо прекрасное.

И это она – счастливая. Они оба сидели в этом храме, смотрели и видели, смотрели друг другу в глаза, и все это: и эта чайка, и это небо, и даль, и блеск, и все это – в ней и в них, это – они.

Крики чайки точно разбудили ее. Она провела рукой по глазам и тихо сказала:

– Как будто во сне, как будто где-то, когда-то я уже переживала и видела это...

Приближался вечер, и работа не возобновлялась больше.

Мокрые, но довольные, потянулись рабочие домой и запели песни.

За ними тихо ехали Аделаида Борисовна и Карташев, слушая песни и наслаждаясь окружающим.

Небо еще было загромождено тучами, а там, на западе, они еще плотнее темными массами наседали на солнце.

Из-под них оно сверкало огненным глазом, и лучи его короткими красными брызгами рассыпались по степи.

Вечером собрались на террасе, и Тёма громко читал «Записки провинциала» Щедрина.

Он сам хохотал как сумасшедший, и все смеялись. Иногда чтение прерывалось, и все отдавались очарованию ночи.

Деревья, как живые, казалось, таинственно шептались между собой. Их вершины уходили далеко в темно-синюю даль неба там, где крупные звезды, точно запутавшиеся в их листве, ярко сверкали.

Маня запевала песню, Сережа вторил, и казалось, и звезды, и небо, и деревья, и темный сад надвигались ближе, трепещущие, очарованные.

У Тёмы с приездом в деревню обнаружился талант: он начал писать стихи, и все, а особенно Аделаида Борисовна, одобряли их.

Но Карташев, прочитав их, рвал и бросал.

Он и сегодня набросал их по случаю дождя. Карташев долго не хотел читать их, но, прочитав, разорвал и бросил.

Аделаида Борисовна огорченно спрашивала:

– Почему же вы так поступаете?

– Потому что все это ничего не стоит!

– Оставьте другим судить!

– Я горьким опытом уже убедился, что никакого литературного дарования у меня нет.

– Но то, что вы пишете, то, что вас тянет, – уже доказательство таланта.

– Меня тянет, постоянно тянет. Но это просто пунктик моего помешательства.

– Я думаю, – ответила, улыбаясь, Аделаида Борисовна, – что пунктик помешательства у вас именно в том, что у вас нет таланта.

– Видите, – сказал Карташев, – я делал попытки и носил свои вещи по редакциям. Один очень талантливый писатель сделал мне такую оценку, что я бросил навсегда всякую надежду когда-нибудь сделаться писателем. Уж на что мать, родные – и те писания моего не признают; вот спросите Маню.

Маня подергала носом и ответила, неохотно отрываясь от чтения:

– Да, неважно, стихи, впрочем, недурны.

– А что вы делаете с вашим писанием? – спросила Аделаида Борисовна.

– Рву или жгу. Тогда, после приговора, я сразу сжег все, что копил, и смотрел, как в печке огонь в последний раз перечитывал исписанные страницы.

Однажды Карташев подошел к Аделаиде Борисовне, когда та, сидя у церкви, рисовала куст.

– Можно у вас попросить этот рисунок?

Аделаида Борисовна посмотрела на него смеющимися глазами.

– А можно вас, в свою очередь, попросить то, что вы пишете и что вам не нравится, дарить мне?

– Если вы хотите... На что вам этот хлам? Вы единственная во всем свете признаете мои писания, потому что я даже сам их не признаю.

Аделаида Борисовна в ответ протянула ему руку и на этот раз с необходимым спокойствием сказала:

– Благодарю вас.

– Ах, как я бы был счастлив, если б мог вам дать что-нибудь стоящее этого василька.

– Давайте, что можете! – смущенно ответила Аделаида Борисовна.

Для робкой и застенчивой Аделаиды Борисовны было слишком много сказано, и она покраснела, как мак.

В первый раз в жизни Карташев увлекся девушкой, не ухаживая.

Ему очень нравилась Аделаида Борисовна, ему было хорошо с ней. Он часто думал – хорошо было бы на такой жениться, – но обычное ухаживание считал профанацией.

Раз он надел было свое золотое пенсне.

– Вы близоруки?

Карташев рассмеялся.

– Отлично вижу.

– Зачем же вы носите? – с огорчением спросила Аделаида Борисовна.

В другой раз он убавил свои лета на год.

Маня не спустила.

– Врешь, врешь, тебе двадцать пять уже!

И опять на лице Аделаиды Борисовны промелькнуло огорченное чувство.

– Не все ли равно, – спросила она.

– Если все равно, – ответила Маня, – то пусть и говорит правду.

– Я и говорю всегда правду.

– Ну уж...

– Аделаида Борисовна, разве я лгу?

– Я вам верю во всем! – ответила просто Аделаида Борисовна.

– Пожалуйста, не верьте, потому что как раз обманет.

– Аделаиду Борисовну? – Никогда!

Это вырвалось так горячо, что все и даже Маня смутились.

Карташеву было приятно, что в глазах Аделаиды Борисовны он является авторитетным.

Она внимательно его слушала и доверчиво, ласково смотрела в его глаза. Он очень дорожил этим и старался заслужить еще больше ее доверие.

Десять дней быстро протекли, и Евгения Борисовна стала настаивать на отъезде.

Как ни упрашивали ее, она не согласилась, и в назначенный день все, кроме Сережи, выехали обратно в город.

– Праздники кончились! – сказала Маня, сидя уже в вагоне и смотря на озабоченные лица всех.

Евгения Борисовна опять думала о своих все обострявшихся отношениях с мужем.

Аделаида Борисовна на другой день после возвращения собиралась ехать к отцу и жалела о пролетевшем в деревне времени.

Мане предстояла опять надоевшая ей работа по печатанью прокламаций.

Карташев тоже жалел о времени в деревне и думал о том, что он сидит без дела, и казалось ему, что так он всю жизнь просидит.

Он смотрел на Аделаиду Борисовну и думал: «Вот, если бы у меня была служба, я сделал бы ей предложение».

Но в следующее мгновение он думал: разве такая пойдет за него замуж? Маня Корнева – еще так... А то даже какая-нибудь кухарка. А самое лучшее никогда ни на ком не жениться.

И Карташев тяжело вздохнул.

Дома скоро все вошло в свою колею.

Накануне отъезда поехали в театр и взяли с собой Ло, так как шла опера, а Ло любил всякую музыку и пение.

Был дебют новой примадонны, и успех ее был неопределенный до второго действия, в котором Ло окончательно решил ее судьбу.

Артистка взяла напряженно высокую и притом фальшивую ноту. Музыкальное ухо Ло не выдержало, и он взвизгнул на весь театр бессознательно, но в тон подчеркивая фальшь.

Ответом было – общий хохот и полный провал дебютантки.

Бедная артистка так и уехала из города с убеждением, что все это было умышленно устроено ее врагами.

Уехала Аделаида Борисовна, и прощание ее с Карташевым было натянутое и холодное.

«Эх, – думал Карташев, – надо было и мне, как Сереже, остаться в деревне, тогда бы иначе попрощались! С Сережей даже поцеловалась тогда на прощанье...»

IX

После отъезда Аделаиды Борисовны Карташев скучал и томился. Однажды Маня, сидя с ним на террасе, спросила с обычной вызывающей бойкостью, но с некоторым внутренним

страхом:

– Говорить по душам хочешь?

Карташев помолчал и, поборов себя, неуверенно ответил:

– Говори.

– Мы влюблены? То есть – не влюблены, но нами владеет то сильное и глубокое чувство, которое единственно гарантирует правильную супружескую жизнь. Мы глубоко симпатизируем, мы уважаем; отсутствие дорогого существа для нас – тяжелое лишение, и мы сознаем, что она, конечно, была бы лучшим украшением нашей жизни. Помни, что быть искренним – главное достоинство, и поэтому или отвечай искренне, или не унижай себя и лучше молчи.

– Я буду отвечать искренне, – серьезно и подавленно ответил брат. – Несомненно сознаю, что лучшим украшением жизни была бы она. Я не решился бы формулировать свои чувства, но мне кажется, что, узнав ее, никогда другую уже не захочешь знать. И я не буду знать: ни другую, ни ее. Для меня она недостижима по множеству причин. Она чиста, как ангел, я – грязь земли. Мало этого: я прокаженный, потому что, что бы ни говорили доктора, по твердой уверенности нет, что болезнь прошла. Если не во мне, то в детях она может проявиться. Дальше: она богата, а у меня ничего нет, потому что от наследства я отказался, воровать не буду, а при моем характере, даже при хорошем жалованье, ни о каких остатках и речи быть не может. При таких условиях я – бревно, негодное в стройку, в лучшем случае – годное на лучины, чтобы в известные мгновенья посветить при случае кому-нибудь из вас. И все-таки я очень благодарен Аделаиде Борисовне, потому что ее образ настолько засел во мне, что она отгонит всех других, и я тверже теперь пойду по тому пути, по которому должен идти.

Маня сидела, слушала, и – чем ближе к концу – она пренебрежительнее кивала головой.

– Ты так же знаешь себя, как я китайского императора. Запомни хорошенько: прежде всего ты – эгоист и один из самых ужасных эгоистов, которого природа одела в красивые перья, наделила лаской, внешней как будто беззащитностью. И с этим качеством ты многое выманишь у жизни. У тебя и хорошие есть стороны: ты хорошо и искренне сознался, что ты – грязь, а она – ангел. И эта искренность, которая в тебе несомненно есть и хоть *post factum*, но всегда явится и может сослужить тебе службу...

Маня затруднялась в выражениях.

– Ну, хоть в смысле познания, что такое человек, из каких противоположностей он создан. На этой почве я даже допускаю мысль, что из тебя мог бы выработаться и писатель. Но только не скоро, очень не скоро. Когда перебурлит, когда вся грязь сойдет, когда мишура жизни будет признана, а честолюбие – у тебя его бездна – все-таки останется. И вот тогда, может быть, твоим идеалом и явится Жан-Жак Руссо. И то, впрочем, если твоя жизнь сложится так, что будет молотом, дробящим эту мишуру, а то так и расплывется в ней без остатка. И тогда ты будешь окончательная дрянь, которую в свое время и отвезут, как падаль, на кладбище те, которые к этому делу приставлены.

При всем своем неверии будешь и крест целовать, словом, можешь, как сложится жизнь, превратиться, полностью превратиться в одну из тех гадин, которые неуклонно, каждая с своей стороны, охраняют существующую каторгу всей нашей жизни. Вся надежда, повторяю, на твою искренность, которая, просыпаясь от поры до времени, будет, помимо, может быть, и твоей воли, разрушать то, что уже будет создано тобой. А может быть, я и ошибаюсь. Во всяком случае, я теперь посылаю Аделаиде Борисовне книги и пишу ей; от тебя кланяться?

– Кланяйся, конечно. Но, умоляю тебя, не затевай ничего из области неисполнимого. Понимаешь?

– Понимаю, понимаю. С чего ты взял, что я хочу быть свахой? Если ты сам не хочешь...

– Не не хочу, а не могу.

– Ну, не можешь... Во всяком случае, можешь быть уверен, что уж меня-то никогда не причислишь к людям, исполняющим твои желанья, помогающим тебе жить, как ты хочешь... Дудки-с...

Маня сделала брату нос и ушла.

Она писала в тот день, между прочим, Аделаиде Борисовне: «Тёма у нас ходит грустный, пустой и занимается самобичеванием. Сегодня мы с ним говорили о тебе. Он говорил, что ты ангел, а он грязь. А я ему еще прибавила. Теперь он сидит на террасе и безнадежно смотрит в небо. Кроме того, что тебя нет, его убивает, что он до сих пор без дела, и с горя хочет ехать на войну в качестве уполномоченного дяди Мити по поставке каких-то транспортов, подвод, быков, лошадей. И пускай едет: с чего ни начинать, лишь бы начал, а в Рим все дороги ведут».

Карташев действительно после некоторых колебаний принял предложение дяди быть его представителем.

Дядя Карташева взял на себя поставку двух тысяч подвод. Из них: его собственных – четыреста, Неручева – шестьсот, а остальные – тысячу – они получают.

Сдача подвод назначалась в Бендерах, а затем Карташев с этими подводами должен был отправляться, под наблюдением интендантских чиновников, в Бухарест и далее на театр военных действий.

Самым неприятным в этом деле были сношения с интендантством.

– Ты должен будешь, – пояснял ему дядя, – их кормить и поить, сколько захотят. Затем за каждую подводу, за соответственное количество дней они тебе будут выдавать квитанцию, причем в их пользу они удерживают с каждой подводы по два рубля.

– Но ведь это значит взятки давать?

– Тебе какое дело? Никаких взяток давать ты не будешь. Будет у тебя квитанция, скажем, на десять тысяч рублей, ты и распишешься, что получил десять, а получишь восемь. Вот и все... Ведь это же коммерческое дело: не мы же что-нибудь незаконное делаем. Так всегда и везде делается: дают цену хорошую, отделить два рубля можно, а не отделишь – все дело погибнет.

– Я боюсь, что я вам не буду годиться для этого дела.

– Именно ты и будешь годиться, потому что тут расходы, которых нельзя учесть, и единственное – это выбор надежного человека, который меня не обманет. Жалованье я тебе назначаю пятьсот рублей в месяц, содержание мое. Две тысячи тебе дано на экипировку и десять процентов от чистой пользы. Это может составить двадцать и даже тридцать тысяч.

– Да, но вот эта ужасная сторона с интендантством.

– Да ничего, ей-богу, ужасного нет, по крайней мере, жизнь узнаешь. И интендантов много знакомых: в транспортах почти исключительно все наши помещики.

Дядя называет фамилии.

– И неужели они таки будут брать?

– А, дитя мое! Да, слава богу, что берут. Слава богу, что Василий Петрович, тот, конечно, брать не будет, – и зачем только лезет, – не в транспортах. Едва уговорили его не идти в транспорт и не портить дела...

Василий Петрович Шишков был сосед и даже далекий родственник Карташевых, когда-то очень богатый человек, но теперь очень обедневший, с одним имением, заложенным по нескольким закладным. Всегда чудак и оригинал.

– Ах, какая все-таки гадость, – удрученно повторял Карташев.

– Да никакой же гадости, сердце мое, нет, – повторял дядя. – Я хочу заработать деньги, тридцать тысяч. Гадость это?

– Вы подрядчик, и если вы выполните ваш подряд... Хотя тоже...

– Ну, что тоже? Ведь и железная дорога тоже подрядчиками строится – концессионер, жидовский приказчик, значит, и дорогу тебе строить нельзя. Куда же ты денешься? В монастырь? Так все девочки из вашей семьи и так туда тянут... Теперь слушай дальше: все они такие же помещики, как и я, все так же пострадали от освобождения крестьян, от новых

условий, все в долгу, как в шелку, – почему мне не поделиться с ними, если у меня осталось настолько больше, что я могу, а они не могут стать такими же подрядчиками? Считаю, наконец, что они такие же подрядчики на мое имя.

– Тогда зачем же они жалованье получают?

– Да что это за жалованье? Две тысячи четыреста в год? Ну, они из своего заработка эту двадцатую, тридцатую часть и отдадут назад государству, тем же бедным, кому хочешь. Но из этого ты уже видишь, что все это сводится к форме, а не к существу дела. А если мы возьмем по существу, то или жить – или в гроб живым лечь? Ты же не мальчик уже, и все детские бредни в багаже взрослого человека вызовут только смех, и серьезные люди с тобой дела иметь не будут.

Карташев не хотел быть мальчиком, еще меньше хотел быть смешным в глазах серьезных людей.

Да и бредней-то в багаже его никаких почти не оставалось. Он и не думал перестраивать мир, давно бросил все фантазии, относящиеся еще к гимназической жизни. Словом, он мирился со всем существовавшим положением вещей и только не хотел... или, вернее, хотел, чтобы вся эта, может быть и неизбежная, грязь жизни протекала как-нибудь так, чтобы не задевать его.

До сих пор он твердо верил, что всегда и можно так устроить свою жизнь, чтобы уберечь себя от этой грязи.

Теперь эта вера пошатнулась, и инстинкт подсказывал ему, что чем дальше в лес, тем больше дров будет.

И тоска разбирала его сильнее от этого, и чувствовал он себя совсем хуже прежнего парализованным всеми этими новыми для него перспективами жизни. Даже физически он чувствовал себя расслабленным и разбитым.

Маня говорила:

– Тёма ходит таким разваренным, точно уже сто лет варится.

Перед отъездом в Бендеры было получено письмо от Зины из Иерусалима.

В нем она объявляла, что так жить больше не может, а иначе жить, как хотела бы, не видит возможности, и потому и отказывается совершенно от жизни и поступила в монахини. Монашеское имя ее – Наталья, и она просит в письмах иначе и не обращаться к ней. Детей она поручала Аглаиде Васильевне и умоляла мужа согласиться на это.

Письмо произвело впечатление ошеломляющее на всех и больше всего – на Аглаиду Васильевну.

Ее сердце сжалось тоской и каким-то ужасом. Судьба преследовала ее и точно задалась целью неумолимо доказывать ей, что не ее волей будет идти жизнь, и ужас охватил Аглаиду Васильевну от мысли, где предел этой неумолимости. В первый раз Аглаида Васильевна захотела умереть и с мольбой и тоской смотрела на образ, а по щекам ее текли обильные слезы.

В это время Ло, у которого движения обиды и любви всегда чередовались, войдя в комнату и увидев, что происходит с бабушкой, пошел к ней и, пригнувшись к ее коленям, угрюмо проворчал:

– Скажи мне, баба, кто тебя обидел, и я убью того.

И когда Аглаида Васильевна продолжала плакать, не замечая его, он тоже заплакал, уткнувшись в ее колени.

Когда Аглаида Васильевна, наконец, заметив, нагнулась к нему и спросила, о чем он плачет, и он ответил, что ему жаль ее, она с воплем: «О, бедный мальчик!» – схватила его и осыпала горячими поцелуями.

Кризис прошел. Ло вырвал ее сразу из объятий отчаяния в свет. Аглаида Васильевна уже плакала слезами радости и говорила:

– Его святая воля: у меня прибавилось еще трое детей.

В это время к дверям подошла кухарка с своим младенцем, которому вдруг что-то не понравилось, и он закричал благим матом. Кухарка начала его шлепать, а Аглаида

Васильевна горячо сказала:

– Разве так можно обращаться с детьми? Дай сюда его.

И действительно, маленький бутуз на руках у Аглаиды Васильевны мгновенно успокоился.

А Сережа сказал:

– У вас, мама, не трое детей прибавилось, потому что этот тоже ведь ваш, и, пока вы будете жить, ваш дом будет всегда какой-то киндер-фабрикой.

Маня присела к роялю и заиграла импровизацию сестры, последнюю перед ее отъездом.

Торжественно замирали стихающие аккорды морского прибоя, колокольного звона монастыря, куда уже ушла и навеки теперь скрылась Зина.

И сильнее плакали и Аглаида Васильевна, и Аня, и у Мани текли слезы.

Все вечера говорили о Зине, вспоминали многое из прошлого, все мелочи из ее последнего пребывания, и теперь всем ясно было, что она исполнила все, что, очевидно, уже давно задумывала.

Пришла мать Наталья и с сокрушенным покаянием подтвердила это.

– Мучилась я, мучилась, – говорила мать Наталья, – но ведь наложила она на меня, прежде чем поведала, обет молчанья, и должна была молчать, только мучилась да вздыхала. Все-таки ложь была, но и то, как написано, ложь во спасение... В вечное спасение.

И опять плакали все, и с ними мать Наталья, вспоминая свой когда-то уход из дому и пережитые с ним страдания.

В письме Зины, теперешней уже матери Натальи, было обращение и к брату.

«Тёма, – писала сестра, – сутки состоят из дня и ночи, – вечно бодрствовать одному нельзя. Жизнь – это море, и, пока мы в жизни, каждый капитан на своем корабле. Весь успех зависит от надежного помощника. Переищи весь мир, и лучше Дели не найдешь. Возьми ее себе, благословляю тебя и предсказываю тебе великое счастье с ней».

Карташев, раздвоенный, подавленный, в душе завидовал смелому Зининому выходу из жизни. Приглашение ее жениться на Аделаиде Борисовне еще болезненней подчеркнуло его душевный разлад. Теперь, когда и он, с целой стайей разных обирателей, потянется в хвосте армии, чтобы служить только мамоне, контраст между выбором Зины и его становился еще ярче и оскорбительнее.

О женитьбе в первый раз было сказано открыто, и, насторожившись, все ждали, как отзовется Карташев на призыв сестры.

– Я никогда, если бы даже она согласилась, – заговорил угрюмо и взволнованно Карташев, – не женюсь на Аделаиде Борисовне. Свои советы Зина могла бы оставить при себе. Если бы когда-нибудь я и вздумал жениться, я не спросил бы ничьего совета, ничьего согласия, ничьего разрешения. Женюсь, на ком захочу...

Голос Карташева был раздраженный, вызывающий, хотя он и не смотрел на мать.

– И, вероятнее всего, женюсь на кухарке, – с детским упрямством и упавшим тоном закончил Карташев и посмотрел на мать.

На мать смотрели и Маня, и Аня, и Сережа.

Вместо сцены, которой ожидал Карташев, мать, стоявшая у перил террасы, сделала ему церемонный реверанс и ответила:

– А я вперед благословляю. И если ты хотел меня удивить, то – напрасный труд, жизнь уже столько удивляла меня, что уж теперь трудно удивить меня чем бы то ни было.

– Дурак ты, дурак, – сказала Маня.

– И дурак и подлец, – ответил дрожащим от слез голосом Карташев и быстро ушел с террасы.

Х

Бендеры – маленький городок, с маленькой одноэтажной гостиницей с деревянной

серой крышей и большим садом, был похож на село.

В этой гостинице, с коридорами, как в казармах, с большими висячими замками на номерах, толпилась масса всевозможного штатского и военного народа. Военные – большею частью интенданты, штатские – евреи – поставщики армии. Большинство из них молодые, энергичные, с жгучим взглядом людей, идущих, не сомневаясь, к своей цели.

В этом будущем обществе Карташева он чувствовал себя подавленным, раздвоенным, жалким. Дядя знакомил его с интендантами, его будущим начальством, и они покровительственно говорили ему «молодой человек», хлопали по плечу и приглашали выпить.

Высокий, начавший уже жиреть, бритый, с седыми усами штаб-ротмистр, не стеснясь, громко и цинично говорил, сидя за столиком, незаметно глотая рюмку за рюмкой, вытаскивая пальцами падавших мух, что сдерет шкуры с своих подрядчиков.

– Что?! Он, подлец, миллион себе в карман положит, а я своим детям голодным вместо хлеба камень в глотку засуну, и в этом будет моя совесть и честь?! Врешь, на вот тебе, выкуси, – и он толстыми пальцами складывал шиш и тыкал им в воздух, – свою гордость и честь я буду видеть в том, чтобы заставить тебя поделиться со мной половину наполовину, а иначе и ты, подлец, без таких же, как и я, штанов будешь. На тебе! Ты миллион себе засунешь в карман, а чтобы потом моему сыну, когда он будет у тебя милостыню просить, сунуть ему пятак и чувствовать себя порядочным человеком, который имеет право сказать сыну моему: «Твой отец дурак был, кто же ему виноват?» Нет, врешь, мерзавец, когда я выдерну у тебя твою половину, ты тогда сам скажешь: «Ой, ой, какой умный, сделал и без капитала то, что я с капиталом». И шапку еще снимешь да низко поклонись... Да, да – довольно, брат, с нас этих шкур. Довели до разоренья, до нищеты. Охотников разорять, отнимать последнее – конца свету нет: и государство, и мужики, и проклятые газеты, и книги, и если сам себе не поможешь, то и иди к ним с протянутой Христа ради рукой. И если я сам себе не помогу, кто мне поможет?! Дурак и подлец я буду, если и этим случаем не воспользуюсь спасти свое имение, спасти детей от голодной смерти. Нет, дудки, старого воробья на мякине больше не проведешь: раз сваял дурака благодаря этому благодетелю, – он ткнул толстым пальцем в Василия Петровича, – отпустил на даровой надел неблагодарное мужичье, – весь уезд тогда одел, а теперь и сам не лучше нашего кончил, такой же интендант. И главное, и тут еще собирается дурака валять: валяй на здоровье, но уж будь спокоен, за собой никого не поведешь...

Василий Петрович Шишков всей своей фигурой резко отличался от остальных интендантов, и хотя он тоже бодрился, неопределенно отшучиваясь от фамильярного панибратства своих коллег, но Карташев сразу почувствовал в нем свояка по положению и прильнул к нему всей душой.

Василий Петрович увел его в гостиничный сад и, забравшись в глухую аллею, спросил Карташева:

– Вы что, с ума, что ли, сошли? Ну, я старик, жизнь моя разбита, имение не спасти, дети с голоду умирают, я сам ничего не знаю и никуда не гожусь, но вы... вы... ведь вы же инженер, перед вами широкая дорога, а вы хотите замарать себя в самом ее начале так, что потом вам все двери же будут закрыты. И нам наш позор уже не долго нести – десять лет, и в могилу, а волочить его через всю жизнь...

– Но куда же мне деваться? – с отчаянием ответил Карташев. – Я искал инженерного места – нет. Да и инженер я ведь только потому, что у меня диплом, но я ведь ничего, решительно ничего не знаю.

Василий Петрович ходил рядом с Карташевым и молча слушал.

– Послушайте, – перебил он вдруг Карташева, – знаете что? Вы слышали, что сюда вчера приехал инженер строить дорогу на Галац?

– Нет, не слышал. Да и приехал-то он, вероятно, уже с набранным штатом.

– Кого-нибудь из инженеров вы знаете?

– Ни одного человека, кроме своих товарищей по выпуску.

– Пойдите на всякий случай к главному инженеру.

– Нет, не пойду. Если бы вы знали, как это унижительно – идти просить и получить наверно отказ...

– Плохо, плохо, – говорил огорченно Василий Петрович. – С такими задатками пассивно плыть по течению затащит вас в такую тину жизни...

Он нетерпеливо вздохнул.

– Эх, русская нация! голыми руками бери и вей какие хочешь веревки... И кто говорит? Я...

Василий Петрович с добродушным комизмом ткнул себя в грудь и посмотрел на часы.

– Ну, а все-таки хоть и на проклятую службу, а время идти...

Были сумерки. Дядя ушел еще и еще толковать с интендантами, а Карташев лежал на своей кровати и смотрел в полусвет окна, выходящего в сад.

Дверь номера отворилась, и раздался голос Василия Петровича:

– Кто-нибудь есть?

– Я, – ответил Карташев.

– Вас мне и надо. Ну, я познакомился и переговорил с главным инженером, – он вас просил прийти к нему.

– Когда? – испуганно поднялся с кровати Карташев.

– Сейчас.

– Ну? Надо одеться.

Карташев зажег свечу и начал быстро одеваться в самое парадное свое платье.

Одеваясь, он расспрашивал Василия Петровича, как же все это вышло.

– Да просто пришлось обедать за одним столом, познакомились, разговорились, я сказал, что у меня есть здесь один знакомый инженер, он сказал сначала, что все места уже заняты, а потом подумал и сказал: «Пускай придет ко мне».

Карташев радостно слушал и верил.

В действительности же Василий Петрович еще утром, говоря с Карташевым, задумал и привел в исполнение свой план. После службы, надев мундир, он отправился в номер, где жил главный инженер, представился ему и с просьбой не выдавать его рассказал о фальшивом положении Карташева.

Главный инженер ответил ему:

– Места все заняты... Я мог бы его взять, дело, может быть, развернется, но на первое время ему придется помириться с очень скромной ролью.

Карташев торопливо причесывался и взволнованно отдавался радостному чувству: неужели он все-таки будет инженером, неужели он опять инженер?

– А вы не пойдете со мной? – спросил в последнее мгновение Карташев, держа в руках свидетельство об окончании курса.

Василий Петрович только рассмеялся и махнул рукой.

– Ну, идите...

Карташев, прежде чем выйти, разыскал коридорного и просил его доложить о нем главному инженеру.

Загнанный, сбитый с ног коридорный долго не мог понять, чего хочет от него Карташев, и все повторял ему с хохлацким выговором:

– Ну, когда надо, так и идите, чем же я тут могу помочь? Ось и дверь не заперта.

И в доказательство коридорный действительно приотворил дверь.

– Кто там? – раздался густой голос.

Карташеву ничего не оставалось больше, как скрепя свое сильно бившееся сердце перешагнуть порог и остановиться с разинутым ртом. На полу, перед ним, лежало два человека. Один толстый, в рубахе с расстегнутым воротом, из-за которого выглядывала волосатая грудь, уже пожилой, другой более молодой, худой, нервный, бритый, с черными усами, с строгим лицом и недружелюбным взглядом своих черных, мечущих искры глаз. Оба лежали на карте, толстый водил по ней красным карандашом, а худой внимательно следил.

В отворенной двери несколько мгновений постоял и коридорный, тоже чем-то как будто вдруг заинтересовавшийся, но, вспомнив, вероятно, о своих текущих делах, побежал дальше, затворив за собой двери.

При входе Карташева худой только недовольно покосился на него, а толстый продолжал вести карандашом линию по карте.

– Здесь, – сказал толстый, – перевальная выемка будет, вероятно, две – две с половиной сажени. Тут пойдут нули, нули... Тут косогором подход к Пруту, затем по берегу Дуная, а последние пятнадцать верст уже прямо разливом Дуная с насыпью, вероятно, что-нибудь вроде сажени.

Карташев сообразил, что идет наметка будущей линии, подвинулся ближе и через головы следил за карандашом.

– В общем, – кладя карандаш, сказал толстый, – тысячи две кубов на версту все-таки выйдет.

Он сел лицом к Карташеву и сказал, сидя на полу:

– Здравствуйте. Вы инженер Карташев?

– Да.

– Видите, места у меня теперь нет, пока что я могу взять вас на затычку. Вы в этом году курс кончили?

– Да.

– На практиках бывали?

– Только кочегаром ездил.

– Ну, это... где ездили?

Карташев назвал дорогу.

– На угле?

– Да.

– Какой уголь?

– Брикеты из Кардифа, а сверху нью-кестль.

– На паровозе двое было: машинист и вы или еще кочегар?

– Нет, только машинист и я.

– Долго были?

– Пять месяцев.

– Значит, выносливость приобрели?

– Я думаю.

– На изысканиях не были никогда?

– Никогда.

– Теорию знаете хорошо?

– Плохо.

– Но проектировать можете все-таки, например, мосты?

– Составлял проекты в институте, – нехотя ответил Карташев.

– Составляли или заказывали?

– Больше заказывал.

– Ну, какой самый большой проект деревянного моста несложной системы?

Карташев подумал и ответил:

– Три сажени.

– Значит, и по проектировке не годитесь, – сказал раздумчиво главный инженер.

Он еще подумал и сказал:

– Я, право, не знаю, что мне с вами делать. Нам нужны люди, но знающие, а вы ведь первокурсник студент по знаниям. Я могу вас взять только практикантом.

– Я согласен.

– Жалованье тридцать пять рублей в месяц.

– Я согласен.

– Ну, кормить будем.

– Об этом нечего говорить, – ответил Карташев. – С моими знаниями я никакого жалованья не стою.

– Вы возьмете его в свою партию? – спросил толстый худого.

Худой свирепо сдвинул брови и, сверкнув на Карташева своими глазами, угрюмо сказал:

– В таком случае завтра в пять утра выходите на площадь перед гостиницей.

А толстый, протягивая руку, сказал:

– Ну, а теперь прощайте.

Карташев пожал руку толстому, поклонился худому и пошел к двери. Уже у двери он остановился и сказал:

– Я постараюсь оправдать ваше доверие.

И, выскочив в коридор, он подумал: «Как это все глупо вышло, и каким я дураком вышел в их глазах... Ну, и отлично, а все-таки начало сделано, переживу еще много тяжелых унижений, но сразу все пройду от изысканий до постройки...»

– Ну? – встретил его Василий Петрович.

– С большим скандалом, но принял, – смущенно и радостно ответил Карташев. – Вы знаете, уже завтра в пять часов утра...

– С места в карьер: отлично.

– И в поле на изыскания. Я так боялся, что меня засадят за проекты, но бог мне помог по поводу проектов такую чушь сморозить, что сразу решили, что я никуда не гожусь. Вот теперь не знаю только, как с дядей быть?

– Дядю вашего я беру на себя. Теперь сидите, я пойду к нему, а потом вместе ужинать будем.

Уже сгорбленная фигура Василия Петровича скрылась за дверью, когда спохватился Карташев и подумал: «Эх, забыл поблагодарить!»

Карташев напрасно беспокоился относительно дяди. Дядя уже и сам тяготился своим выбором, бранил в душе племянника кисляем и, основательно опасаясь за результат своего громадного дела, подыскал ему молодого энергичного помощника Абрамсона. Теперь этот Абрамсон, племянник главы фирмы, которой дядя Карташева продавал свой ежегодный урожай, становился во главе дела.

Уверенность этого красивого, с строгим римским овалом лица, в золотом пенсне Абрамсона была такова, как будто с рождения всегда он был во главе больших дел. С интендантами он держал себя покровительственно, как с маленькими людьми, и запугивания Конева на него мало действовали.

За ужином, где присутствовал и Карташев, и присутствовал даже с удовольствием, так как это уже была чужая, посторонняя для него компания, где он только наблюдал, – пьяный Конев приставал к Абрамсону:

– Если ты мне не дашь заработать чистоганом сто тысяч – сто! Ни копейки меньше, то пиши духовное завещание.

– Я не помню, когда мы пили брудершафт, – ответил с достоинством Абрамсон. – Что касается заработка, то можно и двести заработать, было бы за что...

– Конечно, не даром.

– Прежде всего надо действовать с умом...

– Я всегда с умом...

– И поэтому надо прежде всего молчать, а когда придет время, тогда и поговорим...

Абрамсон многозначительно смотрел в глаза Коневу, другим интендантам, Конев впивался в его глаза и, обращаясь к дяде Карташева, говорил с восторгом:

– Вот это шельма! Это выбор! Даром что молоко у него на губах еще не обсохло, я знаю вперед, что он и тебе даст кусок хлеба, и нам, и себя не забудет. Черт с тобой, хоть и жид ты, а давай брудершафт пить, потому что у тебя голова золотая. А на меня надейся... Мне твоего даром не надо. Хочешь, тебе сейчас квитанцию на сто пар павших быков выдам да на сто пар сейчас же вновь купленных, ну-ка, чем пахнет, что дашь? Говори?!

Конев так орал, что с соседних столиков на него оглядывались, и сидевшие с ним за столом напрасно уговаривали его.

– Что вы мне тут толкуете, – кричал он. – Разве я своими глазами не видел сегодня этих павших быков. Ступайте на свай, они и сейчас еще лежат там, а сколько их лежит во всю дорогу до Адрианополя. Что?!

Он лукаво и пьяно подмигивал компании и говорил:

– Бывали в передрягах! Только разве во чреве китовом не побывал еще, а в остальных – все входы и выходы во как знаем! И кому какое дело? Моя голова, я под суд пойду, если уж на то пошло! И никого не выдам! Наливай! Я, братец, из коммерческого училища: там товарищество – ой-ой-ой! Только выдай!

Конев сжимал свой волосистый громадный кулак ж, потрясая им над головой компании, кричал:

– Так вздутетеныт и плакать не позволят! Раз мы в училище забрались под пьяную руку в известный дом...

Следовал рассказ о жестокости над женщиной, отвратительный, совершенно неудобный для передачи. Результат был тот, что, несмотря на всю снисходительность нравов училища, пятерых исключили из него, и в том числе Конева.

– Ну и что ж? – закончил Конев, – человеком, как видишь, все-таки остался. Годом позже был произведен, а в глаза каждому могу смотреть: все-таки никого не выдал и не выдам! А вот что Артемий Николаевич с нами не едет – это умно. Что умно, то умно, – гусь свинье не товарищ, – нет, нет! Выпьем за его здоровье, пусть он себе остается и получает свои тридцать пять рублей с полтиной и харчи!

Благодушный и пьяный комизм Конева смешил всех и Карташева, и все снисходительно и доброжелательно чокались с ним.

Возвратившись в номер, дядя заявил Карташеву, когда тот приступил к денежному вопросу:

– Ни копейки от тебя назад не возьму. Теперь у меня деньги есть, и выданные тебе две тысячи – капля для меня в море теперь. Может быть, придет другое время, а тогда ты будешь уже на ногах, не мне, так детям моим: жизнь – колесо, – что сегодня внизу – завтра наверху, и наоборот.

– Ну, дядя! Те деньги, которые я истратил, ну, уже так и быть...

– Да что ты, ей-богу! С кем ты торгуешься? Мне мать твоя не сестра, что ли? Не одна грудь нас кормила? Не одна мы семья и до сих пор? Мы никогда в жизни с твоей мамой не поссорились. Наташу мне кто посватал? Была первая и по красоте и по богатству невеста. И если бы не мама, я мог бы жениться? Мама твоя такой министр, какого не было еще и не будет. Будешь еще ты торговаться со мной. Садись лучше и пиши маме письмо...

– Нет, я уж завтра.

– И думать нечего! Не дам спать, пока не напишешь! Знаем мы ваше завтра. Вот головой тебе отвечаю, что за все лето это будет первое и последнее письмо... Садись, садись...

Карташев нехотя сел:

– Все мысли в разброде. Диктуйте мне...

– Пиши, голубчик, – ответил дядя, укладывая что-то в чемодан, – пиши: «Дорогая мама, дожив до двадцати пяти лет, я, слава богу, научился писать под диктовку, лет в сорок научусь и сам писать письма...»

Дядя диктовал совершенно серьезно, а Карташев смеялся.

– Ну, пиши же, сердце. Ты думаешь, ей не будет радость, что ты опять инженер? Охо-хо, какая радость. Только молчала она, а уж видел я, какие кошки скребли ее...

Карташев наконец вдохновился и засел за письмо.

Дядя успел заснуть и опять проснулся.

– О, дурный! То не уговоришь, то не оторвешь! Два часа, а в четыре вставать. Бросай писать, спи!

– Кончаю.

XI

В четыре часа утра дядя разбудил Карташева.

На этот раз Карташев вскочил как встрепанный и быстро оделся.

Он долго выбирал из костюмов, во что ему одеться, и надел лакированные ботинки, щегольскую, вроде гусарской, куртку, форменную шапку и золотое пенсне.

Дядя его, с черепаховым пенсне на конце носа, внимательно осмотрел племянника.

– Ну, господи благослови тебя на новый и дай бог, чтобы был славный путь.

Дядя торжественно, по-архиерейски, благословлял племянника и усовещевал:

– Не топырься, не топырься! Все мы, голубчик мой, начинали с отрицанья бога, а кончали, как и ты в свое время кончишь, что без божьего благословенья ни от одного дела не будет толку.

Ровно в пять Карташев был на площади перед гостиницей.

Солнце, яркое и уже раскаленное, стояло над горизонтом. День обещал быть знойным. Но пока еще чувствовалась прохлада, и обильная роса еще сверкала на траве и деревьях, окружавших площадь.

У ворот гостиницы стоял дядя и наблюдал.

Худой инженер с черными огненными глазами уже был там. Он был еще мрачнее вчерашнего, быстро пожал руку Карташева и, махнув куда-то в сторону, буркнул:

– Познакомьтесь.

Карташев повернулся к группе рабочих человек в двадцать, с которыми о чем-то энергично переговаривался маленького роста господин с шляпой-панамой на голове, сдвинутой на затылок.

Господин повернулся, и Карташев увидел темное молдавское лицо с маленькими лукавыми и веселыми глазенками.

– Ба! – добродушно и пренебрежительно сделал жест в воздухе господин в шляпе-панаме. – Карташев? Ну, здравствуйте.

– Знакомые? – спросил старший.

Маленький опять сделал пренебрежительный жест.

– До шестого класса в гимназии сидели рядом, пока меня не выгнали за то, что сказал учителю латинского языка, что его предмет яйца выеденного не стоит.

– А вы... Сикорский... – замялся Карташев. – Как же попали на наше инженерное дело?

Сикорский иронически усмехнулся и развел руками.

– Вот, как видите... извините, пожалуйста, тоже инженер, хотя и не признанный Россией, Турцией, Николаем Черногорским, Абиссинией и прочее и прочее. Кончил в Генте.

– Давно?

– Да вот уж два года.

– И на практике уже были?

– На постройке двух дорог уже начальником дистанции успел быть.

– Значит, вы совершенно опытный инженер, – обрадовался Карташев, – и меня выучите?

– А вы конечно, – ни папа, ни мама, ни бе, ни ме, ни ку-ку-ре-ку, как, бывало, по-латыни? Не конфузьтесь – имел честь достаточно познакомиться и с вашими дипломированными инженерами, и с вашими студентами. Господи, что это за лодыри, что за оболтусы! Прямо совестно, хуже всяких юнкеров. В девять часов он глаза продирает только, все в таких же лакированных сапожках, пенсне...

Сикорский рассмеялся мелким, замирающим смехом.

– Как они идут, бывало, получать жалованье, я всегда их спрашиваю: «Слушайте, вам не совестно?» Ай-ай-ай...

Сикорский раздраженно покачал головой.

Старший инженер, наклонив голову, неопределенно слушал. Он сделал нетерпеливое движение.

– Ну что ж не несут планы?!

И, быстро повернувшись в сторону Сикорского, угрюмо бросив: «Я сам пойду», решительно зашагал в гостиницу.

– Слушайте, – говорил Сикорский Карташеву, – зачем вы таким шутком нарядились? Может быть, для прогулок с дамами это и очень подходит, да и то не в такую жару, но как же вы будете по болотам шляться в ваших ботинках? По вашему костюму очевидно, вы никакого представления не имеете о том, что вас ждет?

– К сожалению, да.

Одетый в легкую чесунчевую пару, в парусиновых сапогах, Сикорский покачал головой и вздохнул:

– Боже мой, боже мой! Что только делается в этом государстве! До двадцати пяти лет людей, как малолетних, вымаривают, превращают их в каких-то институток, куколок и выпускают... вот...

Сикорский возмущенно хлопнул себя по бедрам руками.

– И что ж? – продолжал он. – Их ждет голодная смерть? Нет! Их ждет карьера. Будете, будете и главным инженером и министром... Тварь! Гадость!

Карташева коробил тон Сикорского, но над этим господствовало сознание, что Сикорский в сравнении с ним неудачник, что диплом иностранного инженера никогда его дальше начальника дистанции и не пустит и что он был бы только комичен среди настоящих инженеров со всеми своими претензиями.

Еще более было странно видеть Сикорского в этой новой роли обличителя, что воспоминания о нем из гимназии не вязались с этим.

Карташев помнил Сикорского, когда во втором классе его однажды привел надзиратель во время перемены и оставил его в классе.

Все ученики обступили маленького, черного, как жук, мальчика, с маленькими насмешливыми, вызывающими глазенками, смотрящими лукаво из-под полуопущенных век.

Он стоял у окна, окруженный толпой учеников. И эта толпа и новичок смотрели друг на друга, не зная, что предпринять дальше.

И вдруг новичок быстрым движением поймал муху на стекле окна и, сунув ее в свой рот, сжевал и проглотил ее.

– Фу!

– Гадость!!

– Тварь! – закричали все, отплевываясь, корчась и вертясь.

Так и осталось это чувство какой-то брезгливости к нему.

Опять потом выдвинулось в памяти событие: Сикорский сразу потерял отца и мать. Отца повесили за участие в убийстве жандарма, мать отравилась.

Это было в четвертом классе. Сикорский с братом остались без всяких средств, ему достали уроки, и он этим жил и содержал брата и друга своего старшего брата, тоже ученика, по фамилии Мудрого. Мудрый был очень ограниченный человек, таким же был и брат Сикорского. Оба последние были товарищами Тёмы по учению в четвертом параллельном классе.

Сикорский иронически называл Мудрого *le plus sage* [самый мудрый (франц.)] – и брата *le plus grand* [самый великий (франц.)], не стесняясь, ругал их в глаза и за глаза. Это ироническое отношение ко всему и ко всем было отличительной чертой Сикорского. В товарищеской жизни младший Сикорский не принимал никакого участия и не играл никакой роли. Но однажды в каком-то деле он пострадал, не протестуя против того, что пострадал несправедливо. Это вызвало к нему симпатии и уважение.

Произошло это уже в шестом классе, когда взапой читался Писарев, Шелгунов, Зибер, Щапов, Бокль, Милль и все старались жить по-новому.

Ко всему этому Сикорский был совершенно равнодушен. Тем более удивила всех его выходка с учителем латинского языка, когда он объявил, что принципиально не желает изучать такую ерунду, как латинский язык.

Реакция тогда уже надвигалась. Реакционный элемент торопился выслуживаться, и Сикорского исключили. Немного раньше, за какую-то скандальную историю в публичном месте, были исключены старший его брат и Мудрый.

Все трое сразу как-то канули в вечность, и до этой встречи Карташев ничего не знал о всей их дальнейшей судьбе.

Может быть, при другой обстановке Карташев и иначе отнесся бы к приему Сикорского, но на этот раз было неблагоприятно ссориться с ним.

Ища соглашения своих действий с своей совестью, Карташев думал, что такой представитель своего ведомства, как он, Карташев, не может и служить его украшением.

– Вы только в том отношении не правы, Сикорский, что судите по мне. Я был в исключительных условиях.

И Карташев рассказал, как неудачны были все его попытки попасть на практику.

– Ну, а почему же вы рабочим не пошли? Ведь за границей всякий студент путей сообщения, технолог, горный, если не зарекомендует себя рабочим, – никакой карьеры сделать не может.

– Я ездил кочегаром, – ответил Карташев.

– Так почему же вы на постройку не пошли рабочим?

– Почему? – Карташев не знал. Может быть, потому, что кочегаром ему казалось все-таки менее обидным служить, чем просто рабочим. Кочегарами ездили и технологи-студенты, но рабочими никто не служил еще.

– Слушайте, Сикорский, вы так ругаете инженеров, а этот инженер, наш старший, не обижается?

– Да разве вы не видите, что это тоже не ваш инженер? Стал бы ваш в четыре часа вставать? Подождите, вот вы еще увидите своих, что это за цацы...

– Как его фамилия?

– Семен Васильевич Пахомов – один из крупных даниловских орлов. А кого Данилов орлом называет...

Карташев знал, что Данилов – тот толстый инженер, который вчера намечал линию на карте.

– Он тоже не наш инженер?

– Нет правил без исключения: ваш. Хоть он и говорит при этом: «извините, пожалуйста», и вашей братии терпеть не может.

Семен Васильевич с картой в руках вышел из гостиницы и быстро шел к ним.

Некоторое время он с Сикорским рассматривал карту, поглядывая в то же время и кругом, затем потребовал лестницу и полез на крышу гостиницы.

– По крышам дорогу поведем, – заметил один рабочий.

Некоторые из рабочих фыркнули, пожилой рабочий пренебрежительно махнул рукой, и, сев, достал из мешка хлеб и огурец, и принялся есть. Остальные последовали его примеру. Одни ели, другие сидели, обхватив руками колени.

К Карташеву нерешительно подошел дядя.

– Ну что, как?

Карташев рассказал, что этот другой инженер – его товарищ из гимназии.

– Ну, и слава богу, – это очень хорошо. Ну, прощай, я так и передам маме.

Дядя сегодня с поездом уезжал из Бендер.

Уходя, он лукаво подмигнул племяннику:

– А тебе на крышу рано еще?

С крыши в это время уже спускались инженеры; Семен Васильевич быстро, отрывисто крикнул:

– Вешки!

Рабочие быстро поднимались. Из толпы вышел, подслеповатый на вид, маленький блондин, средних лет, с виду подмастерье, десятник Еремин, как потом узнал Карташев, а за ним, лениво переваливаясь, пухлый гигант-рабочий Копейка, державший в руках охалку тонких белых, с железным наконечником, вешек.

Семен Васильевич нервно и быстро установил теодолит, еще раз оглянулся кругом и пригнулся к трубе.

Еремин, с двумя вешками в руках, лицом к трубе, пятился, пока не раздалась отрывочная команда:

– Стой!

По движенью рук Еремин двигался то вправо, то влево.

– Держи вешку прямо: между ногами и перед носом. Так! Ставь.

Вешка была воткнута, выровнена. Еремин взял новую вешку у Копейки и пошел вперед. Шагах в сорока он остановился на окрик:

– Стой!

И опять установил вешку.

Третью вешку уж без команды установил Еремин по двум предыдущим и услышал вдогонку отрывистое:

– Ладно! Кол!

Сикорский подал Пахомову кол.

Пахомов написал «SW, 13°», а Сикорский в это время отвесом определял точку стояния центра инструмента. Инструмент убрали и вместо него забили кол с надписью, предварительно проверив кол по линии. Били долго, и несколько раз Пахомов пробовал качать его.

– Ну, начало сделано. Убирайте по очереди вешки, забивайте вместо них колья и пишите на них направление и начинайте пикетаж. Неси за мной инструмент.

Пахомов, широко шагая, пошел вперед по тому направлению, где уже скрывался в длинной улице Еремин, а Сикорский остался на месте.

Пахомов повернулся и крикнул:

– Строго наблюдайте, чтобы при пикетаже колья с направлением не выдерживались!

– Ну, с богом! – обратился Сикорский к технику-пикетажисту с напряженным молодым лицом, усиленно вытиравшему лившийся с него пот.

– Ну, а теперь и я, – сказал Сикорский, устанавливая нивелир.

– А я когда? – спросил Карташев упавшим голосом, видя, что на его долю никакой работы, по-видимому, не осталось.

– Вы будете разбивать кривые. Вот вам Кренке, вот цепь, вот ганиометр и эккер, вот колья, вот ваших пять рабочих.

«Разбивка кривых, – подумал Карташев, – как раз тот вопрос по геодезии, на который он отвечал месяц тому назад на экзамене».

И тогда он исписал целую доску, говорил и получил пять.

Что он отвечал тогда? Мысли, как воробьи, разлетались во все стороны, и он напрасно ломал свою пустую голову.

«Надо успокоиться. Ведь не сейчас же еще разбивка. Наверно, вспомню. Вспомнил теперь».

По мере того как они подвигались вперед, пред глазами Карташева вставала большая черная экзаменационная доска, на которой он видел сделанные им чертежи. Он всегда очень плохо чертил, и на этот раз было не лучше. Пред его глазами и теперь эта черта, долженствовавшая изображать прямую. Какая угодно кривая, но только не прямая. А сама кривая каким уродом вышла. От такой кривой поезд и двух саженой не сделал бы. Надо было бы хоть теперь когда-нибудь позаняться чертежами. Конечно, это не важно... Знать, что чертить, а вычертит любой чертежник. Да, это хорошо знал Карташев, и все его проекты, хотя уставом института это и запрещалось, вычерчивал такой чертежник. А теперь совсем вспомнил... Кривая может быть и по кругу и по эллипсу...

– Какую кривую надо, по кругу или по эллипсу? – спросил Сикорского Карташев.

– По кругу.

– Все равно, значит, надо будет определить угол... – Ох, уж эти отсчеты по лимбу; он всегда путался в них, азимутальный, румбический углы. Особенно эти румбические. А как же определить такие оси без логарифмов?

Карташев обратился к Сикорскому.

– Прежде всего все ваши лекции забудьте. Так, как в лекциях описано, так теперь никто нигде и давным-давно не работает. Вот эта книжонка, которую я вам дал, разбивки кривых Кренке, слышали что-нибудь о ней?

Кажется, эта фамилия где-то в примечаниях упоминалась в лекциях. Пред Карташевым предстало желтоватое от времени, литографированное толстое издание лекций. Он даже помнил, что если это примечание есть, то оно внизу на правой стороне стоит вторым под двумя звездочками и тут же след раздавленной присохшей мухи.

Он почувствовал даже запах этих лекций, немного могильный, затхлый.

– О Кренке есть у нас, но что именно – не помню.

Первая небольшая кривая была у выхода из города.

Сикорский подошел к угловой вешке и списал с нее в новую записную книжку:

угол лево $1^{\circ} - 9'$ № 2° R. 200 ty. bis

длина кривой.

– Этот корнетик возьмите себе и записывайте в него по порядку все углы. Прежде всего, переписавши в корнетик даты вешки, надо всегда опять проверить записанное. Затем надо сверить румбические углы. Буссоль у вас есть, и поэтому вы можете проверить сами румб. Верно. SW одиннадцать градусов, а первая линия была SW тринадцать градусов, следовательно, дополнение существенного угла будет действительно одиннадцать градусов влево. Теперь по Кренке проверим ту *abi*-длину. Так как таблицы Кренке рассчитаны на радиус в тысячу саженей, то, чтоб получить для радиуса в двести, нужно дату разделить на тысячу и умножить на двести. Итак, ищем таблицу для одиннадцати градусов. Вот она. От этих пяти столбцов эти три для тангенса, биссектрисы и длины кривой. Умножить и разделить.

Умножив, Сикорский вторично проверил умноженное, заметив при этом:

– В нашем инженерном деле умножение без проверки – преступление. Все так тесно связано в этом деле одно с другим, что одна ошибка где-нибудь влечет за собой накопление ошибок, часто непоправимых. На одной дороге ошибка на сажень в нивелировке на предельном подъеме стоила два миллиона рублей. Инженер несчастный застрелился, но делу от этого не легче было, и компания разорилась.

– Все-таки глупо было стреляться.

Сикорский сделал гримасу.

– Карьера его, как инженера, во всяком случае, была кончена.

«Черт побери, – подумал Карташев, – надо будет ухо держать востро».

А Сикорский продолжал:

– Вы счастливо попали, вы в три месяца пройдете все дело постройки от а до зет и сами скоро убедитесь, что все дело наше строительное сводится к тому же простому ремеслу, как и шитье сапог. И вся сила в трех вещах: в трудоспособности, точности и честности. При таких условиях быть честным выгодно: вас хозяин сам озолотит.

– Вы много уже заработали? – спросил Карташев.

– С двух дорог две премии целиком в банке – двенадцать тысяч рублей. Эту дорогу кончу и уйду в подрядчики. Сперва мелкие, а там видно будет.

– А почему же не будете продолжать службы?

– Потому что заграничным инженерам и теперь ходу нет, а чем дальше, тем меньше будет. Вы вот другое дело: тогда не забудьте...

Сикорский иронически снял свою шляпу и встал.

– Ну, теперь прежде всего отобьем.

Когда разбивка и проверка кривой кончилась, Сикорский сказал:

– Следующую вы сами при мне разобьете, а дальше я вас брошу, и работайте сами.

Третья кривая, с которой Карташев справлялся один, была уже за городом, в долине, где линия уходила вдаль по отлогим покатосям долины.

Кривая была большая, приходилось работать в виноградниках, и, когда он наконец кончил, сзади на него насели и пикетажист и Сикорский с нивелиром.

– Собственно, время и обедать, – сказал Сикорский.

Выбрали лужайку повыше под деревьями и присели; под одним деревом Сикорский, пикетажист и Карташев, а под следующими деревьями рабочие.

Подъехала подвода, из которой Сикорский, пикетажист и рабочие стали вынимать свои мешки с провизией.

– А вы что? – спросил Карташева Сикорский.

– Я не сообразил и ничего не взял, – ответил Карташев. – Да и есть не хочется: жарко...

– С завтрашнего дня дело наладится, да и сегодня вечером на привале в деревне нам приготовят обед; мой брат – помните того *le plus grand* – уже поехал вперед, а теперь как-нибудь поделимся чем бог послал. Днем мы всегда будем как-нибудь есть: некогда, и не так есть, как пить хочется, – завтра будет чай, а сегодня уж как-нибудь... Вы не засиживайтесь; поедим, и уходите вперед, чтобы не задержать нас: верст десять надо сделать сегодня...

В корзинке Сикорского, в чистых бумажках, лежали красивые бутерброды: вестфальская ветчина, маленькие куриные котлетки, несколько огурцов, редиска, масло.

– Возьмем по рюмочке, – сказал Сикорский, доставая маленькую бутылку. – Это ракия, а эта ветчина из Рагузы, она по несколько лет у них вылеживается. Совершенно особенно приготавливается. Нравится?

Карташев выпил и закусывал ветчиной.

И ракия ему понравилась, и ветчина с сильным ароматом и особым вкусом.

– Ее необходимо резать очень тонкими пластами. Чем тоньше, тем вкуснее. Там, на Адриатическом море, пластинки чуть ли не как кисея тонки и прозрачны.

Карташев ел с наслаждением, усилившимся, после утомительной и непривычной еще работы, прохладой под деревом, после зноя, от которого плохо предохраняла форменная фуражка.

Полузакрыв глаза, он ел, ни о чем не думая, смотря на открывавшуюся даль Днестра, на далекие линии на горизонте, сливавшиеся с синевой неба. Там небо синее было, а над головой ярко-мглистое, раскаленное. В садах, с пригорка, где они сидели, видны были широкие листья винограда, густо укрывшие кусты, землю; правильными рядами тянулись фруктовые деревья. Между ними клумбы с ягодами: видны были уже краснеющая клубника, кусты красной смородины, крыжовника.

Хорошо бы, как в детстве, перелезть через низкую ограду и нарвать тайком.

Еще лучше забраться в те баштаны, где расплзлись по земле длинные плети огурцов, дынь, арбузов.

А там за баштанами потянулись поля уже высокой кукурузы. И ко всему прибавлялось радостное, бьющееся, как живое, сознание в душе заработанной еды, заработанного дня, сознание, что он, Карташев, получающий теперь даже меньше рабочего, больше не дармоед и ничего общего не имеет со всей той ордой хищников, с которыми еще вчера, казалось, связала его роковым образом судьба.

Даже мысль о том, что он ничего не знает, больше не смущала его.

Теперь его незнание обнаружено. Теперь учиться, учиться и учиться. Учиться у рабочего, десятника, техника, у Сикорского. Карташеву казалось, что точно для него нарочно вся эта дорога задумана и выстроится в три месяца, чтобы успел он прийти и наверстать все недочеты. Всего через три месяца он постигнет свое ремесло, он с правом скажет:

– Я инженер.

А Сикорский подбавлял масла в огонь, характеризуя ему их общую специальность.

– Основное правило в нашем деле: за незнание не бьют, но за скрывание своего незнания – бьют, убивают и вон гонят с дела. Незнающего научить не трудно, но негодяй, который говорит – знаю, а сам не знает, губит безвозвратно дело.

Да, да, думал Карташев, это та логика, которая всегда бессознательно сидела в нем, подавляемая всегда сознанием, что до сих пор это было не так, что до сих пор, напротив, шарлатаны как будто и пользовались успехом в жизни. Тем лучше, и слава богу, что он сразу объявил, что он ничего не знает.

– Начальства у нас нет, – продолжал Сикорский, – кто палку взял в нашем деле, тот и капрал. Это значит, что кто хочет работать, кто может работать, тот скоро и становится хозяином дела, помимо всякой иерархии служебной.

«Буду, буду хозяином», – напряженно стучало в голове Карташева.

– И рядом с этим надо учиться быть смелым, решительным, находчивым. У меня был старик десятник, у которого я учился в первых своих шагах инженера. Он всегда говорил: «Глаза робят, а руки уже делают...»

Неужели, думал Карташев, так случайно выбранная им карьера инженера действительно подойдет ко всему складу его натуры, души?

– Ну, поели? И ступайте.

Карташев вскочил свежий и радостный.

– Я эту проклятую куртку к черту брошу, на эту телегу. – Карташев снял куртку и жилетку и остался в одной рубахе.

– Вечером, – сказал Сикорский, – пошлем *le plus grand* в город за вашими вещами. Завтра надевайте только панталоны, ночную рубаху, высокие сапоги, и пусть вам шляпу с большими полями купят. Да бросьте вы эту балаболку.

Сикорский указал на болтавшееся на груди Карташева золотое пенсне.

– У вас в гимназии же было хорошее зрение.

– Оно и теперь хорошее.

Карташев ощупал свое пенсне и с размаху бросил его в соседний сад.

– Ну, это уж глупо, – сказал Сикорский.

Карташев вспомнил, как однажды в деревне Аделаида Борисовна, краснея и смущаясь, сказала ему с ласковым упреком: «Зачем вы носите пенсне?»

Может быть, он когда-нибудь расскажет ей, при каких условиях расстался он с своим пенсне.

И ему еще веселее стало на душе. В первый раз он почувствовал, что Аделаида может быть его женой.

Что до рабочих Карташева, то они далеко не были в таком праздничном настроении, как хозяин, и, идя за ним, роптали.

– Так без отдыха начнем махать, – и сапоги и ноги скоро обработаем.

– Чтоб вам обидно не было, я сегодня вам от себя прибавлю по двадцать копеек на человека, – сказал Карташев.

Это произвело хорошее впечатление. Ропот прекратился, и рабочие уже молча шли за Карташевым.

– Ничего, – сказал с длинной шеей худой молодой рабочий с подслеповатыми глазами, – добежим как-нибудь до смерти.

Он комично потянул носом, покосился на товарищей и с глуповатой физиономией продолжал:

– За прибавку, конечно, спасибо... Только наш брат, известно, дурак, – ему, что коню, в брюхо бы только что воткнуть.

– Вы же поели?

– Поесть-то поели, а выпить вот и забыли.

Веселый смех остальных поддержал рабочего.

– Водки хотите?

– А неужели воды?

Рабочие опять расхохотались.

– Ты ему сунь воды, – показал рабочий на обрюзгшее от водки лицо соседа, – а он тебе в морду, пожалуй.

Рабочие совсем развеселились.

– Да где же здесь достать водку? – спросил Карташев.

– Э-во! – ответил парень. – Только доставалки были бы, а то в один миг...

– Ты, что ли, пойдешь? – спросил Карташев.

– А неужто, – показал парень на опившегося, – его посылать? Туда-то он махом, а назад раком. Лучше я пойду.

– Тебя как звать?

– Тимофей, что ли...

Тимофей взял деньги и, пока приступал Карташев к разбивке, уже возвратился с водкой.

Другой рабочий позаботился и об закуске, забежав по дороге в баштаны и сорвав несколько огурцов.

– Вот что, ребята, – сказал Тимофей, – присесть надо.

И, обращаясь к Карташеву, сказал:

– Ты пять минут нам дай сроку, а потом мы тебе на рысях отзвоним тебе, – и танца твоего, и бисестриц...

Карташева сильный соблазн разбирал при виде огурцов, только что, да еще воровски, сорванных с баштана. Всегда в детстве такие огурцы казались ему особенно вкусными. Он не утерпел и, поборов смущение, нерешительно сказал:

– Может быть, есть лишний у вас огурец?

– О?! – радостно ответил Тимофей. – Бери сколько хочешь, – у нас кладовая во какая.

Тимофей махнул рукой на всю даль баштанов.

Нашелся и нож, и соль, и темный пшеничный хлеб с особым ароматом.

Присев под дерево, Карташев разрезал огурец, посолил его, потер обе половинки и стал есть его с хлебом.

– Ну-ка, лети еще за огурчиками, – скомандовал Тимофей одному рабочему.

Выпив, рабочие заедали огурцами без соли и хлебом. Челюсти их медленно, как работу, жевали пищу.

– Еще один, еще два, – поднес Тимофей Карташеву в подоле рубахи огурцы.

Рабочие выбирали уже желтевшие огурцы, а Карташеву хотелось зеленых.

– Я сам себе выберу, – не утерпел Карташев и пошел сам на баштаны.

– Го-го! – пустил ему вдогонку Тимофей, – из наших, видно, тоже...

Как раз когда наклонился к огурцам Карташев и стал рыться в зеленой листве их, из-под которой сверкали желтые цветы, из шалаша вышел сторож с ружьем и медленно пошел к Карташеву.

Карташев сорвал три огурца и ждал сторожа.

Рабочие с любопытством следили за развязкой.

Когда сторож подошел, Карташев сказал:

– Вот мои рабочие и я сорвали десятка два огурцов. Рубля довольно за них?

– Я не хозяин, – ответил флегматично хохол-сторож, уже старик.

– Ну, – сказал Карташев, протягивая ему рубль, – что следует хозяину отдай, а остальное себе возьми.

– Хм... – сказал хохол, – хйба вин сдачу мне дать? Отбере усе...

Тогда Карташев достал мелочь и сказал:

– Вот двадцать копеек отдай хозяину, а вот эти восемьдесят себе возьми.

– А за що?

– Да так просто...

– Хм...

Хохол еще подумал и, решительно отдавая деньги, сказал:

– Ни, не возьму.

– А водки хочешь?

– Хиба есть?

– Пойдем.

Хохол пошел за Карташевым, и рабочие угостили его водкой.

– На, диду, – сказал Тимофей.

Перед тем как выпить, хохол снял шляпу, перекрестился, лицо его сделалось ласковое, умильное, и, почтительно кивнув Карташеву, сказал:

– Ну, дай же ты, боже, що нам гоже, а що не гоже...

Хохол беспечно махнул рукой.

– Того не дай, боже...

Он выпил, крикнул и, взяв огурец, подсел к рабочим.

– Старый, дид? – спросил Карташев, принимаясь за новый огурец.

– Старый, – мотнул головой дед.

– Сколько лет? Годыв сколько?

– Не знаю... Помню ще Екатерину. В косах ходили солдаты, ще мукой посыпали их. А вшей, вшей в них, – не доведи, боже... Гайдамашку ще помню...

– Сам, чай, гайдамакой был, – подсказал Тимофей.

– Ни, чумаковал... Пара волов, воз соли два карбованца стоил, а тепер и за полтыщи не ухватишь.

– Ну, дид, еще горилки.

Дид опять встал, перекрестился, покивал на все стороны и, выпив, крикнул.

– Добра...

– Еще осталось... Кому отдать? Пьянице, – решил Тимофей и передал рабочему с одутловатым лицом.

Рабочие вставали; Карташев, съев третий огурец, тоже поднимался.

– Ну, дид, – сказал Тимофей, – иди спать тепер, а мы тоже уйдем: никто больше красть у тебя не станет.

– А що хоть и возьме кто? Всем у бога хватит. Только вот хлопоты мне с этим, – показал дид на двугривенный, – куда его сховать?

Карташев опять предложил ему деньги.

– Ну! – брезгливо махнул дид рукой и побрел к своему шалашу.

– Ну, ребята, смотри только как бока отбивать! – весело командовал Тимофей.

Кривая была быстро разбита. Последнюю кривую, когда уже солнце длинными лучами скользило по долине, Карташев разбивал на глазах у Пахомова, нагнав его.

Пикетажист и Сикорский остались далеко позади и не были видны.

Пахомов, кончив работу, стал и молча, сдвинув брови, смотрел, как на рысях команда Карташева, совершенно приспособившаяся, вела свою работу.

Карташев боялся только, как бы рабочие не начали при Пахомове свою болтовню и не выдали бы его, Карташева, начальственную слабость. Но самый строгий глаз не заметил бы малейшей непочтительности или чего-нибудь такого в обращении, что напомнило бы, что он, Карташев, вместе с этими самыми рабочими воровал сегодня огурцы с огородов.

Когда разбивка была кончена, Пахомов подошел ближе и внимательно, с видом знатока, смотрел на колья, обозначающие кривую. Местность была открытая, пологая, красивая кривая ясно обозначалась кольями, и Карташев, затаив дыхание, следил за Пахомовым.

Он, очевидно, остался доволен, но ничего не сказал и только, сильнее сдвинув брови, буркнул:

– На сегодня довольно. Идем в эту деревню.

Пахомов с Карташевым пошли вперед, а рабочие, значительно отстав, смешавшись с

рабочими Пахомова, шли веселой гурьбой.

Напрасно ждал Карташев, что Пахомов хоть одним словом обмолвится... Так молча и дошли они до просторной молдаванской избы, чисто, опрятно выбеленной белой глиной.

На пороге избы уже стоял, выжидая, брат Сикорского и, согнувшись, почтительно пожал руку Пахомова.

– Все в порядке? – сухо спросил Пахомов.

– Все, Семен Васильевич, – ласково, с особым тоном почтительной фамильярности своего человека, ответил Сикорский.

– Ну, вот познакомьтесь, – буркнул Пахомов.

Сперва Сикорский важно было протянул руку Карташеву, но затем весело и с уважением в голосе крикнул:

– Кого я вижу? Один из столпов нашей революции в гимназии. Ведь, Семен Васильевич, – он, Корнев и Рыльский были наши самые первые главари, бунтари. Писарев, Шелгунов...

– Вот как, – ответил односложно Пахомов, усаживаясь на широкую деревянную скамью и скользнув с любопытством по Карташеву.

– Да как же? Наши светила...

– Ну, вот, – смущенно отвечал Карташев, и польщенный и с тревогой думавший, как посмотрит Пахомов на то, что он когда-то был бунтарем.

Изба была просторная, прохладная, с чисто вымазанным глиняным полом, с сильным и приятным запахом васильков. Посреди избы уже стоял накрытый стол, на нем тарелки, деревянные ложки, водка, вино, разные закуски.

– Не взыщите, как умел, – говорил Сикорский.

На что Пахомов только сильнее сдвинул брови, и Карташев, внимательно наблюдая его, не знал, что это значило: доволен он или нет?

Когда пришли младший Сикорский и пикетажист, сели ужинать.

Младший Сикорский, войдя, сделал презрительную гримасу и жест в воздухе.

– Семен Васильевич, – сказал он, – вы бы его дубиной, – указал он на брата. – Что он тут за разврат развел? Закуски, анчоусы. Тварь!

Старший Сикорский, только растерянно оглядываясь на всех и мигая маленькими глазами, повторял:

– Ну вот, ну вот...

Пахомов нервно, громко и коротко рассмеялся и опять уже угрюмо сказал:

– Ну, будем есть.

– Я сейчас, – ответил младший Сикорский.

Он ушел, вымыл лицо и руки, расчесался и возвратился к столу, когда уже ели борщ из свежей капусты, помидор и утки с салом.

Младший Сикорский сделал еще раз пренебрежительный жест, показав на закуски, причем у старшего брата Леонида опять появилось испуганное выражение лица, и принялся за закуски. Он ел сардинки, пикули, икру. Ел помногу.

Леонид сказал:

– Ругал меня, а один ест закуски.

– Не пропадать же, – ответил младший брат.

– А ты лучше суп ешь. Всегда вот так: закусок наестся, а остального не ест.

На второе подали синие баклажаны по-гречески.

– Это я буду есть! – сказал младший Сикорский и, обходя борщ, наложил полную тарелку баклажан. – А кайенский перец есть?

– Есть и кайенский, – с гордостью ответил старший брат. И, обратясь к Пахомову, жалобно сказал: – Вот так он всегда, Семен Васильевич: ворчит, что много, а чего-нибудь не окажется – ругаться начнет. Больше, господа, ничего нет.

– А чай будет? – спросил Пахомов.

– Эй, Никитка, живо самовар! Убирай все тут...

Никитка, проворный и глуповатый парень, быстро стал готовить чай.

Старший Сикорский, наклонившись к Карташеву, в это время громким шепотом говорил:

– На все руки парень... Раздобудет хоть черта из ада.

– И девиц? – иронически бросил младший брат.

– Ну да, кому они нужны, – засмеялся, краснея, старший брат и, впадая опять в благодушный тон, весело прибавил: – Написал записку ко мне и подписал: «Ваш всенижайший раб Никитка – как собака преданный».

– А ты и рад? Тебе бы поручить, – снова рабство завел бы.

– Все не завел бы, но приятно встретить преданного человека.

– Э, дурак! Ну с чего он будет тебе предан?

И столько было презрения в тоне младшего Сикорского, что тот опять покраснел, замигал усиленно глазками и уныло замолчал.

Карташеву было от всей души жаль старшего Сикорского.

– Я чай пить не буду, – сказал младший Сикорский, – а пока светло еще, выверю инструменты. Вам тоже выверить, Семен Васильевич?

– Пожалуйста.

Карташев пошел за младшим Сикорским.

– Отчего вы так к брату резко относитесь?

– Резко! Его бить безостановочно надо.

– Все-таки он вам брат.

– Ну, это мне странно слышать от вас, Карташев; сколько помню, в вашем кружке в гимназии расценка слову «брат» была сделана. Что такое брат? Хороший честный человек – брат, а прохвост, хоть и брат, – прохвост. Для меня нет ни брата, ни родных. Когда после смерти родителей мы с ним остались, мне было четырнадцать лет. Вся эта сволочь-родня нам гроша ломаного не дала. Своими руками и себя и этого оболтуса кормил. А что он мне стоил за границей!

– Он тоже был там?

– Куда ж я его дену?

– И тоже инженер?

Сикорский помолчал и с презрением бросил:

– Тоже!

Еще помолчал, занявшись установкой нивелира, и потом продолжал:

– За границей рядом с настоящим аттестатом выдают аттестаты хоть ослам. Вот такой и у моего братца.

– Отчего же он у вас не на деле, а по какой-то провиантской части?

– Ему нельзя никакого дела, кроме этого, поручить: он так наврет, так все перепутает, что до чумы доведет. Я никогда бы не взял на себя ответственность поручить ему какое бы то ни было дело. И это дело не я ему поручил; я уговаривал Семена Васильевича, но он все-таки взял его. И не сомневаюсь, что в конце концов выйдут неприятности.

– Какие?

Сикорский не сразу ответил.

– Воровство, – нехотя сказал он. – Никитка его будет обворовывать, а он нас.

Карташев ушам своим не верил.

– Вы слишком строги.

– Ну, оставьте... Я и вас предупреждаю: очень скоро он будет у вас просить займы. Нет на свете такого человека, зная которого он не взял бы у него займы.

Карташев слушал и в то же время внимательно смотрел за проверкой, стараясь восстановить в своей памяти лекции. И опять было что-то не то. В конце концов эти воспоминания только путали его, и, отбросив их, он принялся за усвоение практических приемов. Кончив проверку, младший Сикорский позвал брата и, отойдя с ним, долго что-то говорил по-французски.

Брат оправдывался, вынимал свою записную книжку, вынимал портфель, кошелек.

Карташев ушел подальше от них, сел на завалинку избы и смотрел на горевшую последними лучами волнистую даль Днестра. Солнце уже исчезло, и только из-за далекой горы, точно снизу, вырывались лучи, золотистой пылью осыпая верхи холмов. И на темном уже фоне окружавшие холмы казались прозрачными, светлыми, повисшими между небом и землей. Там в небе стояли всех цветов и тонов облака, меняя свои яркие и причудливые образы. И каждое мгновение появлялись новые сочетания; они казались такими установившимися и прочными, а в следующие их сменяло уже новое и новое.

Далекий отблеск земли и неба будил в душе какой-то отблеск чего-то далекого, забытого и нежного. Этот тихий вид догорающей дали, как музыка, ласкал и звал. Хотелось тоже ласки, хотелось жить, любить, хотелось, чтобы жизнь прошла не даром. Сегодня уже несколько раз касались в разговорах прошлого Карташева, когда он был красным еще. Таким он и остался в глазах Сикорских и теперь в глазах Пахомова. И ему как-то не хотелось разубеждать их в этом. Да разве и была такая большая разница между ним прежним и теперешним? Ведь не против сущности, а только против достижения цели, против мальчишеских приемов восставал он. Но там, где-то в глубине души, он чувствовал, что это уже новый компромисс, на котором трудно ему будет удержаться, что рано или поздно, а надо будет стать определенно на ту или другую сторону. Ну что ж, он и станет там, куда его увлечет жизнь. Он вовсе не из тех предубежденных людей, которые, раз сказав что-нибудь, так и будут стоять на этом до конца жизни. Никаких предубеждений! С открытыми глазами идти смотреть и искать истину.

А если так ставится вопрос, подумал вдруг Карташев, то, пожалуй, истина там, где была, когда он был в гимназии. Тем лучше!

Карташеву стало весело и светло на душе. Он вдруг вспомнил Яшку, Гараську, Кольку, Конона, Петра. Опять все они, и сегодняшний Тимофей, и все его рабочие сегодняшние, были близки ему, так близки, как когда-то в детстве Яшка, Гараська, Колька. К нему подошел Тимофей и, наклонившись, дружески сказал:

– Рабочим надо бы дать, что обещано.

– Конечно, конечно, – заторопился Карташев и полез в карман.

– А вместо Сидора, этого пьяницы, лучше бы нам взять Копейку.

– Неловко.

– Что неловко? Вы у Еремина попросите – он согласится.

– Почему не Сидора?

– Спаивать нас будет; он только об водке и думает. Все надеется, что работа лучше пойдет с водкой, а налакается и опять не может. Днем не надо пить. Лучше же вечером, с устатку. А днем лучше чайком бы их побаловать. Вот если б чайника нам добиться! Да еще подводу нам надо раздобыть: у всех есть, только у нас нет.

– Чайник будет, – ответил Карташев.

Старший Сикорский, окончив скучный разговор с братом, собирался с Никиткой в город. Карташев поручил ему привезти кое-какие вещи из его чемодана, широкоую шляпу, купить высокие сапоги.

– Хотите мои? – предложил Леонид.

– Не берите, – брезгливо сказал Валерьян, – гадость какая, лакированные, как у лакея, и для болота совершенно не годятся. Вот какие сапоги надо! – Сикорский протянул ногу, показал некрасивые из толстой кожи сапоги.

– Хорошо, я вам такие куплю, – покорно согласился Леонид.

Карташев поручил купить большой чайник, металлических кружек шесть штук, чаю, сахару.

– Чай, сахар – общие.

– Мне еще нужно для рабочих.

– Это уж лишнее, – заметил сухо Сикорский.

– По-моему, тоже, – авторитетно поддержал Леонид.

– Мне надо на рысях все время работать, чтоб не задерживать вас, – оправдывался Карташев.

– Только, по крайней мере, не делайте на виду, чтоб остальных рабочих не взбаламутить.

В избе стало темно, и зажгли свечи.

Пахомов стал вычерчивать план, а Сикорский подсчитывать нивелировочный корнетик. Пикетажист диктовал Пахомову, а Карташев сверял свой корнетик с наносимой на план линией.

В десять часов Пахомов кончил и решительно сказал:

– Теперь спать!

– Сейчас и я кончаю, Семен Васильевич, – ответил младший Сикорский.

– Жребий, кто где будет спать! – сказал Пахомов.

Попробовали было протестовать, но Пахомов настоял. Карташеву досталось на полу, на свеженакошенной траве, закрытой рядом. Подушка его была в городе, и вместо подушки было взбито побольше травы.

Карташев лег, свечи потушили, и он сразу утонул в аромате своей постели, во мраке вечера, смотревшего в открытые окна. Там на небе не осталось уже ни одной тучки, и, синее, напряженное, усыпанное большими яркими звездами, оно смотрело в маленькие окна избы и звало к себе на волю, чтобы рассказывать какие-то неведомые, душу захватывающие сказки.

«Да, жизнь – сказка, – думал, укладываясь, Карташев, – и только тот, кто верит в эту сказку, – у того и будут силы, и ковер-самолет, и волшебная палочка; и моя жизнь сказка: я уже умирал и опять живу, и опять инженер, и вижу, что это моя дорога, и я на ней уже!» Мысли его как ножом обрезало, как только голова плотно прилегла к изголовью, и он заснул крепко, без снов, ровно до четырех часов утра, когда резкий пронзительный свист над ухом заставил его вскочить.

На скамейке, смеясь, сидел Пахомов со свистком в руках. А на столе уже стоял кипевший самовар, стаканы, масло, свежий хлеб, брынза, сыр, колбаса.

– Скорей, скорей!.. – торопил Пахомов.

Когда кончили чай, подъехал и Леонид Сикорский. Он был растрепанный, маленькие глаза красные и воспаленные.

– Хорош! – бросил пренебрежительно брат.

– Да, хорош, – тебя бы послать! – жалобно огрызнулся старший брат.

Никитка в торопливой выгрузке привезенного старался скрыть себя.

Карташев получил шляпу и сапоги.

– Ваши остальные вещи, – сказал Леонид Карташеву, – я сложил в номере главного инженера. Он сам предложил; чего же вам платить даром за свой номер.

– Отлично! Очень вам благодарен.

– Хотите, сейчас рассчитаемся или после?

Карташев давал Сикорскому сто рублей.

– Конечно, после.

Уходя на работы, Пахомов сказал старшему Сикорскому:

– Обедаем в Киркаештах.

– Слушаюсь, Семен Васильевич, я сейчас же прямо туда и поеду со своим скарбом.

И, наклонившись к уху Карташева, старший Сикорский шепнул:

– Ни одной минуты не спал ночью!

Тимофей хозяйничал энергично: вещи рабочих, чайники, чашки, сахар, чай, кое-какая еда, небольшой багаж Карташева, колья – все это было уложено на подводу, и не было еще пяти часов, когда потянулись из деревни партии с рабочими. Впереди широкими шагами выступал Пахомов рядом с Карташевым.

– Надо в четыре часа на работе стоять, – бросил Пахомов Карташеву, – период изысканий обыкновенно три-четыре летних месяца. Это период летних работ крестьянина, и если он, при своей плохой еде, может выдерживать шестнадцатичасовую работу, то,

конечно, можем и мы.

Это была первая речь Пахомова, обращенная к Карташеву, и Карташев ответил:

– Конечно.

Пройдя с версту за деревню, Пахомов остановился на линии, развернул карту и заговорил громко:

– Эту прямую можно было бы продолжить еще версты три, но я боюсь, что этот загиб реки заставит нас тогда сделать довольно большой входящий угол, а так как всякий входящий удлинит, то чем меньше он будет, тем лучше. Если здесь сделать что-нибудь около десяти градусов, то прямая получится верст в семь, если, конечно, карта верна.

– Вы как находите, карта вообще верна?

– Для двухверстной – да. Есть и одноверстные, но не успели достать. Попробуйте установить и снять угол.

Карташев вспыхнул от удовольствия, покраснел, как рак, ему сразу сделалось жарко. Он, как реликвию, слегка дрожащими руками принял от Пахомова маленький теодолит.

– Поверку сделать? – спросил он.

– Сикорский вчера сделал. Пожалуй, сделайте.

Карташев быстро проделал усвоенное вчера.

Когда инструмент был установлен и сведены лимбы, Пахомов показал ему рукой направление.

– Держите вот на то деревцо, немного правее, чтоб не рубить его.

Карташев повернул трубу. Еремин вешил впереди вешками. Подражая манерам и тону Пахомова, Карташев, с таким же, как у Пахомова, угрюмым и сосредоточенным лицом, бросал: «Право... лево... Между ногами и перед носом...»

Он так вошел в роль, что, как и Пахомов, когда Еремин по трем вешкам пошел уже самостоятельно, полез в карман пиджака за платком. Но он был только в ночной рубаше, подштанниках, а потому из этого движения ничего и не вышло, и Карташев смущенно, но так же угрюмо, буркнул:

– Кол! – и стал писать на нем угол, румбы, радиус.

– Какой радиус, Семен Васильевич?

Пахомов сдвинул брови и угрюмо заговорил:

– Идеал – прямая. Всякий угол, всякий радиус уже зло, и чем больше он будет, чем ближе будет подходить к идеалу прямой – тем лучше. Поэтому если местность позволяет, то чем больше радиус, тем лучше. Возьмите тысячу сажен: всегда надо приблизительно на глаз, в уме, отбить биссектрису, прикинуть длину тангенса, и кривая уже обрисуеться, и вам тогда видно будет, встречаются ли на местности какие-нибудь препятствия.

Когда угол был снят, Пахомов бросил, уходя:

– Справитесь, догоняйте!

Карташев догнал на третьей версте Пахомова.

– Вот вам бинокль, – сказал Пахомов, – и следите за линией.

Иногда Пахомов брал бинокль у Карташева и проверял. Так как вешек было ограниченное количество, то по мере удаления старые вешки снимались и вместо них через одну забивался кол с направлением. За этой работой Пахомов очень внимательно наблюдал.

– Вследствие несоблюдения этого сплошь и рядом в постройке вместо прямой получаются ломаные линии. Так сломали на Фастовской прекрасную пятнадцативерстную прямую. И надо, чтоб эти колья заколачивались так, чтоб их потом выдернуть нельзя было. Надо постоянно самому пробовать.

Как Пахомов сказал, так и вышло: прямая получилась в семь верст.

После нескольких объяснений на карте Карташев под руководством Пахомова сделал новый угол. Было уже одиннадцать часов утра.

– Ну, здесь тоже опять что-нибудь вроде семи верст будет. До вечера не дойдем. Разбейте кривую и ведите сколько успеете дальше линию, а я поеду в город и вечером приеду прямо уже в Киркаешты. Карту себе возьмите. Вам ничего в городе не надо?

– Нет, благодарю вас.

Пахомов сел в парный экипаж, все время ехавший невдалеке, кивнул головой и поехал, а Карташев принялся за разбивку кривой.

Когда экипаж скрылся, Еремин, бросив вешить, возвратился к Карташеву и сказал:

– Как прикажете? Время обедать.

– Я разобью еще эту кривую, а вы, пожалуй, со своими рабочими садитесь обедать, разведите огонь, вскипятите пока воду, пошлите в эту деревню, может быть, можно немного водки купить, не больше как по стакану на человека.

Рабочие с полуоткрытыми ртами слушали насторожившись; Еремин угрюмо-недовольно сказал:

– Слушаю-с.

– Ну, скорее разобьем эту кривую! – крикнул Карташев.

И работа везде весело закипела. Двое ереминских рабочих уже бежали в соседнюю деревню. Копейка обламывал сучья сухого дерева, вытащил чайник и побежал за водой.

В то время как Карташев незаметно входил в роль Пахомова, Тимофей входил в роль Карташева. Одну половину кривой разбивал сам Карташев, а другую Тимофей и, смотря в щелку эккера, грозно кричал:

– Черт полосатый, тебе говорят: вправо. Ладно! Бей!

И новый кол забивался.

Кривую кончили, баран жарился, чайник кипятился, стояла наготове водка. Под одним деревом сидели все и в ожидании еды вели непринужденный разговор.

Тимофей гордился приобретенным влиянием над Карташевым и от поры до времени старался показать это перед рабочими. Карташев выше головы был доволен своей новой ролью и, добродушно щурясь, не мешал Тимофею командовать.

Когда уже все устроилось и предлогов командовать больше никаких не было, Карташев спросил полулежавшего Тимофея:

– Ты сам откуда, Тимофей?

– Я издалека... из-за Волги...

– Места там у вас привольные.

– Было, да сплыло, – сплюнул Тимофей. – Земли – оно много и сейчас, да за чужими руками, а наш брат, мужик, не хуже как в каменном мешке бьется на своем сиротском наделе.

– А земля в чьих руках?

– У господ, у купцов, удельная, казенная... А порядки везде такие, что стало хуже неволи. А особенно у купцов. Они цену тебе назначили пятнадцать рублей за десятину и рубль задатку. Паши, сей, жни, молоти даже, только зерно к нему в амбарт. До покрова отдал деньги – бери зерно, нет – в покров по базарной цене хлеб остался за хозяином. А в покров нет ниже цены, – барки ушли, сразу на полцены хлеб упадет. И выходит так, что весь хлеб отдал, а заверстать его не хватило. Еще пять – три рубля остается в долгу на мужике. Вексель пиши. Вся работа, значит, пропала, семена отдал да еще долгу накрутил себе на шею. В крепостных были, половина работы шла на барина – три дня твоих, три дня моих, праздник ничей, а тут все твои и с праздником, да с семенами, да с долгом еще: отработывай зимой по рублю за месяц... Так сладко, что некуда больше...

– У вас, – степенно заговорил Копейка, – хотя по пятнадцати рублей да мера сотенная, а у нас сороковка по тридцати.

– А ты откуда?

– Из Елисаветградского уезда, села Благодатной.

«Дяди Хорвата?» – подумал Карташев.

– Хорвата?

– Его самого. А за все штраф: всю кровь пьют. А уж этот приказчик у него, Конон...

– Конон Львович?

– Он самый! Такого аспида сам черт у ципки своей выкормил. Да и пустил на свет на

пагубу добрым людям.

Карташев смущенно слушал. Тот самый Конон Львович, который был и у его матери. Он вспомнил тогдашнюю историю, когда с Корневым они поскакали утром в поле.

И остальные рабочие, каждый из своего угла России, говорили о той же неприглядной картине жизни простого народа.

Если бы все это Карташев читал в какой-нибудь прогрессивной газете, он читал бы с предубежденным чувством, что все это подтасовано, сгущено, предвзято.

Таких подозрений здесь не могло быть. Люди эти никаких газет и не читали, и читать не умели, и даже не знали, что где-то кто-то тоже заботится об их интересах.

И ясно было одно, что это действительно сброд обездоленных, несчастных людей, для которых кусок мяса, стакан чаю, ласковое слово – уже праздник жизни.

Конечно, не в его, Карташева, власти изменить неизбежный тяжелый ход жизни, но в его полной власти эти несколько дней, на которые судьба свела его с этими людьми, превратить в возможный праздник для них, сделать все, что от него зависит.

Поели барана, достали опять огурцов, выпили водки. Угостили и Карташева, и он хлебнул. И такой вкусный и сочный был баран, что всего его съели без остатка, а кости побросали увязавшейся собачонке, лохматой, несчастной, но уже ставшей общей любимицей и получившей кличку «Черногуз» за свой черный зад.

Карташев хотел было сейчас после еды начинать, но рабочие попросили час-два заснуть.

Тимофей авторитетно посоветовал Карташеву согласиться.

– Наверстаем, – подмигнул он.

Карташев согласился и с часами в руках сидел под деревом. Потом ему пришло в голову устроить сюрприз рабочим и вскипятить новый чайник. Он наломал новых сучьев, сходил за водой. Чайник успел вскипеть, он сам выпил еще стакан чаю.

Потом разбудил рабочих.

Сюрпризом рабочие были очень тронуты, жадно распили приготовленный чай и начали энергично собираться на работу.

Прошли прямую в шесть верст, Карташев на свой риск сделал еще угол и прошел по новой линии еще три версты.

В Киркаешты возвратились они уже в сумерки. Все и Пахомов были уже налицо. Узнав о положении дел, он только молча кивнул головой.

Дни потянулись за днями в непрерывной напряженной работе.

Карташев все больше входил во вкус этой работы.

Высокий пикетажист заболел такими жестокими приступами лихорадки, что его пришлось отправить назад.

Карташев взял на себя и разбивку кривых, и пикетаж, с обещанием не задерживать Сикорского...

Обещание свое он больше чем выполнил. При прежнем пикетажисте не проходили больше восьми верст в день, Карташев же проходил, в то же время разбивая и кривые, по двенадцати верст в день и мечтал о пятнадцати.

Пахомов, ушедший настолько вперед, что хотел было ночевать с Карташевым отдельно от Сикорского, теперь передумал, так как Карташев, чуть только приходилось Пахомову менять неудачно взятое направление, уже наседавал на него.

Отношения и Пахомова и Сикорского к Карташеву резко изменились. Он был признан вполне равноправным членом их общества, а его работоспособность была настолько вне конкуренции, что в интересах, чтобы рабочие его не разбежались, Пахомов сам просил его охладить немного свое рвение.

Карташев был и поражен и смущен, когда однажды его рабочие в полном составе, с Тимофеем во главе, вечером, после работы, обратились к Пахомову с жалобой на него, Карташева.

– Не можем, никак не можем... Один-два дня вытерпеть на рысях в такую жару, а ведь

вторая неделя кончается. Зайцы мы, что ли? Ну что с того, что он водки да барана дает? Гляди, как мы полегчали: тень осталась от людей. Опять обувь... Дождь не дождь, гонит, как на пожар. Словно без ума... Разве так можно?! Ноги все опухли, точно язва их ест.

На другой день Карташев вошел в дополнительное соглашение с рабочими.

– Ну, давайте сделаем так: урок пусть будет восемь верст, а если двенадцать выйдет, я вам плачу, кроме водки и еды, двойное жалованье.

Рабочие думали.

– Эх тебя нудит, – раздумчиво заметил один рабочий.

– Господа, ведь еще неделя, – и конец всей работе: вы же больше заработаете...

– Заработаешь на больницу.

Порешили наконец на том, чтобы не неволить. Кто согласен – согласен, а не согласны – расчет, и набирай новых.

Большая половина рабочих в тот же вечер рассчитались. Вместо них поступили молодые парни молдаване из местных жителей.

Это были добродушные, но ленивые, почти не понимавшие русской речи, люди.

Еле-еле прошли восемь верст.

А на другой день молдаване-рабочие и совсем отказались идти на работы, апатично заявляя:

– Сербатори, нуй лукрали! – что значит: праздник, нет работы.

И хотя в святцах 23 июня никакого особого праздника не значилось, но молдаване ссылались на церковный звон.

С маленькой деревянной колокольни села, где ночевали инженеры, действительно неслись и разливались в утреннем воздухе ровные мирные звуки церковного колокола.

Сикорский весело рассмеялся и сказал:

– Вот шельма! Это за вчерашнее... Ведь здешний народ первобытный: в полной власти у своих попов. Слава богу, я сам молдаванец и хорошо знаю, что это за цаца.

Вчера вечером приходил к ним местный священник: молодой, высокий, пухлый, с черными, как воронье крыло, волосами и оливковым цветом лица.

Пахомов во все время визита высокомерно и угрюмо молчал, а Сикорский с нескрываемым сарказмом выпытывал у батюшки, сколько он берет за свадьбу, крестины, похороны... Священник хотел щегольнуть и говорил очень высокие цены, а Сикорский, возмущаясь, доказывал ему, что он грабит народ.

Священник в конце концов так разобиделся, что ушел, едва простившись.

– Отвадили, – пустил ему вдогонку Сикорский при общем смехе.

Даже Пахомов смеялся сухим едким смехом, скаля зубы и сверкая глазами.

Теперь, когда звон произвел такое действие, Сикорский не сомневался больше, что это месть.

Он пожал плечами, сказав презрительно:

– Надо идти мириться, – и пошел к церкви.

Звон скоро прекратился, и Сикорский появился вместе со священником, который объяснил рабочим, что это не праздник, а заказная обедня.

Рабочие согласились идти на работу, и все двинулись в путь, напутствуемые добродушными пожеланиями священника.

– Как вы с ним поладили? – спросил Карташев.

– Как? Сунул в зубы пятишницу, обещал позвать на молебен и дать ему две телки.

В тот же день произошла и первая встреча с полицией в лице местного станового. Он подъехал в тарантасе к Карташеву и спросил, не зная, с кем имеет дело:

– Что за люди?

По внешнему виду было действительно трудно угадать в Карташеве не только инженера, но даже и интеллигента.

Его ночная рубаша и подштанники были так же грязны, такого же серого цвета, как и белье рабочих. Дешевая соломенная шляпа поломалась, и поля ее точно изгрыз какой-нибудь

зверь. На ногах вместо сапог, страшно натерших ноги, давно уже были лапти Тимофея.

– Инженеры, – ответил Карташев, – изыскания делаем.

– Где старший?

Сикорский в это время подходил уже со своими рабочими, и Карташев указал на него.

На глазах у всех рабочих Сикорский, поговорив немного, вынул двадцать пять рублей и с обычной grimасой презрения дал их становому.

Становой взял деньги, пожал руку Сикорскому и уехал.

Карташев, совершенно пораженный, пошел к Сикорскому.

– Вы ему взятку дали?

– Как видите.

– Ну, а если бы он вас за это ударил?

– Он?!

Сикорский расхохотался.

– Слушайте, даже стыдно быть таким наивным. Ведь это же полиция!

– Как же вы ему дали?

– Как дал? Сказал, что будем строить дорогу, что полиция будет получать от нас, что ему будем платить по двадцать пять рублей в месяц, а за особые происшествия отдельно, и что так как он уже тут, то пусть и получит за этот месяц. А он спрашивает: «А когда будете брать справочные цены, это как будет считаться – особо?» Пришлось разочаровывать его, что справочные цены только у военных инженеров да в водяном и шоссеинном департаментах.

– Это что еще за справочные цены?

– Только по таким, утвержденным полицией, ценам ведомства эти утверждают расходы. Например, пусть доска стоит в действительности пятьдесят копеек, а если утверждена справочная цена два рубля, то так и будет. Цены эти, кажется, утверждаются два раза в год. Вот к этому времени все эти полицейские и собирают дань. Неужели вам никогда не приходилось иметь дело с полицией?

– Нет.

– Ну, будете...

– А меня он, верно, принял за старшего рабочего?

– Да, знаете, угадать в вас трудно того франтика, который две недели тому назад явился к нам в золотом пенсне, расшитой куртке и шапке с кокардой. Теперь вы жулик, форменный золоторотец.

Карташев, оглядывая себя, довольно улыбался, а Сикорский сказал:

– Ну, идите, идите...

Карташев часто старался дать себе отчет, что захватывало его, точно переродило и неудержимо тянуло к работе.

Конечно, самолюбие, желание доказать, что и он на что-нибудь годится, было на первом плане; удовлетворенное сознание, что он может работать, тянуло его дальше – он хотел достигнуть предела того, что он может, предела своих сил.

Его прежняя практика, езда кочегаром, являлась своего рода масштабом для него.

И, в сравнении с тем масштабом, ему казалось, что теперь он очень мало работает. Ведь, в сущности, все сводится к приятной прогулке по двадцати верст в день.

Могло ли это сравниться с утомительным стоянием без перерыва по тридцать два часа перед горячим паровозом, с перебрасыванием ежедневно трехсот пудов угля из тендера в топку, с работой на тормозе, утомительным лазаньем с тяжелыми резцами в руках под паровоз, с невыносимой борьбой со сном, когда исчезает понятие о дне и ночи, когда вдруг мгновенно сон сковывал его, стоявшего на паровозе, и превращал в окаменевшую статую? А это постоянное напряжение при наблюдении за исправностью паровоза, эта тряска, ослепляющий блеск топки и жар от этой топки, когда спина мерзнет от холодного ночного ветра, часто с дождем? И так постоянно: грязный, мокрый, изможденный до такой степени, что острые куски черного угля под боком и такие же под головой казались самой мягкой,

самой желательной постелью, – только бы прилечь, и мгновенный, крепкий, как сталь, сон охватывал тело. Здесь он ни разу еще не чувствовал того сладостного утомления, когда хотя бы ценой жизни, но берутся несколько мгновений безмятежного отдыха.

Он удивлялся жалобам рабочих на непосильный труд и не верил им.

Но и помимо всякого самолюбия и удовлетворения, сама работа увлекала его.

Карташев объяснял это тем, что, вероятно, наследственная страсть его предков к охоте переродилась в нем тоже в своего рода охоту: линия – это тот же зверь, которого тоже надо уметь выследить по разным приметам, требующим знания, опыта, особого дарования.

Он выследил, например, в одном месте этого зверя. Пахомов, доверяясь карте, повел линию иначе, но Карташев все-таки выгадал время, успел сделать изыскание, и его направление было и более выгодное, и более короткое. И, вопреки карте, при этом не оказалось болота, а, напротив, твердые, засеянные хлебами поля. Вечером Пахомов выслушал Карташева, а на другой день утром, осмотрев его линию, согласился с ним.

Кончив осмотр, он угрюмо протянул ему руку и сказал:

– Поздравляю и предсказываю вам в будущем хорошего изыскателя, потому что основное свойство изыскателя – не верить никаким авторитетам, отцу и матери не верить, не верить картам, своим глазам, черту не верить, ничему не верить, тогда только будет уверенность, что линия выбрана правильно. А в этом все. Та экономия, которую могут дать изыскания, пред экономией самой постройки всегда ничтожна. И хорошие изыскания – это все, это основа всей постройки.

В другой раз Пахомов сказал Карташеву:

– Я не уверен, что я теперь иду правильно. Сделайте вариант мимо той деревни.

Вариант длиною был около пяти верст, и до прихода Сикорского Карташев, сделав этот вариант, успел и его и линию Пахомова пройти пикетажем, разбив и все кривые. В этот день он прошел в общем семнадцать верст и почувствовал, наконец, то блаженное состояние утомления, о котором так мечтал.

Он даже и есть не мог и, нанеся план, сейчас же завалился спать.

Что до рабочих, то, несмотря на награду по три рубля на человека, все, кроме Тимофея и Копейки, взяли расчет, хотя и оставалось работы всего на три, четыре дня.

Единственным слабым местом теперь у Карташева оставалась нивелировка. Чтобы подучиться, решено было, что обратно в город он пойдет поверочной нивелировкой, причем один день проработает с ним Сикорский, а затем он пойдет уже самостоятельно. Так и поступили. Окончив линию и связавшись с следующей партией, Пахомов уехал в город, поручив Карташеву на обратном пути сделать еще несколько мелких вариантов.

Сикорский пробыл с Карташевым только полдня и, выписав ему репера, тоже уехал.

В распоряжении Карташева остался Еремин, семь рабочих, в том числе Тимофей и Копейка, а также и старший Сикорский.

Но старший Сикорский, с отъездом Пахомова и брата, только раз лично привез провизию Карташеву.

Держал он себя при этом важно, читал нотации Карташеву, что у него много выходит и что, вероятно, Тимофей ворует у него и в конце концов, ссылаясь на то, что брат его куда-то теперь командирован и что у него вышли подотчетные деньги, взял у Карташева двести рублей. О раньше взятых ста Сикорский не заикался.

Вместо Сикорского приезжал Никитка и, подражая Сикорскому, тоже изображал из себя недовольного хозяина. Провизию он привозил все худшую и худшую, и наконец Карташев, после совещания с Ереминым и Тимофеем, сказал Никитке, чтобы он больше не возил провизии и не ездил к нему.

– Вы разве нанимали меня? Хозяин вы, что ли, чтоб мне приказывать? – нахально спросил Никитка.

– Хозяин!! – заревел Карташев, и глаза его налились кровью, а руки сжались в кулак.

Никитка не стал испытывать больше его терпенье, вскочил в тарантас и уехал. А Карташев, придя в себя, был смущен охватившим его вдруг бешенством, но при

воспоминании об испуганной физиономии Никитки испытывал удовлетворение и думал: «Будет на следующий раз ухо остро держать, да и остальные видели, что ласков и покладлив я, когда хочу и когда со мной не нахальничают...»

XII

На восьмой день Карташев подходил к городу, сделав в среднем по двенадцать верст. Раз сделал он семнадцать верст, но двадцать две, о чем рассказывал ему Сикорский, он так и не мог сделать. Он утешался, что Сикорский сделал это в степи, беря взгляды по двести сажен в обе стороны, в то время как при здешней местности не выходило и ста. Да при этом вследствие неопытности приходилось часто возвращаться назад вследствие несходности отметки с отметкой репера.

При этом он каждый раз мечтал, что накрыл на этот раз Сикорского. Но проверка опять показывала, что он опять ошибся. Так ни разу и не накрыл он Сикорского. Теперь, подходя к городу, он рад был этому, потому что знал, что этим обрадует Сикорского.

Уже на расстоянии тридцати верст от города он видел толпы рабочих, землекопов, развозимый материал. Топтались поля, кукуруза, виноградники. В одном месте через сад тянулась сквозная просека. На земле валялись срубленные яблони, груши – с массой зеленых плодов на них. Садилось солнце и золотой пылью осыпало деревья, и ослепительные лучи горели между листьями. Где-то мелодично куковала кукушка, и Карташев насчитал семнадцать лет остающейся еще ему жизни. Это было слишком много, и Карташеву с ужасом представилась его сорокадвухлетняя фигура. Уже тридцать лет казались ему какой-то беспросветной и безнадежной старостью.

Безмятежным покоем вечера веяло от садов и дач, Днестра и неба, с его золотистыми переливами, с его голубыми перламутровыми облаками. Точно воды протекли и оставили песчаный свой след. Но песок был яркий, блестящий, с переливами всех цветов. И только там, под солнцем, вплоть до горизонта был однообразный нежно-золотистый тон.

Из какого-то густого сада и домика в нем Карташева окликнул голос младшего Сикорского, и сам он показался на улице.

– Ну, здравствуйте, сошлось?

– Совершенно сошлось! – радостно говорил Карташев, горячо пожимая руку Сикорского. – Несколько раз думал было вас накрыть, но так и не выгорело.

Сикорский весело смеялся.

– Ну, довольно. Здесь уж строят, и тридцать верст отсюда уже была вторая нивелировка. Идем к нам, я вас познакомлю с сестрой и зятем.

Карташев оглянулся на свой костюм. Правда, он уже третий день одевал панталоны, а сегодня надел и куртку, но и куртка и панталоны изображали из себя теперь только грязные лохмотья, да при этом изгрызенная, поломанная шляпа, истоптанные, с перекошенными на сторону высокими каблуками сапоги, которые он надел, так как в лаптях ходить по городу и совсем было неудобно. На мягких полях эти свороченные на сторону каблуки еще не так давали себя чувствовать, но на твердой мостовой он при каждом движении чувствовал и боль и неудобство ходьбы.

– Ну, пустяки, – сказал Сикорский. – Моя сестра привыкла к разным фигурам.

– Ну, тогда стойте, – сказал Карташев и, присев на мостовую, вытянув ногу, сказал рабочему с топором: – Руби каблуки!

Когда каблуки были отрублены, Карташев, правда, чувствовал себя в каких-то широчайших башмаках, но зато не испытывал больше ни боли, ни неудобства.

Затем он рассчитал рабочих, оставив только Тимофея и Копейку, и с Ереминым, подводой и инструментами отправил их в гостиницу.

– Мне, право, совестно, – покончив, обратился Карташев опять к Сикорскому.

– Да, идите, идите!

– Вы понимаете, благодаря этой дыре, – он показал на одну половину своих штанов, – я

могу показываться только боком.

– Ну и отлично.

Они вошли в маленькую калитку и очутились в густом саду, дорожкой прошли к террасе дома и взошли на террасу.

Посреди террасы стоял стол, покрытый белоснежной скатертью. На ней стоял вычищенный, сверкавший медью, кипевший самовар. Посуда, масленка с маслом и льдом, стаканы и чашки – все было безукоризненной чистоты. Так же светло и чисто одет был Сикорский, его зять, начинавший полнеть блондин, его сестра, молодая, похожая на брата, несмотря на надменное выражение, все-таки с симпатичным, привлекательным лицом.

– Ну вот, знакомьтесь, – бросил пренебрежительно Сикорский.

– Петр Матвеевич Петров, – поздоровался блондин. – Прошу любить и жаловать.

– Тебя полюбишь, – сказал Сикорский.

– Молчи, – ответил Петр Матвеевич.

Карташев боком пробрался к сестре Сикорского и пожал так протянутую из-за самовара руку, точно протягивавшая не совсем была уверена, что надо это сделать.

– Ты попроси его повернуться, – предложил ей брат.

Петров уже видел дефект Карташева и раскатисто смеялся, его жена улыбалась и казалась еще симпатичнее.

– Не обращайтесь на них внимания, – заговорила она красивым музыкальным голосом, – и садитесь. Чаю хотите?

Карташев поспешно сел на стул, вдвинул его как можно глубже под стол и, пригнувшись, ответил:

– С большим удовольствием.

– Петя, – обратился Сикорский к зятю, – надо тебе было видеть этого господина месяц тому назад, каким франтиком он выступил отсюда.

Он обратился к Карташеву:

– Идите сюда к зеркалу. Посмотрите на себя. Волосы одни чего стоят, сзади уже в косичку завивать можно: в дьячки хоть сейчас идите...

Но Карташев только головой покачал.

– К зеркалу не могу идти.

Он молча показал на свой разорванный бок, и все опять смеялись.

Карташеву дали чай, любимые его сливки, такие же холодные, как и масло, любимые булочки, и он, теперь всегда голодный, пил и ел с завидным аппетитом.

– Вы знаете, – заметил ему Петр Матвеевич, – как здесь на юге немцы-колонисты нанимают рабочих? Прежде всего садят с собой за стол есть. Ест хорошо – берут, нет – прогоняют. Вас бы взяли. Покажите руки.

Карташев показал.

– И руки хороши: мозоли есть.

– Это, вероятно, еще от кочегарства.

– Вот попались бы вы к этому господину, – показал Карташеву Сикорский на зятя, – этот бы и вас замучил на работе.

– Тебя же не замучил, – ответил Петр Матвеевич.

– Только и спасла вот она, – ткнул Сикорский в сестру. – Вижу, что забьет, я и подсунул ему сестру. Ну, и пропал... Теперь и половины от него уже не осталось. Толстеть стал.

– Ну, ври больше, – ответил Петр Матвеевич и встал, взяв лежавший тут же корнетик.

Жена его тоже поднялась и спросила:

– К ужину придешь?

– Да, приду.

Они с мужем ушли, а Карташев сказал Сикорскому:

– Я не знал, что у вас есть сестра.

– Целых две, – они у дяди жили раньше.

– А Петр Матвеевич тоже инженер?

– У него нет диплома инженера, но уже лет десять начальник дистанции. Я у него и начал свою практику. Очень дельный человек. Точный, как часы. Его дистанция первая от Бендер. Кстати, хотите быть моим помощником: моя третья отсюда дистанция?

– С удовольствием, конечно.

– Мы так и порешили с Пахомовым. Жалованье вам назначено по двести рублей в месяц, подъемные шестьсот, на обзаведенье лошадьми триста. Идите завтра и получайте, да ко всему еще за два месяца уже прослуженных.

– Один месяц.

– Штаты утверждены с мая. А деньги вы отдайте на сохранение сестре.

– Отлично, а то я их в конце концов потеряю.

Карташев вынул портфель, пересчитал, оставил у себя пятьсот, а тысячу рублей вынул и положил на стол.

Когда сестра Сикорского возвратилась на террасу, брат сказал:

– Марися, возьми у него эти деньги и спрячь, чтобы не растерял. Завтра еще тебе столько даст. Да зачем вы столько оставили себе?

– Так, на всякий случай.

– Давайте лучше мне, целее будут, – сказала ласково сестра и добродушно кивнула головой.

– Нет, мне нужно восстановить свой гардероб.

– Ну, что вы здесь, в Бендерах, найдете! А знаете что! Вы можете дня на два, на три пока что съездить в Одессу, к своим. Я вам завтра это устрою.

Карташев очень обрадовался.

– И мне купите кой-что.

– Зине кланяйтесь, – сказала сестра Сикорского.

– Вы ее разве знаете? Теперь она уже монахиня.

И Карташев рассказал, как она уехала в Иерусалим.

Сикорский возмущался, качал головой и говорил со своей обычной гримасой:

– Ой, какая гадость! Фу! Вот до чего доводит людей религия! бросить детей... Ой, ой, ой!..

Сестра Сикорского слушала, вдумывалась и сказала:

– Я тоже не понимаю этого... Бросить детей!.. Я знаю и вас; я была в младшем классе, а она в старшем, и она меня очень любила; я видела и вас, и Корнева, и вас с Маней Корневой.

Она рассмеялась и немного покраснела.

– А что, не дурак поухаживать? – спросил брат.

– Ого! и какой еще! Иди сюда, Ваня.

Сестра вышла в комнаты, а за ней ушел и брат.

Затворив за собой дверь на террасу, сестра заговорила:

– Баня у нас еще горячая. Сведи ты его в баню, ведь от него, несчастного, так и разит; дай ему хотя Петино белье, и костюм, и ботинки. Дай ему частый гребень: пф!.. и жалко и противно...

– Ну, хорошо, ты уходи, приготовь там все, а я с ним поговорю.

В это время в комнату вошла младшая сестра Сикорского.

– Постой, – добродушно махнула ей старшая сестра, – не ходи еще туда: пусть его сначала обмоют, а то он теперь такой, что и чай пить не захочешь.

Сикорский возвратился к Карташеву, поговорил еще с ним и спросил:

– Давно не умывались?

– Откровенно сказать, как расстался с вами.

– Восемь дней?!

– Куда-то задевалось полотенце, да и вообще – проснешься, торопишься на работу...

На изысканиях, собственно, некогда умываться.

– Ну, это только русские способны... Вы возьмите англичан на изысканиях: каждый

день три раза ванну: резиновые походные ванны. Знаете что, сегодня у нас вследствие субботы баня: идите в баню.

Карташев сделал было гримасу.

– Очень длинная история. Начать с того, что у меня с собой никакого чистого белья нет.

– Белье будет... Послушайте, нельзя же, если сказать по-товарищески, такой свиньей ходить. Ведь от вас пахнет, как от свиньи.

Карташев понюхал свое платье и немного обиженно сказал:

– Ну, уж это неправда!

– Чтобы убедиться – вы вымойтесь, переоденьтесь и потом понюхайте свое грязное белье. И волосы вычешите, потому что вши у вас уже и по лицу ползают.

И так как Карташев не верил, он взял его осторожно за руку и подвел к зеркалу.

– Черт знает что! – брезгливо согласился наконец Карташев.

– Ну, ступайте. И так как вы наверно сами вымыться не сумеете, то я пришлю к вам банщика.

– Я терпеть не могу с банщиком мыться.

– И придете назад с грязными ушами. Нет, берите банщика.

Карташеву дали белье, частую гребенку, дали верхнее платье, ботинки, дали банщика и отправили в баню.

Карташев на цыпочках проходил по блестящим, как зеркало, полам, по комнатам, сверкавшим голландской чистотой.

«У них в роду чистоплотность», – подумал он.

И смутился, вспомнив гримасу отвращения на лице сестры Сикорского.

Сейчас же по его уходе сестра Сикорского позвала горничную и вместе с ней занялась обмыванием той части пола и стула, на котором сидел Карташев. Затем она внимательно осмотрела скатерть, стряхнув все крошки, покачала головой и сказала:

– Порядочная свинья: как грязно ест, всю скатерть измазал.

Когда Карташев вернулся из бани, одетый в летний костюм Петрова, только сестры Сикорского были на террасе.

Старшая сестра, Марья Андреевна, встретила его уже, как старого знакомого.

– Ну вот... и вам, наверное же, самому приятнее...

– Мне все равно, – ответил весело Карташев, – хотя теперь я себя чувствую отлично.

– Ну, вот с моей сестрой познакомьтесь.

Младшая сестра Сикорского была похожа на какую-то маленькую миньютюру, легкую и воздушную. Микроскопическая ручка, прекрасные неподвижные черные глаза, поразительная белизна кожи, несмотря на лето, на общий загар, хорошенький полуоткрытый рот и ряд мелких белых зубов – все вместе производило впечатление видения, которое вот-вот поднимется на воздух и исчезнет.

Голос ее был еще мелодичнее, еще тише и нежнее, чем у сестры.

В тихом вечере в саду нежно и звонко пела какая-то птичка, и Карташеву слышалось что-то родственное в этом пении и голосе младшей сестры Сикорского.

В ее лице не было надменности старшей. Напротив: в глазах светилась поразительная доброта, ласка, интерес.

Карташев сразу почувствовал себя хорошо в обществе двух сестер.

Солнце зашло, но еще горел светом сад и сильнее был аромат поливавшихся садовником роз, клумбы которых окружали террасу.

– Вы знаете, на изысканиях, – говорил Карташев, – я научился любить природу. Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом языке. Этот язык надо изучить. Я его изучил, и теперь чтение этой книги доставляет мне такое непередаваемое наслаждение. Все остальное на свете ничего не стоит в сравнении с ней.

– Потому что все-таки это она, – сказала старшая сестра, и все рассмеялись.

– Хотите посмотреть, – тихо и смущенно предложила младшая сестра, – вид с нашего

обрыва в саду?

– Ну, идите, а я буду готовить к ужину.

По извилистым дорожкам сада Елизавета Андреевна и Карташев прошли к обрыву над Днестром, где стояла вся обросшая диким виноградом беседка.

Карташев сел рядом с ней и казался сам себе таким маленьким и неустойчивым, что все боялся, что вот он ее толкнет, и она, вздрогнув, растает, сольется с тем живым и прекрасным, что было перед глазами: сверкающая лента Днестра, неподвижная полоса зеленых камышей, прозрачное небо непередаваемых тонов. И все: небо и река, камыши и воздух замерли в своей неподвижности, и только где-то песня, протяжная и нежная, нарушала неземную тишину этой округи.

Песня смолкла, Карташев спросил:

– Кажется, очень хорошо спето?

– Хорошо... Это на соседней даче один больной чахоточный студент поет.

– Какая это песня?

В ответ Елизавета Андреевна вполголоса запела песню – так мелодично, так музыкально, что Карташев боялся пошевелиться, чтобы не нарушить очарованья.

Когда она кончила, Карташев сказал:

– Ах, как хорошо вы поете; наверно, вы и играете отлично, – это сразу чувствуется. И знаете, пенье бывает – помимо того, хорошее ли оно или нет, – умное или глупое. У вас умное, очень выразительное. Ничего лучше нет на свете пенья, музыки...

– Природы... – лукаво подсказала Елизавета Андреевна.

– А разве это не проявление все той же природы? Все один и тот же общий, гармоничный аккорд одного и того же оркестра, где природа, музыка, красота – под общей дирижерской палочкой.

– А кто дирижер?

– Кто? Молодость.

– А когда молодость пройдет?

– Впрочем, нет, не молодость. Чувство красоты, любви к музыке, к природе остаются вечно в человеке. Напротив, молодость мешает созерцательному настроению. Она отвлекает, она, как буря на море, постоянно волнует поверхность, закрывает даль тучами и не дает возможности отдаваться полностью наслаждению сознания, что живешь и чувствуешь. Я буду очень счастлив, когда эта молодость со всей ее ненасытностью оставит меня.

Елизавета Андреевна улыбалась, и теперь Карташев сравнивал ее с той единственной звездочкой, которая появилась на горизонте и робко, нежно и нерешительно искрилась там.

Он вспомнил вдруг Аделаиду Борисовну и горячо сказал:

– И вы знаете, в молодости человек при всем желании не может быть честным.

– Напротив, я думаю, только в молодости, пока земное не коснулось еще, и может быть и честен и идеален человек. Никто же сразу не берет взятки...

– Я не об этом, это уж полная гадость, о которой и говорить не стоит. Нет, а вот возьмите так: вы кого-нибудь любите – хотите его любить всю жизнь, и вдруг чувствуете, что вам и другой уже начинает нравиться...

– Значит, не очень любите.

– Не знаю, на своем веку я очень любил, а никогда застрахован не был.

– Может быть, еще полюбите и застрахуетесь. Не большой еще ведь век ваш.

– Больше вашего, во всяком случае.

– Тот большой век, кому меньше жить осталось, – ответила грустно, загадочно смотря вдаль, Елизавета Андреевна.

– А кто это знает? – спросил Карташев.

– Знаю, – кивнула головой Елизавета Андреевна и, встав, сказала: – Сыро, пойдем домой.

Становилось действительно сыро. Свет оставался только еще там, над рекой, какой-то призрачный, словно из открытого окна другого мира, и вместе с этим светом вставал

призрачный туман и поднимался все выше и выше.

Под нависшими деревьями сада было уже совсем темно, и казалось, и сад расплывался и уходил в эту темную туманную даль. Только около самого дома светлые пятна из окон падали на клумбы, и ярче вырисовывались в них розовые кусты центифолий.

На террасе уже стоял накрытый стол, такой же белоснежный и яркий. Карташеву опять хотелось есть.

Елизавета Андреевна прошла к тут же стоявшему роялю и стала наигрывать сначала одной рукой, а затем и двумя.

Вошла старшая сестра и сказала:

– Лиза, надень накидку.

– Мне не холодно.

– Опять будет лихорадка. Играй, я принесу тебе.

Сестра пришла и накинула ей на плечи черную кружевную накидку. Накидка эта очень шла к Елизавете Андреевне, и Карташев смотрел на нее и ломал голову, где в Эрмитаже, между старинными картинами, видел он такой бюст, такую античную головку герцогини или маркизы, а может быть, и королевы.

– Что вы, как жук, приколотый булавкой, сидите? – спросила его старшая сестра.

Младшая тоже посмотрела на Карташева и, бросив играть, рассмеялась нежным серебристым смехом.

Карташев тоже рассмеялся.

– Знаете, ваша сестра какая-то маленькая волшебница...

– Ну, вы, однако, поосторожнее, потому что, если это услышит ее жених...

Карташев почувствовал что-то неприятное, как резнувшая вдруг ухо фальшивая нота, но быстро ответил:

– Жених только счастлив может быть, что у него такая невеста, и не во власти всех женихов мира отнять у вашей сестры ее свойство...

– Не слушай его, Лиза, потому что мне Ваня говорил, что он и сам уже заинтересован одной барышней.

– Если это так, то тем сильнее я только чувствую все прекрасное.

Старшая сестра только головой покачала.

– Ну, ну, хорошо язык ваш подвешен, и беда тем, кто на тот колокольный звон ваш попадетя.

Пришли Петров, оба брата Сикорских и сели ужинать.

– Ну, надо водки выпить, – сказал Петров и налил себе объемистую рюмку. – Вам наливать? – обратился он к Карташеву.

– Я не знаю, – ответил Карташев.

– Попробуйте, – сказал Петров и налил Карташеву такую же рюмку.

Но в то же время Марья Андреевна протянула руку, взяла рюмку Карташева и, подойдя к краю террасы, выплеснула ее.

– Нечего развращать людей, – сказала она.

– Ого, значит, и вас уже посадили на цепочку, но все-таки зачем же добро выливать? не он – другой кто-нибудь выпил.

Подали ароматные на поджаренном луке бризольки, свежепросоленные огурцы; Карташев съел и два раза накладывал себе еще.

– Валяйте, валяйте, – говорил ему Петров, – этим лучше, чем чем-нибудь другим, вы заслужите ее милость. Смотрите, смотрите, какими любовными глазами она смотрит на вас.

– Я очень люблю, чтобы у меня ели хорошо, – ответила ласково Марья Андреевна и еще ласковее спросила Карташева: – Не хотите ли еще?

– Кажется, довольно, – неудачно проглатывая последний кусок с третьей тарелки, ответил Карташев, смотря на Марию Андреевну.

– Маленький, – кивнула она ему головой, слегка подняв при этом по привычке правое плечо.

И так как Карташев нерешительно молчал, то она сама положила ему еще один увесистый кусок и щедро полила его прозрачным сверху, с темным осадком внизу соусом.

Карташев съел и этот кусок, и оставшийся соус, обмакивая в него, как бывало в детстве, хлеб.

– Ну, кажется, я сыт теперь, – сказал он.

– Подождите: еще вареники со сметаной и маслом, а потом молодая пшенка, – говорила Марья Андреевна.

– Ой-ой-ой!

– Ну, а потом уж пустяки самые останутся: молочная каша, пироги с вишнями в сметане, мороженое, черешни, кофе, чай...

Каждое блюдо Карташев должен был есть, и на вопрос: «Разве вы его не любите?» – отвечал:

– Самое мое любимое, – и когда все смеялись, он говорил: – Ей-богу, любимое!

– Не удивительно, потому что вы сами же южанин, – поддерживала его Марья Андреевна.

– И южанин, и так вкусно все, что я в конце концов лопну.

– Ну, – сказал ему Петр Матвеевич, – теперь она и спать вас оставит у себя.

– В доме негде, а вот, если не боитесь в беседке над обрывом, – предложила Марья Андреевна.

– Я с наслаждением, – ответил Карташев.

– Он на все согласен, – рассмеялась, махнув рукой, Марья Андреевна.

Общее настроение за столом портил только старший Сикорский. Он сидел мрачный и молчаливый.

Старшая сестра нехотя спросила его:

– Ты это что сегодня, Леня?

– Так, ничего, – угрюмо ответил старший Сикорский.

Марья Андреевна помолчала и спросила мужа:

– Что с ним?

Муж кивнул на младшего Сикорского и сказал:

– Спрашивай его.

Младший стал серьезным, сделал презрительную гримасу и сказал:

– Обиделся, что главным инженером его не назначили.

– Да, главным! – горячо и обиженно заговорил старший Сикорский. – Бьешься, как рыба об лед, стараешься, других, в десять раз меньше работавших, помощниками поназначали, а меня каким-то паршивым техником на затычку, да еще в контору.

– Я, что ли, назначаю?

– Мог бы отлично взять меня к себе в помощники, чем чужих брать.

Младший Сикорский только презрительно фыркнул.

Старший повернулся к Карташеву:

– Я ничего против вас не имею и признаю даже ваши заслуги, но согласитесь, что же это за брат...

– Совестно даже слушать, – ледяным голосом бросил младший брат.

– Тебе все совестно, когда надо чем-нибудь помочь брату.

Карташева, который знал, как неспособный старший со всеми своими извращенными наклонностями ехал на младшем – корбило. Он ценил младшего, который ни одним словом не подчеркнул несправедливости и нахальности своего брата. Впрочем, старший Сикорский, излив свой гнев, сказал строго сестре: «Дай мне еще пирога», – успокоился и за чаем уже рассказывал так смешно про свои похождения в главной конторе по части добывания себе лучшего места, что все, и он сам, хохотали до слез.

После ужина он предложил младшей сестре выучиться новому танцу – вальсу в два па, – сыграл этот вальс на пианино, заставил старшую сестру подобрать его, начал танцевать с сестрой. Выучив сестру, он начал учить Карташева, а потом заставил танцевать этот вальс

Карташева и сестру.

Карташев танцевал с удовольствием, обнимая стройный стан Елизаветы Андреевны, держа в своей руке ее маленькую ручку.

И даже, когда кончили танцевать, несколько мгновений она не отнимала, а он все продолжал держать ее руку, стоя у барьера террасы. Луна взошла, и неясные тени движущимися образами серебрили уходивший к оврагу сад.

– Правда, что-то волшебное в этом? – спросил ее Карташев.

В ответ она отняла свою руку, а он сказал:

– Вот теперь волшебство пропало...

И оба рассмеялись.

– Ничего и удивительного нет, – начал было разъяснять Карташев, – раз волшебница...

– Знаю, знаю, – ответила Елизавета Андреевна, – спокойной ночи.

– Вам уж там в беседке готово, – сказала, прощаясь, Марья Андреевна.

– Смотрите, русалки заберутся к вам с Днестра, – сказал, крепко сжимая руку, Петр Матвеевич.

На скамейке беседки лежал тюфяк, покрытый двумя белыми простынями, и две подушки.

Когда Карташев разделся, лег и потушил свечу, в дверях беседки показалась чья-то фигура.

– Кто тут? – окликнул Карташев.

– Это я, Леонид.

Старший Сикорский присел возле Карташева на скамью и начал молча вздыхать.

Карташев помолчал и спросил:

– В чем дело?

– В том дело, что сегодня я пулю себе в лоб пушу. Вы понимаете, какое положение: до сих пор я вел расходы по конторе. Теперь назначен Рыбалов. Черт его знает, как я просчитал около пятисот рублей. Прямо физической возможности нет все записать. Я рассчитывал, что меня назначат помощником, дадут двести рублей, а дали всего сто двадцать пять рублей, и теперь у меня двухсот рублей не хватает.

– Так возьмите у меня.

– Неужели вы можете? Мне так совестно, я уже должен вам триста... Я отлично помню, как видите, свои долги.

Карташев полез под изголовье, зажег свечку и отсчитал двести рублей.

– Пожалуйста, только брату не говорите.

– Там кто еще?

– Никитка.

Проснувшись утром, Карташев полез в портфель, чтобы дать на чай горничной, но в портфеле ни мелких, ни крупных денег не было.

С выпученными глазами Карташев некоторое время смотрел перед собой.

Он вспомнил, как вчера сверкнули глаза Сикорского, когда он прятал под подушку портфель, и подумал: неужели? И на мгновенье тенью старшего брата покрылась и вся его семья, и гадливое чувство охватило Карташева. Но он сейчас же и прогнал эту мысль, вспомнив, как Марья Андреевна уговаривала его отдать ей на сохранение все деньги.

– Хорошо, что хоть тысячу отдал.

Потом он вспомнил, что и Никитка вчера тут же был, и решил, что украл деньги Никитка.

В конце концов он подумал, вздохнув:

«Э, черт с ними! Пропали так пропали... Могли бы еще убить. И как-никак я все-таки перебил дорогу этому старшему Сикорскому, и без меня он, очень может быть, был бы тоже помощником начальника дистанции».

И к Карташеву опять возвратилось то приятное и веселое настроение, в котором он уже месяц жил. Какая-то безоблачная радостная жизнь, и за все время не было ни разу этого

обычного, владевшего им всегда чувства какого-то страха, что вот-вот вдруг случится что-то страшное, неотразимое и непоправимое.

Было просто весело, легко и радостно на душе, как радостно это утро, река в лучах солнца, куковавшая где-то кукушка, этот сад, манивший своей прохладой, ароматом роз и спелой малиной.

Хорошо бы перелететь теперь туда на Днестр, выкупаться и возвратиться назад.

Он еще раз заглянул в маленькое зеркальце, стоявшее на столе беседки, подумал, что надо прежде всего сегодня остричься, и пошел вверх по дорожке к террасе.

Около розовых клумб он еще издали увидел легкое розовое платье и угадал Елизавету Андреевну.

Она повернулась, и лицо ее сверкнуло ему такой яркой и доброжелательной лаской, что пошлый комплимент, вертевшийся уже в голове Карташева относительно роз и ее розового платья, – так и не сошел с его языка.

– Хорошо спали?

– Отлично, – ответил он, горячо пожимая ей руку.

Она кивнула ему головой и своим нежным голосом сказала:

– Идите пить кофе, я только цветов нарву.

За столом была только Марья Андреевна. После обычных вопросов, как спал, хорошо ли себя чувствует, Карташев принялся за кофе, густые с пенкой сливки и свежие булочки с маслом.

– Знаете, Марья Андреевна, – говорил он, – в вашей Лизочке...

– Смотрите, пожалуйста!

– Не считайте меня нахалом. Я говорю в смысле глубочайшего уважения и благоговения к ней. Как к богу, когда говорят ему ты. В ней такая непередаваемая прелесть. Это птичка, это самый нежный цветочек, это волшебница, фея. Я помню, в детстве, наслушавшись сказок, так благоговел перед феей, доброй волшебницей, и радостный ждал, что вот-вот она появится. И если б тогда вошла ваша Лизочка, я бы, вероятно, сразу заболел нервной горячкой. Отчего она такая неземная у вас?

Марья Андреевна опустила глаза и тихо ответила:

– У нее чахотка. Она проживет очень недолго.

Карташев долго молчал, пораженный.

– Господи! Как это ужасно! Все светлое, все радостное является только для того, чтобы еще мучительнее подчеркивать что-то такое страшное и неотразимое, что сразу руки опускаются и спрашиваешь себя: зачем все это, к чему жить? В этом, конечно, и утешение, что и сам не долго переживешь тех, кто прекрасен, кто дорог, близок, но зато так скучно делается от этого сознания, что готов хоть сейчас в могилу.

– Ну, эти погребальные разговоры теперь бросьте, потому что идет Лизочка.

Елизавета Андреевна взошла по ступенькам, держа в руках нарезанные цветы. Она подошла к Карташеву и, откинув голову, показала ему розы, гвоздики, левкой.

Карташев восторженно смотрел на Елизавету Андреевну, тоже со стыдливым выражением смотревшую на него.

– Ах, если бы я был художником, я бы так и написал вас с цветами. Я написал бы вас в ста видах и составил бы себе этим одним и громадное имя, и состояние.

– А все-таки и состояние? – не пропустила Марья Андреевна.

– Да, конечно, и состояние. Я не денег хочу, но я хочу могущества, хочу сознавать, что я все могу, а без денег этого не будет.

– Э, стыдно, бросьте. Когда человек только начинает думать о деньгах, он уже пропал.

– С этим я согласен, и никогда я об них и не думаю, но как-то так уверен, что в один прекрасный день у меня вдруг появятся миллионы, и столько миллионов, сколько я захочу.

– Для чего?

– Не знаю. Во всяком случае, не для себя. Этот месяц я жил жизнью дикаря и счастливее никогда себя не чувствовал.

– И покамест так будете жить и будете счастливы.

Карташев кончил, и Марья Андреевна сказала ему:

– Брат вас просил приехать в управление. Вы знаете, где оно?

– Нет.

– Всякий извозчик знает. Я пошлю сейчас за извозчиком.

Марья Андреевна ушла, а Елизавета Андреевна принялась внимательно составлять букет.

– Вы венок себе сплетите, – предложил Карташев.

– Когда я умру, вы мне сплетите!

– Когда вы умрете, тогда все мы сразу, весь свет умрет, и некому будет плести венки.

Она тихо засмеялась и еще внимательнее принялась за букет.

– Когда у вас денег будет много, – голос ее глухо звучал из-за цветов, – тогда устройте дворец. И в этом дворце пусть рассказывают блестящие сказки, не похожие на жизнь. Или только сказки жизни, той, которая будет когда-нибудь не там, на небе, а здесь, на земле. Для этих сказок есть уже храмы...

Она остановилась и смотрела, спрашивая, немного испуганно, своими прекрасными глазами на Карташева.

– Всякого другого, кто бы это сказал, я бы иначе слушал. Но чувствую, что вы сказали мне самую свою сокровенную мечту. И, конечно, – вы можете верить или не верить мне, – но если у меня когда-нибудь будут действительно миллионы, я выстрою такой дворец. А над входом этого дворца будет жемчугом выбито «Богине любви», и под этой надписью будете вы с цветами в платье. У меня сестра была, Наташа...

– Я ее знала...

– Она на вас похожа, но... без ваших горизонтов. Она запуталась в религии, как и Зина. Мать их запутала. Но она из такого же теста. Я и ее портрет помещу у входа в замок. Только будут женские портреты, и именно таких женщин.

– Поместите и Корде... которая убила Марата...

И в лице ее вдруг появилось странное сочетание нежной прелести глаз с чем-то хищным, сверкнувшим в улыбке белоснежных мелких и острых зубов.

– Ну, извозчик готов, – сказала, входя, Марья Андреевна.

Управление занимало большой двухэтажный, плохо устроенный, плохо отремонтированный, какой-то полицейский дом. Штукатурка на стенах обвалилась, на потолках растрескалась и грозила упасть на головы, полы рассохлись, и половицы так и ходили под ногами.

В громадной зале, где прежде, вероятно, веселились и танцевали, теперь стояли ряды столов с чертежами и торчавшими над ними головами чертежников.

Как в муравейнике, кипела работа в обоих этажах.

Толстый главный инженер, тот, который принял Карташева на службу, не видимый ни для кого, заседал в одной из нижних комнат.

Пахомов был его помощник и начальник технического отделения.

Помощником его был инженер Борисов, полный, большой, с большими, умными и добродушными и лукавыми глазами. Он был красив, с густыми русыми волосами, лет тридцати.

Младший Сикорский, представляя ему Карташева, захотел было сказать несколько лестных слов о своем помощнике. Борисов, со своей пренебрежительной манерой, немного заикаясь при начале каждой фразы, махнул рукой и сказал:

– Знаем, все знаем уже и просим вас больше не беспокоиться по этому предмету.

– Кстати, – обратился он к Карташеву, – тут на вас ссылается машинист Григорьев, говорит, что вы ездили у него кочегаром. Дельный он господин?

– О, очень дельный.

И Карташев одушевленно стал характеризовать Григорьева.

– По тракции у нас пока никого еще нет...

Борисов позвонил и сказал вошедшему курьеру:

– Позовите машиниста Григорьева.

– Григорьев! – крикнул в коридор курьер и пропустил его в комнату.

Вошел приземистый, с большим красным носом, с загорелым лицом, пожилой человек в пиджаке. Входя, он усердно вытирал цветным темным платком лившийся по его лицу пот. Ему было, очевидно, невыносимо жарко в его пиджаке из толстого кастора, таких же штанах и жилетке.

Увидев Карташева, он и радостно и нерешительно кивнул ему головой.

– Здравствуйте, – весело поздоровался с ним Карташев, горячо пожимая его руку. – Как поживаете?

– Да вот, нос все лупится, – угрюмо ответил Григорьев.

– Ну вот, – обратился к машинисту Борисов, – инженер...

Он показал на Карташева.

– Ого... – довольно перебил его Григорьев.

– ...дал о вас блестящую аттестацию...

– Я же говорил вам, – перебил его опять Григорьев.

– ...и мы принимаем вас на службу.

– Ну, вот и слава богу. А то так, – обратился он к Карташеву, – нашего брата гоняли: ты, говорят, только испытанный кочегар, в школе не был – не ученый.

– Жалованье сто рублей, а поверстных и премии то же, что и на Одесской дороге.

Григорьев, все вытирая пот, кивнул головой.

– Завтра приходите сюда получить подъемные и инструкцию.

Григорьев опять кивнул головой, тяжело подошел к Карташеву, – протянул ему руку и, подмигнув добродушно, сказал:

– Инженер?

– Как ваша дочка поживает?

– Тут, тоже с нами: куда ж ее денешь? И Лермонтов с нами. Помните, тот, что вы мне подарили. И старый есть. Что не хватало – я списал с нового и вставил. Старый читаю по будням, а новый по воскресеньям. Дочка так и знает уж, так и готовит мне. Заходите, если не побрезгаете.

– А где вы живете?

– Да покамест тут в одном заезжем дворе устроились. Нет, уж лучше я сперва квартиру найду: увидимся еще, а покамест прощайте.

– Дочке вашей Анне Васильевне кланяйтесь.

– Ишь, помните все-таки... – кивнул головой Григорьев, скрываясь в дверях.

Прощаясь с Карташевым, Борисов ласково и серьезно сказал ему:

– Часа в четыре сегодня не придете чайку напиться?

– С удовольствием, – ответил Карташев и записал его адрес.

– Ба, ба, ба! – встретил Карташева угрюмо-приветливо Пахомов, со своим обычным широким размахом руки. – Кого я вижу. Кончили?

– Кончил, Семен Васильевич.

– Наврал? – показал Пахомов на младшего Сикорского.

– Нет.

– Ну, и отлично. Вы знаете уже, конечно, что вы у него помощником.

– Знаю, от души благодарю и употреблю все усилия...

– Не сомневаюсь.

– Я сейчас с ним поговорю о вашей поездке в Одессу, – шепнул Сикорский Карташеву, – а вы пока идите в кассу и получайте свои деньги.

Карташев получил всего тысячу триста рублей и, в ожидании Сикорского, подсчитывал свои капиталы. Итого у него теперь – две тысячи триста рублей, то есть на триста рублей больше того, что он привез с собой месяц назад. А могло бы быть три тысячи триста рублей. Из этой тысячи двести рублей ушло на рабочих, триста с мелочью украдено из портфеля

сегодня ночью, около пятисот взял Сикорский. Ну, двести на рабочих не жаль, а восемьсот могло бы быть в кармане. Сколько подарков он мог бы закупить на эти деньги матери, сестре, брату!

Он стал думать о том, что подарить, когда пришел Сикорский.

– Вас зовет главный инженер. Вас отпускают и дают вам письмо к инженеру Савинскому, главному поверенному Полякова, который теперь в Одессе.

– Ну, здравствуйте, – встретил его главный инженер в своем кабинете, сидя в широком кресле за большим столом.

Главный инженер был все такой же толстый. Очевидно, изнывая от жары, он сидел в одной рубашке из чесунчи, уже довольно грязной или казавшейся такой, потому что рубашка была покрыта обильными пятнами пота.

– Присаживайтесь!

Карташев пожал через стол широкую пухлую руку Данилова и смотрел в прищурившееся, ласковое лицо инженера.

– Ну, что же, наладились? Не так черт страшен, как его малюют? И все дело наше легче ремесла сапожника, была бы только охота. Вот это письмо передайте, пожалуйста, Николаю Тимофеевичу. Он живет в Лондонской гостинице, знаете, на бульваре? Кланяйтесь ему, расскажите, что знаете, и ответ привезите.

Когда Карташев уже откланялся, Данилов сказал ему:

– Кстати, ведь ваши вещи у меня. Вы где здесь остановились?

– Пока еще нигде.

– Остановливайтесь у меня. Вещи ваши так и лежат в отдельной комнате, там и живите.

Карташев начал было говорить, что стеснит его, но Данилов перебил:

– Если бы стеснили, то и не звал бы вас. Я один в пяти комнатах. И обедайте у меня.

Карташев поблагодарил и вышел.

Вместе с Сикорским они возвратились на дачу обедать. Когда Карташев рассказал за столом о своем свидании с главным инженером, Петр Матвеевич воскликнул:

– О-го! В гору идет человек; надо выпить...

– Это очень важно, что вы теперь познакомитесь с Савинским; это гога и магога всего поляковского дела. Я четвертый год у Полякова работаю, а Савинского и в глаза не видал.

– Он наш инженер?

– Ваш, но умный. Умнее всех остальных ваших инженеров, за исключением Данилова, всех вместе взятых. Если понравится ему...

Сикорский покачал головой.

– Понравится, – махнула рукой Марья Андреевна и рассмеялась.

– Ну, нет, это не дамы, – сказал старший Сикорский.

Старший Сикорский как будто чувствовал себя не совсем в обычной тарелке.

– Не дамы? – огрызнулся Петр Матвеевич. – А Данилов, у которого он жить теперь будет? А Пахомов? А Борисов, который на чай уже позвал его? Борисов порядочная колючка... Пахомовым вертит. – Петр Матвеевич махнул рукой и весело сказал: – Понравится и Савинскому, уж видно, что пролаза. Ну, за нашего пролаза...

Обед прошел весело. Карташев разошелся и рассказывал про себя всякие свои похождения.

Иногда, чувствуя, что надо усилить эффект, он прибавлял что-нибудь, особенно в комическую сторону.

Благодарная аудитория не оставалась в долгу, все весело смеялись, а веселее всех, до слез, по-детски, смеялась Елизавета Андреевна.

В три часа Карташев начал прощаться.

– Куда же вы так рано? – спросила Марья Андреевна.

– Я хочу сперва заехать на квартиру Данилова, немного одеться, уложить и приготовить вещи, а оттуда поеду к Борисову.

– А оттуда к нам?

– Конечно!

– Вы успеете еще поужинать с нами. Поезд идет только в двенадцать часов ночи.

Пять комнат Данилова – тоже в каком-то необитаемом доме – были почти пусты.

В комнате Карташева стояла кровать, неокрашенный деревянный столик, такая же табуретка с простым умывальником, и на полу лежал его чемодан, покрытый толстым слоем пыли.

Карташев раскрыл чемодан, стал искать свой черный сюртук и не нашел его там.

Данилов, уже выспавшийся, в одной рубашке без подштанников, босой, заглянул к Карташеву в комнату.

– Вы что ищете?

– Да вот не знаю, куда девал свой сюртук...

– Семен! – крикнул Данилов.

В коридоре показался заспанный угрюмый человек.

– Сюртук инженера не видал?

Семен, отгоняя мух, сонно махнул головой с шапкой густых волос, подумал немного и безучастно ответил:

– Не видал.

Данилов ушел к себе, а Карташев, убедившись, что сюртука нет, начал запирать чемодан.

– Это не ваш сюртук? – спросил Карташева Данилов, появившись в дверях и держа что-то очень грязное и замазанное в руках.

Карташев сперва отказался было, но, всмотревшись внимательно, сказал:

– Нет, мой!

– Под кроватью у меня был, – сказал, уходя, Данилов.

В дверях появился Семен и все тем же безучастным голосом сказал:

– Давайте почищу.

– Так вот что, пожалуйста, Семен. Вы его почистите и уложите в чемодан и закройте его. Я сегодня еду в Одессу и перед поездом в половине двенадцатого зайду. Постойте еще...

– Карташев слазил в карман, достал трехрублевую и передал ее Семену.

Затем, взяв шляпу, стараясь быть незамеченным, юркнул в коридор, а оттуда на улицу, где ждал его извозчик. С извозчиком он уже подружился, и теперь извозчик, молодой веселый парень из великорусов, фамильярно спросил его, взбираясь на высокие козлы своего фаязтончика:

– Ну что, потрафил в аккурат?

– В аккурат.

– Скоро вы!

Железный, точно весь из бубенчиков, экипаж загрохотал по мостовой, и, разговаривая, и извозчик и Карташев должны были кричать чуть не во все горло.

У Борисова обстановка была иная.

Белый одноэтажный домик опрятно выглядывал из маленького скромного садика. Только по ограде росли в нем деревья, а остальное пространство было занято огородными грядками клубники.

И внутри домика в маленьких комнатах было сравнительно чисто.

Сам хозяин сидел с книгой за столом на большой террасе, выходящей в сад. На столе уже кипел самовар. Хозяин был тоже только в рубашке. При входе Карташева он положил на стол книгу и, здороваясь, спросил:

– Прикажете одеться?

На просьбу оставаться так он сказал:

– Ну, тогда и вы снимайте ваш пиджак. Постойте, постойте...

Борисов внимательно всмотрелся в пятно пиджака и сказал добродушно, заикаясь:

– А ведь я сейчас городского позову: пиджак-то этот Петрова.

Карташев рассмеялся и подтвердил, что пиджак действительно Петрова.

– Ну, повинную голову и меч не сечет. Снимайте и садитесь. Чаю хотите?

И, наливая Карташеву чаю, он говорил:

– Вот, как видите, так и живем. Захочется огурца, клубники, пойдешь в сад...

Перед Борисовым лежала открытая книга. Карташев заглянул в нее и увидел, что это не беллетристика, да к тому же и написано было по-немецки. Подняв взгляд на Карташева, хозяин сказал шутливо:

– У меня, надо вам знать, пунктик своего рода – философия. Теперь вот преодолеваю Гегеля.

Хозяин махнул рукой.

– И сам по себе он невыносимый господин со своей тарабарщиной, а в такую жару просто нестерпимо. Спасибо, что пришли и выручили.

Карташев вспомнил лекцию Редкина и сказал:

– Да, повозился и я с ними. Тез, антитез, синтез, бытие, становление, небытие, диалектический метод...

– Э! Да вы откуда знаете всю эту премудрость?

– В свое время зубрил их всех от Фалеса до Тренделенбурга.

– Батюшки, караул, такого и не слыхал.

Он усмехнулся и заговорил:

– Это чтение своего рода отвлечение. Самое интересное было бы проникнуть в сущность современной жизни, но... – он широко развел руками. – О чем позволяет говорить цензура, то никому, конечно, не интересно. Экивоки и эзоповский язык литературы дает мало, совсем не дает понятия, что творится там, в тайниках нашей жизни. Тайники эти такой заколдованный круг, что мне при всем желании так никогда и не удалось соприкоснуться с ними. За границей ни разу не был... А мозги требуют пищи. Мозги ли одни? Вот так, волей-неволей, и отвлекаешь себя такой отвлеченностью. Как считаешь часа два, ну и не захочется на тот день ломать себе больше голову, как быть, как жить, чтобы уважать и себя и людей. А вы соприкасались с нашим революционным миром?

– Почти нет.

Борисов усмехнулся.

– Положим, не так-то просто и открыться первому встречному...

Пришли еще два инженера. Оба молодые. Один худой, в темных очках, маленький и угрюмый, Адам Людвигович Лепуховский. Другой, полный и жизнерадостный, Владимир Николаевич Панов.

– Это вот две мои свинки, – говорил хозяин, – одна грустная, другая веселая. Называется этот веселый господин Володенькой, знаете, про которого в песне поется:

Инженер молоденький, а зовут Володенькой.

Он не курит и не пьет...

Жизнерадостный инженер хлопнул хозяина по спине и сказал:

– Ну, будет тебе...

– Вы знаете, мы все – и еще есть два – называемся бандуристами. Вы знаете, что такое бандуристы? Непокойный народ, которому нигде не сиделось, точно шило у них было, скандальники первоклассные, которых в конце концов всегда выставляли из компаний. Несмотря на нашу молодость, и нас уже с нескольких дорог выставили. Выставят и отсюда. И мы уже начали выводить свою пинию, решив на первый случай осадить всю правительственную инспекцию. Мало того что они помимо своего казенного жалования получают и от нас, они вздумали изображать из себя настоящее начальство. Вот мы и решили их осаживать. Во-первых, ни одного проекта им на утверждение не посылаем; во-вторых, наотрез отказались носить форму – и вы тоже, очевидно, не ее поклонник; в-третьих, демонстративно им визитов не делаем... Вы уже были у них? – спросил он у Карташева.

– Во-первых, я еще первый раз о них слышу, а во-вторых, раз решили вы, чтобы не делать визитов – и я, конечно, не буду делать.

– Как будто тоже наш, бандурист! – обратился Борисов к товарищам.

Лепуховский, в своих темных очках похожий на скелет, бледно улыбался, оскалив большие зубы, а потом сказал:

– А коли наш, так пива давай!

Принесли пива, и Панов выпил первый стакан залпом.

Остальные отказались от пива.

– Вы и Сикорского предупредите, чтобы не смел с визитами ездить. Он что за человек в этом отношении?

– Он человек осведомленный, – авторитетно ответил Карташев, – и, конечно, относится отрицательно ко всей нашей русской жизни.

– Что до Петрова, – продолжал хозяин, – то уж бог с ним; он и семейный человек, и позиция его здесь на первой дистанции, где всякий может совать свой нос, опасная...

– Я к вам с большой просьбой, Борис Платонович, – сказал Карташев. – Еду я в Одессу и должен передать письмо Савинскому. И Данилов просил, чтобы я ему рассказал, что у нас делается. Но я, собственно, ничего не знаю, что у нас делается.

– Извольте, это мы вам расскажем.

Борисов обстоятельно сообщил Карташеву о положении дел.

– Ну, не забывайте, – сказал, прощаясь с Карташевым, Борисов, – из Одессы привезите гостинцев.

– А вы что любите?

– Семитаки и альвачик.

– Привезу.

– Да не стоит, я шучу.

От Борисова Карташев заехал остричься, потом купил себе новую шляпу и поехал к Петровым. Он ехал и думал, что как странно, что все принимают его за красного. И это не только не вредит, а, напротив, вызывает к нему интерес и даже уважение. Борисов даже думает, что он ближе к революционным кружкам, чем хочет показаться. А собственно, и то, что он, Карташев, сказал там, ложь: ведь решительно же никакого отношения к революционным кружкам не имел и тем паче не имеет.

Карташеву стало неприятно, и он подумал:

«Ну, все-таки с Ивановым встречался... А Маня! – радостно вспомнил он о своей сестре. – Маня говорила, что она и до сих пор поддерживала прежние отношения. Ах, как жаль, что я про нее не вспомнил у Борисова. Ну, ничего, когда приеду – брошу вскользь, это еще сильнее будет, и надо будет с Маней поближе сойтись...»

На террасе Карташев застал младшего Сикорского и двух сестер.

– Ну, рассказывайте, – сказала ему Марья Андреевна. – Малины со сливками хотите?

Карташев стал есть малину и рассказывать.

Рассмешил своим визитом к Данилову и передал свое чаепитие у Борисова.

– Они меня спрашивали, кто вы и что вы, – обратился он к Сикорскому, – и высказали предположение, что раз вы были за границей, то глаза у вас должны быть открытые. Я сказал, что, по-моему, это так и что вы относитесь ко всей нашей жизни отрицательно.

Сикорский безнадежно махнул рукой.

– Видите, я одинаково отрицательно отношусь и к вашему правительству, и к вам, красным, и ко всему русскому народу, потому что вековое рабство так сгноило его, что я уже не верю, чтоб этот народ мог когда-нибудь встать на ноги.

– Этот народ? – переспросил Карташев. – Ваш народ?..

– Нет. Мой народ, моя родина там, где мне хорошо. Для меня нет ни француза, ни немца, ни англичанина, ни тем менее русского, румына, турка, китайца.

– Почему же вы живете в России?

– Потому что здесь легче всего заработать столько денег, чтобы потом жить, где

хочешь и как хочешь.

– И всегда опять воротишься сюда же, – сказала Марья Андреевна. – Родные, знакомые, привычки, вкусы.

– Ерунда! – презрительно махнул рукой Сикорский.

– Вы знаете, – сказал Карташев, – они, между прочим, просят всех не делать визитов инспекции.

– Ну, конечно, не буду. Эту сволочь за людей нельзя признавать. Я понимаю еще какого-нибудь станowego, попа, берущего взятки. Но свой брат инженер, цинично, открыто берущий и требующий еще уваженья к себе... Тьфу! Наглость, выше которой ничего не может быть! Как-то на днях сюда к нам забрался этот пьяница старший инспектор – я удрал.

– А Пете что оставалось делать? – подняла плечо Марья Андреевна. – Когда он чуть не силой влетел к нам?

– И о Петре Матвеевиче говорили, и все признали его безвыходное положение как начальника первой дистанции.

– Вы понимаете, всё под носом здесь; выехал на пикник, а рапортует, что на линии был, за работами следил. Петя говорит, что на мосту от них отбоя нет. Извозчик к мосту всего двугривенный стоит, а он разъездов, которые наша же контора оплачивает, выведет себе на сто рублей. – Ну! прямо совестно смотреть на это бесстыжее отродье. Пьян, ничего не знает, ничего не понимает, несет такую чушь, что уши вянут.

– А попробуй с ним не поладить!

– Самое лучшее, конечно, избегать их, как чумы.

– Деньги получили? – спросила Марья Андреевна.

– Получил.

– Ну, давайте их сюда.

– Нет, Марья Андреевна, эти деньги я решил истратить.

– Куда?

– На подарки матери, сестре, брату.

– Слушайте, так хоть сделайте толковые подарки. Знаете, что б я вам посоветовала: деньгами им дайте, а то ведь купите всякой ненужной дряни, как вот он, – она показала на брата, – а того, что нужно, и не купите.

– Ну, матери, например, как же деньгами?

XIII

Карташев приехал в Одессу утром. Его никто не ждал, и тем более обрадовались.

Нашли его помолодевшим, поздоровевшим и таким жизнерадостным, каким уже давно не видали.

Пошли за дядей Митей, который в это время был в городе, и, слушая Карташева, и мать и дядя постоянно крестились.

– Ну, слава тебе, господи, слава тебе!

Когда мать услышала, что он уже помощником начальника дистанции, получает уже по двести рублей в месяц, она встала, прошла в спальню и долго там молилась, стоя на коленях перед образом.

Возвратившись, она горячо поцеловала сына в лоб и сказала:

– От всей души тебя поздравляю и не сомневаюсь, что мой сын будет и умный, и дельный, и будет украшением своей корпорации. Теперь сделай своей матери подарок: подари мне двести рублей.

– Я хотел вам больше подарить! – рассмеялся Карташев.

– Больше не надо. Дай свой портфель – я сама возьму.

Она взяла из портфеля, возвратила портфель сыну, а двести рублей держала в руках.

– Когда ты был безнадежно болен, я пообещала из первого твоего жалованья послать эти двести рублей на Афон, и сегодня они будут посланы.

Маня дергала носом и, протянув руку к матери, лукаво сказала:

– Лучше дайте мне...

– Нет, нет, – решительно сказала мать.

– Конечно, не отдавайте, сестра, – поддержал ее и дядя, – и я и от себя еще дам.

Он тоже вынул двести рублей.

– Тогда я закажу также на Афон, на эти двести рублей, образ с тремя святителями: Пантелеем, Дмитрием и Артемием, и этот образ, – обратилась она к брату, – мы подарим не ему, а жене его. Согласен?

– Так ведь он кухарку же собирался взять себе в жены! – рассмеялся дядя и, обняв племянника и целуя его, сказал: – Сердце мое, как люблю я тебя.

А мать сказала:

– Это уж его право выбирать себе жену; кого возьмет, та и будет моей дочерью.

– Да, жалко, жалко, что Деля теперь не видит тебя, – сказала Маня, – она, кстати, тебе кланяется.

– Спасибо, – сказал Карташев и посмотрел на часы. – Мне надо ехать в город.

Он рассказал, что привез письмо главному уполномоченному Полякова, инженеру Савинскому, и что хочет его сейчас же отвезти, заехав предварительно в магазин купить себе летний костюм.

Дядя Митя сделал большие глаза, почтительно наклонил голову и сказал:

– Помяните мое слово: блестящую карьеру сделает.

Дядя Митя пользовался в родне репутацией очень умного человека и сердцеведа.

Матери были очень приятны слова брата.

Карташеву тоже была приятна эта похвала. Он усмехнулся и сказал:

– Говорят, что я тоже похож на Бертензона.

Доктор Бертензон, еврей, был старинный домашний доктор Карташевых, и в памяти его остались как-то шутливо сказанные слова отца, что мать его увлеклась Бертензоном.

– Глупости говоришь, – сказала мать, и Карташеву показалось, что она смутилась.

А дядя весело прибавил:

– Если твоя мама, смотря в свое время на него, высмотрела и его пронырливый ум для тебя, так и слава богу, и благодари ее за то...

– Ну, господа, вы оба глупости заговорили.

– Да так же, сестра, всегда бывает – от большого ума всегда на малый сходят.

– Хочешь, вместе едем, Маня?.. – предложил Карташев.

– Едем, – весело согласилась сестра.

– Отлично, поезжай, – сказала мать, – и поторгуйся за него.

– Ну, как живешь? – спросил сестру Карташев, сидя с ней на извозчике.

– Живем, – ответила сестра и насторожилась.

Наступило молчание, и сестра спросила:

– Ты что это вдруг заинтересовался моей жизнью?

– Я, во-первых, всегда интересовался, но раньше я тебе совершенно не сочувствовал, а теперь сочувствую.

– Гром и молния! Что ж это значит?

– Да я сам еще не знаю. Видишь, я все время, с гимназии еще, уперся лбом, что все это только мальчишество, плод, так сказать, незрелой мысли. Ну, а в этот месяц я встретил такую массу людей, которых очень уважаю и которых упрекнуть в незрелости мысли никак нельзя. С рабочими изо дня в день целый месяц прожил их жизнью, их мыслями. Все это как-то отвело меня от стены, и может быть, и я сам отстал и уже сам являю из себя плод незрелой мысли. Я и хотел с тобой поговорить. Если у тебя есть что почитать, я с удовольствием прочту.

– Приятно слышать, во всяком случае, – сказала, помолчав, сестра. – Две брюшюры есть, я дам их тебе.

– Можешь ты мне в кратких словах передать сущность вашего ученья?

– Могу, конечно... Земля принадлежит крестьянам, народу. Народ, темная масса, этого не сознает и отдает себя в кабалу. Пробудить самосознание в этой темной массе, сделать ее хозяином в государстве, где она составляет девяносто процентов населения, – вот основная задача партии. Правительство, конечно, против этого и ведет с нами борьбу. Эта борьба все больше и больше обостряется, и на этой почве страсти с обеих сторон разыгрываются. Все больше и больше приходим мы к заключению, что, при полной нашей бесправности, мы не можем вести мирную оппозицию. Пока что-нибудь успеешь уяснить неграмотному крестьянству, тебя уже схватят и сошлют на каторгу. Ну, тогда уж сам собою ставится вопрос: на каторгу так на каторгу – было бы за что! Репрессия идет очень быстрыми шагами вперед; может быть, и казни начнутся, тогда опять – раз казнь – было бы за что! И каракозовская попытка может повториться в более широких размерах. Я лично не сочувствую всему этому ужасу, да, собственно, и все наши – тоже, но роковым образом само собою это идет все дальше и дальше, и хотя страшно уродливо, но логически вытекает одно из другого. Некоторые из наших считают уже теперь бесполезной работой хождение в народ и высказываются только за политическую борьбу, за борьбу с правительством и самодержавием путем, конечно, единственным, который имеется в распоряжении партий, – путем террора, убийства тех, кто особенно стесняет жить, действовать, проводить свои взгляды.

– Такая борьба, ты думаешь, приведет к успеху?

– Что к успеху приведет – в этом нет никакого сомнения. Ты же знаешь мировую историю, и не из другого же теста и мы, русские, сделаны; но когда будет успех, конечно, нельзя сказать. Россия так громадна, так разнообразна и в ядре своем так некультурна, что сказать что-нибудь определенное вряд ли можно. Лично я так смотрю: и я, и ты, и все мы – грибы своего времени. Этим временем и определяется свойство грибов, и в этом отношении и я и ты, мы – стихийные силы, которые должны руководствоваться прежде всего инстинктом. Этот инстинкт толкает и создает в конце концов общечеловеческую историю.

– Ты, значит, считаешь, что партия только в начале своей деятельности?

– Конечно.

– Но, ты говоришь, уже раскол есть?

– Что ж из этого? Раскол – это работа мысли, и его бояться нечего.

– У вас сношения с границей есть?

– Есть. Если слишком сильны будут репрессии, то центр тяжести может опять, как при Герцене, перенестись за границу.

– А Герцен уже потерял значение?

– Да, на социальной почве он слаб. Его заело в значительной степени славянофильство, уверенность, что мы, русские, из другого теста созданы. Он носится со своей общиной, как ячейкой будущей социальной формы, забывая, что у нас эта община такой же пережиток, каким в свое время она была и на Западе. Наша община прежде всего фискальная, служащая интересам только правительства, и в той форме, как она существует, по-моему, источник только всякого мрака. В этом вопросе я, впрочем, расхожусь почти со всеми. По-моему, единственный Глеб Успенский не вводит себя в обман относительно общины. И видишь, раз дело перейдет на политическую борьбу, тогда само собой все эти вопросы отойдут на задний план.

– Ну, а деньги у вас есть для борьбы?

– Насчет денег – трудно!

– Я хотел тебе сделать подарок, но не знаю, деньгами или подарком.

– Деньгами, конечно! – весело рассмеялась Маня.

– Я тебе дам пятьсот рублей.

– Ты с ума сошел! Больше пятидесяти не возьму.

Карташев стал убеждать, и Маня скоро согласилась.

– Давай! – сказала она. – Все равно так же пропадут, отдашь первому встречному или украдут...

Карташев вспомнил Леонида и рассмеялся.

– Ты знаешь, с твоим кружком очень жаждет познакомиться один инженер, Борисов. Очень дельный и умный человек. И чистая душа, это сразу чувствуется. Он и деньгами, наверно, поможет. Я как-нибудь его привезу.

– А он не выдаст нас?

– Ну, что ты, бог с тобой! Он хочет работать, и я уверен, что он мог бы быть большой силой.

– Ну что ж, вези!

– Вот, если бы ты за него замуж вышла – то-то парочка была бы!

– Ну, ну... Если не хочешь, чтоб он сразу мне опротивел, о замужестве не говори.

Подъехали к магазину готового платья с большим зеркальным окном.

Карташев нашел для себя легкий чесунчиковый костюм, похожий на костюм Сикорского, и был очень доволен.

– Ты знаешь, – сказала ему Маня, выходя с ним из магазина, – у тебя даже манера говорить и голос переменялся, – нет, ты мне теперь положительно нравишься!

Карташев чувствовал себя Сикорским, а еще больше Пахомовым, делая такие же резкие, размашистые движения, то сдвигая, то раздвигая брови, бросая отрывочные фразы.

– Ты только не засиживайся, – сказала ему сестра, когда они подъехали к Лондонской гостинице.

Инженер Савинский сейчас же принял Карташева.

Он был одет в оригинальный, скромный, изящный летний белый костюм, красиво обрисовывавший его нарядную фигуру.

Карташев представлял его себе уже пожилым инженером, что-то вроде Данилова, и увидел очень живого красивого bruneta. Лицо Савинского было небольшое, но глаза большие, веселые и ласковые и в то же время проницательные и умные.

Особенно оригинальны были его седые волосы, которые еще ярче подчеркивали молодость лица.

– Пожалуйста, садитесь, – радушно встретил Карташева Савинский, откладывая в сторону поданное ему письмо. – Вы давно из Бендер?

– Сегодня приехал.

– Это очень любезно с вашей стороны сейчас же и завезти мне письмо. Вы здесь один или у родных?

– У своих.

– Тем больше ценю. Новости, которые вы привезли, очень меня интересуют, но я не хотел бы быть эгоистом. Здесь еще есть один инженер, который тоже принимает участие в нашей дороге. Мы сегодня с ним завтракаем в час. Если и вы были бы так любезны позавтракать с нами здесь в общей зале.

– С большим удовольствием, – сказал Карташев, вставая и откланиваясь.

– Уже! – удивилась Маня.

– Отложил разговор до завтрака, сегодня в час здесь.

– О-го! как сказал бы дядя Митя.

Когда дома Карташев сказал, что будет завтракать с Савинским, Сережа крикнул:

– Пойду непременно на бульвар и загляну в окна ресторана, чтоб хотя издали увидеть твое начальство, как оно выглядит!

Ровно в час Карташев вошел в общую залу ресторана и среди разбросанных за маленькими столиками групп увидел у окна инженера Савинского и другого, молодого, высокого, с длинной тонкой шеей, с английским прибором. Когда Савинский знакомил их, Карташев сказал:

– Я вас сразу узнал, – вы Лостер? Вы кончили гимназию когда я поступил в нее.

– Вы эту гимназию и кончили?

– Да, эту.

– Довольно редкий случай. И сколько вас так поступивших в первый класс дошли до

конца?

– Я один, – ответил Карташев. – И помню, как крепко меня побил мой товарищ в первом классе, когда я ему сказал: «Вот, когда я буду в седьмом классе...»

Смеясь, все трое сели за столик, на котором в безукоризненной чистоте были поставлены – водка, еще какая-то бутылка, креветки, редиска со льдом и – тоже со льдом – свежая икра.

– Прикажете джину, водки?

Лостер совсем отказался, а Савинский, наливая себе в маленькую рюмочку немного джину, сказал:

– Ну, а я, старый пьяница, выпью, по слабости своей к англичанам, джину.

– Пока нам подадут, может быть, расскажете нам, что у вас теперь делается?

Карташев со слов Борисова передал о положении дел, и оба инженера очень внимательно его слушали.

– А вы сами когда возвратились с линии? – спросил Савинский Карташева.

– Я возвратился третьего дня.

– И уже так хорошо вошли в курс дела?

Карташев покраснел и увидел в это время в окне смешно вытянутое, заглядывающее лицо брата, который, очевидно, не ожидал, что наблюдаемый им оказался так близко сидящим к окну. Увидел Карташев и море, сверкавшее синевой и прохладой, и еще веселее стало ему на душе.

– Нескромный вопрос, – сказал Савинский, смотря на Карташева, – вообще благосклонно дамы к вам относятся?

Карташев смутился и только махнул рукой, а Савинский, смеясь, сказал Лостеру:

– Что, Николай Павлович, совсем ведь еще юноша?

Он ласково смотрел в глаза Карташева и, пододвигая к нему чашу с ботвиньей, говорил:

– Пожалуйста!

– Вино белое или красное? – спросил Савинский.

– Белое, конечно, – сказал авторитетно Лостер.

– Белое, – сказал и Карташев.

– Дайте нам... дайте нам... ну, гут-дор.

– Вы знаете, – обратился он к Карташеву, – разницу в винах? Если вы хотите быть веселее – пейте рейнское. Если хотите крепко спать – бордо. Если хотите ухаживать за женщинами – пейте бургонское. Англичане предпочитают это вино, и так как я имею слабость к англичанам...

Савинский выставлял себя пьяницей, но пил очень мало, еще меньше пил Лостер.

Прощаясь, Савинский сказал Карташеву:

– Очень вам благодарен за все сообщенное. Я ответное письмо сегодня же напишу и пришлю к вам. Вы дома будете?

– Да, я прямо домой еду.

Савинский записал адрес Карташева.

– Это ваша сестра сегодня утром была с вами?

«Черт побери, – подумал Карташев, – он в окно, значит, увидел».

– Да, сестра.

– Сходство есть.

У выхода Карташев столкнулся с братом.

– Ну, едем скорее, – устало проговорил Сережа. – Тебе там хорошо было прохладиться, а у меня, братец мой, только слюнки текли, и теперь брюхо так подвело...

Сережа хотел было сесть на извозчика, но Карташев, сделав знак извозчику, сказал:

– Пройдем немного пешком.

– Это еще зачем?

– Я тебе потом объясню.

Пройдя и сев на извозчика, он рассказал, как Савинский в окно увидел сегодня Маню.

– Ну, так в чем же дело? – обиделся Сережа. – Тебе совестно, что ли, что я твой брат и ты со мной едешь?

– О, чучело! – рассмеялся Карташев. – За твой голод я хочу тебя вознаградить. Я куплю тебе свежей икры, балыка...

– Валяй!

– Куплю персиков, всяких фруктов...

– Валяй, валяй!

– И подарю тебе сто рублей.

– А вот это и совсем умно, – развеселился окончательно Сережа. – Это очень умно, пожалуйста, почаще приезжай.

В фруктовых лавках Сережа говорил брату:

– Смотри, смотри, свежие фисташки в кожуре, а вот уже и виноград константинопольский, и свежие орехи.

Накупили всего. Увидел Сережа на улице продающийся альвачик и обратил и на него внимание брата.

– Мне и его надо, – сказал старший Карташев.

– А теперь, знаешь, – предложил Сережа, – чтобы закончить, заедем и выпьем квасу на углу Успенской и Александровской. Ты, наверно, давно его не пил?

– С гимназических времен.

– Любил его?..

– Очень.

Старший Карташев, отпив, сидя на зеленой скамье под навесом у входа в погреб, где разливали квас, сказал:

– Прежде он был вкуснее.

– Погоди еще годков десяток, – ответил Сережа, – и еще вкуснее станет тот прежний.

Отличный квас.

И Сережа жадно тянул розовую ароматную холодную влагу, смешанную с пеной.

Домой приехали братья нагруженные выше головы.

У подъезда Сережа таинственно заметил брату:

– Если ты не забудешь своего щедрого подарка, то сделай это так, чтоб твоя правая рука не знала, что творит левая...

Старший Карташев достал сторублевую бумажку и в левой руке, сам отвернувшись, протянул ее брату.

– Правильно, – ответил брат, пряча бумажку в то время, как девушка отворяла дверь.

Все уже пообедали и теперь усадили обедать Сережу, а старший брат с Маней пошли наверх с визитом.

Генерал и Евгения Борисовна радушно приняли Карташева и горячо поздравляли его.

К четырем часам они спустились вниз на террасу к общему чаю, к которому приехал и дядя Митя послушать о результате визита племянника к Савинскому.

У Сережи с Аней шли обычные пререкания.

Он говорил брату:

– Ты совершенно напрасно подарил ей сто рублей. Ведь так и будут лежать, пока не сгниют.

– А что ж, лучше так, как ты, выбросить за окошко? – отвечала бойко, тараща на брата глаза, Аня.

– Умница, Аня! – говорила мать.

– Так я, по крайней мере, живу, – говорил Сережа и потянулся за громадным персиком, – а ты что? Прозябаешь. Стираешь воротнички свои – жизнь прачки.

Аня обиделась и, поджав губы, сказала:

– По крайней мере, у мужа моего будет всегда чистая рубаха.

Это вызвало громкий смех, и среди смеха Аглаида Васильевна твердила:

– Умница моя, умница...

В это время вдруг приехал, никем не ожидаемый, Савинский. Это внимание с его стороны было очень оценено и Аглаидой Васильевной, и братом ее, а Сережу это так поразило, что, пока знакомились с Савинским старшие, он, прикрыв рот, торопился справиться с непомерно большим персиком, который от неожиданности сразу засунул себе в рот.

Дядя Митя, торопливо застегивая свой пиджак, почтительно раскланялся с Савинским. Савинский был в форме с погонами действительного статского советника, Владимиром на шее и шпагой.

Как светский, умный и образованный человек, он быстро уловил общий тон и не только не стеснил общество, но еще прибавил оживления.

Усаживаясь и принимая стакан чаю, он весело говорил:

– Я из передней услышал такой подмывающий, беззаветный смех, какой в России редко слышишь. И сразу оставили меня всякие мысли, заботы, и мне захотелось самому смеяться, и я рассмеялся. Вероятно, ваша горничная приняла меня за ненормального, судя, по крайней мере, по ее лицу.

Виновница смеха, Аня, залилась ярким румянцем, когда остановился на ней взгляд Савинского, а так как и все посмотрели на Аню, то опять последовал взрыв смеха, а Аня, вскочив, убежала.

Когда Савинскому объяснили, в чем дело, он сказал:

– Это так прелестно, что я, заклятый враг до сих пор женитьбы, переменял бы свое решение, если б не был уже стариком.

Маня ответила ему:

– Своими седыми волосами, во-первых, не кокетничайте, а во-вторых, позвольте притянуть вас к ответу: что в таком случае вы понимаете под женой?

Дядя Митя, все время настороженный, недовольно смотрел на Маню.

– Под хорошей женой, подходящей женой? Под хорошей женой, как и под всяким подходящим товарищем, я понимаю человека, могущего по возможности обходиться без посторонней помощи, годного на все, – от самой черной работы до высшей.

– Что значит высшей?

– Вплоть до участия в революции, – ответил, улыбаясь, Савинский.

– Берегитесь, – сказала Маня, – здесь председатель военного суда.

– Я уже имел честь познакомиться с его превосходительством и не сомневаюсь, что как вы, так и я не продолжим знакомство с ним до скамьи подсудимых.

Маня рассмеялась.

– Ну, если вы так уверены в себе, как во мне, то не поздравляю вас, потому что мое знакомство с Евграфом Пантелеймоновичем и началось с этой скамьи.

На этот раз не только дядя, но и Аглаида Васильевна почувствовала себя неловко. Смутился и Карташев.

Но Савинский весело и непринужденно ответил:

– Тем лучше и для вас, и для меня. Для вас – что все так благополучно окончилось, а для меня – что так же благополучно окончится. У меня к тому же есть преимущество, которого у вас нет. А именно. При всем моем уважении к господам русским революционерам я все-таки не могу не заявить, что если вся русская жизнь отстала от европейской лет на полтора, то и жизнь интеллигентной России отстала также лет на сорок, пятьдесят. То слово, которое нашими революционерами признается последним словом, на Западе уже очень отжитое слово. Все эти Фурье, на которых воспитался Чернышевский, все это народничество, все это учение, стремящееся к земному раю, утверждает, что достаточно пожелать, и рай земной сойдет на землю. У нас все еще удостаиваются внимания давно подорванные авторитеты. Продолжаются утопические попытки перепрыгнуть, так сказать, через эту пропасть социальных противоречий, в то время как уже начался естественный переход через эту пропасть, я говорю о таком мировом

факте, каково появление первого социалистического депутата в германском парламенте – Бебеля, действующего по законам, выработанным Марксом, это не учитывается совершенно нашей молодежью. Если бы наша молодежь считала обязательным для себя европейское образование, она не теряла бы своих сил даром там, где это, как уже выяснил мировой опыт, только бесплодная потеря сил. Я очень извиняюсь перед обществом, но раз я был уже привлечен Марьей Николаевной на скамью подсудимых, может быть, признают за мной, обвиняемым, право сказать несколько слов, если не к оправданию, то к уменьшению своей вины.

И при общем смехе Савинский слегка поклонился в сторону Евграфа Пантелеймоновича.

– К полному даже оправданию, – ответил Евграф Пантелеймонович, – потому что из слов вашего превосходительства очевидно, что раз Бебель депутат, то этим самым и ученье его признано законным. А при таких условиях и военному суду нечего было бы делать, и я бы теперь, вместо того чтобы идти в скучное заседание, продолжал бы сидеть в таком в высшей степени интересном обществе. Очень, очень жалею, что надо уходить.

Евграф Пантелеймонович встал, попрощался со всеми и ушел, а за ним пошла и Евгения Борисовна, сказав:

– Я только провожу мужа!

Савинский еще долго просидел, рассказывая о своих инженерных скитаниях.

– Вы знаете, с Европейской Россией мне пришлось так ознакомиться, что чуть ли не во всех ее бесчисленных углах перебивал, имея перед глазами весь разрез нашей жизни, от крестьянской избы и последнего рабочего до самых высоких палат.

Коснулся Савинский и войны, заметив иронически, что расчеты правительства на нее, как на отвлечение, после понесенных неудач, разлетятся в прах и вместо отвлечения получится совершенно обратное.

– Я уверен, что мы гораздо ближе к конституции, чем думают наши правители.

Маня, очевидно, произвела на Савинского впечатление. Он постоянно обращался к ней и даже предложил быть посредником с заграницей по части получения всяких книг, журналов и газет, объяснив, что он получал все это без цензурных помарок.

Между прочим, он сказал:

– Я сразу догадался, что вы сестра Артемия Николаевича, увидав вас сегодня утром на извозчике.

Маня покраснела, улыбнулась и ответила:

– И, увидав меня, вы были так любезны, что не задержали брата ни минуты. Вот как невольно можно явиться помехой в деле.

– Помехи никакой.

Прощаясь, Савинский передал Карташеву письмо к Данилову, заметив вскользь:

– Ничего спешного в нем нет.

Аглаида Васильевна, прощаясь с Савинским, приглашала его бывать и благодарила за сына.

– Помилуйте, мы должны благодарить Артемия Николаевича, что он попался к нам. Я жалею, что не захватил письмо Данилова, вы увидели бы из него, как он относится к вашему сыну. Называет его даже орленком. Кто знает, что такое даниловские орлы, только тот оценит, что это значит.

Когда Савинский уехал, все были в восторге, все были очарованы им.

– Ай, какой умница! – говорила горячо Аглаида Васильевна. – И как образован. Теперь я только понимаю, что такое инженеры. Если во французской революции такую видную роль сыграли юристы, то в нашей, я уверена, сыграют инженеры. И такой отзывчивый, простой, все понимающий. Вот это мой идеал русского образованного человека. И как была я права, когда настояла на том, чтобы не пускать тебя в Пажеский корпус.

– Вы, сестра, вспомните мое слово – Савинский будет министром. И раз уже твое такое счастье, – обратился дядя к племяннику, – то держись за него, мое сердце, и руками и

ногами...

– И зубами, – перебил Сережа. – Вот так!

И Сережа скорчил уродливую физиономию, оскалив и плотно сжав зубы.

– А чтоб ты и знал, что так! – сказал дядя. – А потом и сам будешь министром.

– Ой-ой, – замахал руками Сережа, – такая высокая компания не по плечу больше мне, и я бегу...

– И я иду, – сказала, вставая, Маня.

Была суббота, монастырский колокол мирно и однозвучно звонил к вечерне.

Аглаиде Васильевне очень хотелось заманить сына в церковь, но, боясь отказа, она незаметно, поманив Евгению Борисовну в комнаты, сказала ей:

– Дорогая моя, мне хочется повести Тёму в церковь. Попросите его быть вашим кавалером – тогда он пойдет.

Евгения Борисовна, лукаво улыбаясь, подошла к Карташеву и сказала со своей обычной манерой, и ласковой и повелительной:

– Будьте моим кавалером в церковь.

Карташев поклонился и предупредительно ответил:

– С большим удовольствием.

– Ну, так я только пойду оденусь и посмотрю, что делает Аля.

– Может быть, и ты с нами? – обратилась к брату Аглаида Васильевна.

– А что ж? С удовольствием пойду.

Немного вперед шла Аня в своей круглой соломенной шляпке, короткой накидке и коротком платье, тут же сзади Аглаида Васильевна с братом, а значительно отстав, шли Карташев с Евгенией Борисовной.

Сначала шли молча, потом она сказала:

– Получила от Дели письмо, кланяется вам.

В голосе Евгении Борисовны почувствовалась Карташеву особая нотка.

– Очень, очень ей благодарен. Пожалуйста, кланяйтесь от меня ей. Я никогда не забуду того короткого времени, которое провел в ее обществе. Как она теперь поживает?

– Пишет, что скучно. На днях она уезжала к сестре в имение в Самарскую губернию – там у нас у всех имения, а на зиму опять возвратится к отцу. Весной же мы с ней и мужем думаем поехать за границу. Пасху она проведет с нами здесь, и после пасхи вместе уедем.

Евгения Борисовна помолчала и сказала с своей обычной авторитетностью:

– Деля очень хороший человек и даст большое счастье тому, кого полюбит.

– О, я в этом не сомневаюсь, – горячо ответил Карташев. И печально закончил: – И я даже представить не могу человека, который стоил бы ее.

– Кто оценит, кто полюбит ее, – тот и будет стоить.

– Ну, этого мало еще; тогда слишком много бы нашлось охотников.

Карташев опять проходил монастырский дворик, и сердце его радостно сжалось от охватившего воспоминанья о том, как шли они здесь с Аделаидой Борисовной.

Вспоминалась и Маня Корнева, ее сверкавшая сквозь кисею белизна кожи, сильный запах акаций, васильков и увядавшей травы. Так прозрачно, так нежно было над ними небо, а там сверху черные вершины деревьев тихо и неподвижно слушали пение женских голосов, выливавшееся из открытых окон церкви. Пела и та стройная красавица монашка, которая подавала самовар в келье матери Натальи.

Карташев вздохнул всей грудью и вошел в церковь. Прихожан было очень мало, по звонким плитам церкви глухо разносились его и Евгении Борисовны шаги.

Наверху мелодично, нежно и так печально пел хор: «Свете тихий».

И «Свете тихий», и «Слава в вышних богу» были любимыми напевами Карташева.

Его охватило с детства знакомое чувство, – бывало, маленький он так же стоял и прислушивался к этим мотивам, тихо и торжественно разносившимся по церкви. А сквозь облака ладана, прорезанные косыми лучами солнца, строго смотрели образы святых.

Пение кончилось.

Подняв голову, Карташев рассматривал образа на куполе.

Всё там, на том же месте, и тот рядом с головой быка, и тот другой, пашущий, и все они вечные, неподвижные при своем деле. И те там вверху были, конечно, чистые и сильные; не они виноваты, во что превратилось их учение; все то, о чем на каждом шагу Христос твердил:

– Понимайте в духе истины и разума!

А свелось к тому же языческому, к тому же идолопоклонству, к грубому мороченью, эксплуатации, уверению в том, чего никто не знает, не может знать и что в конце концов так грубо, грубо.

И, несмотря на то, что часть общества уже вполне сознательно относится к суеверию, сколько еще веков, а может быть, и тысячелетий, сохранит человечество эту унижительную потребность быть обманутым, дрожать перед чем-то, над чем только стоит немножко подумать, чтобы все сразу разлетелось в прах. Хотя бы то: где все эти бородатые боги заседают, на какой звезде, на каком куске неба и что такое это небо? Географию первого курса достаточно знать. Отчетливо конкретно представить себе только это – и точно повязка с глаз спадет, и сразу охватит унижительное чувство за этих морочащих, и хочется сказать им:

– Идите же вон, бесстыдные шарлатаны.

И Карташев уже сверкающими злыми глазами смотрел на стоявшего на амвоне священника.

«Лучше в сад уйду», – подумал он и вышел из церкви, как раз в то время, как туда хотела войти Маня.

– Не застала дома, – сказала она, – ты куда?

– В сад.

Маня пошла с ним, и он говорил ей:

– Иногда так наглядно, так осязательно чувствуешь всю комедию и ложь религии, что сил нет выносить охватывающее тебя унижение.

Он сел на садовой скамье.

Маня была задумчива.

– Как тебе понравился Савинский?

Отрываясь от своих мыслей, она рассеянно ответила:

– Он очень интересный, наблюдательный, умный и начитанный.

– Ты как относишься к его возражениям?

Маня пожала плечами.

– Несомненно, что мы очень мало обращаем внимания на образование. И может действительно случиться, раз прицел неправилен – ошибочен и выстрел; в данном случае жизнь пойдет насмарку, даром пропадет. А жизнь одна – и хотелось бы использовать ее как можно правильнее. А с другой стороны, что-то роковое идет, так идет, что захватывает, тянет. Знаешь, я думала о тебе. Нет, ты в нашу компанию не залезай, не торопись. Перед тобой такой путь, который рано или поздно, а откроет тебе глаза, и тогда уже иди сознательно, проверивши, имея возможность проверить, а мы ведь, собственно, лишены этой возможности. Мне кажется, новая жизнь будет длиннее нашей. Ты как-то не торопишься жить, ты старше меня, а ребенок еще во многом. Поздно развиваешься, растешь. И расти. Если б еще жена тебе попалась хорошая. С тобой можно говорить на эту тему?

– Говори...

– Лучше Аделаиды Борисовны не найдешь, Тёма.

– Я знаю.

– Если знаешь, то зачем же ты тянешь?

– Видишь, если говорить серьезно, то теперь мне кажется, это более достижимо, чем было тогда. Я теперь инженер, эта дорога по мне, уже теперь я получаю две тысячи четыреста рублей в год. Говорят, чуть ли не такую же и премию дадут. Таким образом, и себя и жену я смог бы содержать. Теперь, конечно, горячка будет строительная, ведь в сорок

пять дней решено выстроить двести восемьдесят верст. По быстроте постройки это будет первая в мире дорога...

Служба кончилась. С Аглаидой Васильевной вышли и мать Наталия, и красавица послушница.

Мать Наталия рассыпалась в поздравлениях, а послушница молчала и загадочно и смело смотрела своими глазами на Карташева.

Смотрел на нее и Карташев, и хотелось бы ему заглянуть на мгновение в ее душу, чтоб узнать вдруг все ее сокровенное.

А мать Наталия, очевидно, совсем не хотела этого и торопливо-почтительно стала прощаться.

XIV

Карташев, не успевший сделать нужных покупок, мог выехать только в понедельник и приехал в Бендеры во вторник утром.

С этим же поездом по делам уезжал старший Сикорский, и его провожала Елизавета Андреевна. Таким образом, Карташев встретился с ней на вокзале, страшно обрадовался и вместе с ней поехал на дачу.

После первых радостных приветствий, пересказа того, что случилось в Одессе, передачи привезенных Марье Андреевне разных отсутствовавших в Бендерах фруктов и сделанных ею поручений, младший Сикорский сказал:

– Ну, а теперь едем в управление принимать чертежи, проекты, бумагу, инструменты, потому что нас гонят на линию, и через два дня едем.

В управлении Карташев, передав Пахомову письмо Савинского, пошел с Сикорским к Борисову.

– Вот ему сдавайте все, – сказал Борисову Сикорский.

– Что значит «все ему сдавайте»? На руках он все это унесет? Нужны ящики, люди, подводы, наконец, чтоб увезти отсюда все сданное. Готово все это?

Карташев молча отрицательно мотнул головой, а Борисов ответил:

– А нет – так проваливайте, потому что и настоящего дела по горло.

Сикорский отвел Карташева в сторону и сказал:

– Разыщите Еремина и вашего Тимофея, пусть Еремин купит ящики какие-нибудь, ну, хоть из-под апельсинов, пусть найдет подводу и едет сюда. Собственно, конечно, Борис Платонович мог бы пока и так выдавать, складывали бы пока на полу.

– Совершенно не мог бы, – ответил услышавший Борисов, – не дальше как вчера вот так как раз отпускали, а пока послали искать ящики и извозчиков, половину растаскали. Поверьте, что в ваших же интересах призываю вас к совершенно справедливому, во всех парламентах даже и в коммуне принятому, порядку.

– Ну, идите, – махнул рукой Сикорский.

Через час Карташев с Ереминым и Тимофеем принимали от помощников Борисова по спискам принадлежащее им и укладывали в ящики.

– Вот что, – сказал Карташеву Борисов, отрываясь от работы и выходя из-за своего стола, – какая ни на есть, а будет материальная отчетность, и если у вас счетовода еще нет, то пока вы хоть ведите реестр получаемого.

– Я ведь беру опись.

– Ну-у... – заикнулся слегка Борисов, – а если вы потеряете опись, – где у вас след того, что такая опись была? А вы заведите книжку себе, – на книжечке напишите...

И Борисов взял со стола книжку и написал на первом листе: «Опись получаемого имущества и материалов».

– Вот... Теперь разделите это на графы...

Карташев провозился с приемкой часа три.

– Вот теперь у вас все в порядке, – говорил ему Борисов, – и, сдавая все это вашему

счетоводу, или заведующему материальным складом, или кому там, вам останется только передать ему эту книжечку с прилагаемыми документами. Так-то, а теперь пойдём ко мне обедать, потому что у Сикорских отобедали уже.

Когда пришли к Борису, прежде обеда Борис снял со стены две рапиры, две маски, нагрудники и спросил Карташева:

– Фехтовать умеете?

– Нет.

– Одевайтесь, буду учить.

И с полчаса учил Карташева, немилосердно тыкая его рапирой.

– Ну, теперь, располировав немножко кровь, можно садиться за обед.

Обед был простой, из двух блюд: борщ малороссийский с ушками и салом и вареники с маслом и сметаной.

Кончив обед, Борис, евший с таким же аппетитом, как и Карташев, махнул рукой и сказал девушке:

– Убирайте, и самовар нам! А вы, – обратился он к Карташеву, – рассказывайте теперь, что делали в Одессе?

Карташев рассказал.

– Похвалили меня за то, что так обстоятельно с ваших слов передал о положении дел.

– Выругать инспекцию не забыли?

– Конечно, и Николай Тимофеевич на днях с Лостером сам едет в Бухарест к главному инженеру Горчакову.

– Это хорошо; Горчаков человек толковый, он их живо подтянет.

Карташев сообщил Борису также и об интересовавшем его предмете.

На столе уже лежали привезенные альвачик и семитаки. Теперь Карташев вынул из кармана две привезенные и в дороге уже просмотренные им брошюры.

Мимоходом он упомянул о сестре и высказал свой взгляд на революционную партию, причем, как и в вопросе передачи Савинскому, явился только популяризатором идей сестры и Савинского.

Борис внимательно слушал, и Карташев, кончая, сказал:

– Если соберетесь как-нибудь в Одессу, я вам дам письмо к сестре.

Борис покраснел и, напряженно потянувшись, горячо пожал руку Карташеву.

– Непременно...

Но в это время пришли Лепуховский с другим инженером, темным, загорелым, и третий молодой, Игнатев.

– Это ты что так горячо его трясешь? – спросил добродушно, выпячивая живот, Лепуховский.

– Не твоего ума дело, – ответил Борис, а Карташев стал прощаться.

Выйдя от Борисова, он отправился на свою квартиру к Данилову.

Ящики из управления уже стояли в комнате, и тут же стояли рейки треноги.

Заглянул Данилов в одной рубахе и повел Карташева к себе в комнату.

– Хотите идти купаться? – спросил он.

– Хорошо, – согласился Карташев.

Данилов натянул летние штаны, надел пиджак, на голову широкую соломенную шляпу, на босую ногу туфли, простыню накинул на плечи, как шарф, и сказал:

– Ну, идем...

И так шли они по городу, обращая внимание прохожих.

Кто знал, что этот толстый неряха в туфлях на босую ногу – Данилов, – останавливался и долго еще смотрел ему вслед.

В купальне Данилов долго сидел в воде, и фыркал, и полоскался, как бегемот.

Карташев одевался и думал, как бы ему отделаться от него.

Выйдя из воды, Данилов спросил Карташева:

– Ну, вы куда теперь?

– Надо свое начальство разыскать. Мы послезавтра хотим ехать.

– Пора, пора... ну идите, не по дороге: я отсюда в управление.

На даче Марья Андреевна встретила его с упреком:

– Это очень мило. Мы его ждем с обедом, не едим...

– Но, ради бога!..

– Да ели, ели, – успокоил его младший Сикорский и спросил, принял ли он все в управлении?

– Все, кроме тех чертежей, которые у них еще в работе. В этих списках обозначено.

Карташев показал списки, свою книжку.

Сикорский посмотрел, кивнул головой и сказал:

– Это, значит, в порядке. Завтра утром надо ехать на ярмарку покупать лошадей, тарантасы и завтра же нагрузить на них весь наш скарб, и с Ереминым и еще одним десятником, которого я взял, отправить в Заим, оставив себе только тарантас и мою тройку, и послезавтра налегке, чтобы к вечеру быть в Заиме, выедем.

Выбранное резиденцией третьей дистанции село Заим ясно встало в глазах Карташева.

Ужинали, гуляли по саду, пели, играли, разговаривали.

В половине одиннадцатого Сикорский сказал:

– Ну, а теперь спать. В пять утра я буду вас ждать на ярмарке.

А Петр Матвеевич, у которого уже слипались глаза, сказал:

– Слава богу, кажется, начинает водворяться порядок.

Когда Карташев приехал на свою квартиру, он увидел спину Данилова, наклоненную над столом.

Быстро раздевшись, он лег, потушил свечку и сейчас же заснул, попросив разбудить себя в четыре часа.

Извозчик у него был уже договорен, все тот же молодой парень из России.

Апатичный Семен в четыре часа уже будил Карташева, а немного погодя принес ему чай, масло и хлеб.

Умываясь, Карташев заглянул в коридор и, увидев в кабинете опять неподвижную спину Данилова, подумал:

«Что ж он, так не вставая и сидит за работой? А на вид лентяй, какого и не выдумаешь».

Когда он уходил, Данилов, тяжело повернувшись, спросил его:

– Куда?

– Лошадей покупать.

– А вы понимаете в них?

– Немного, но там будет и Сикорский, и Еремин, и Тимофей, и мой извозчик.

Карташев заехал за Ереминым и Тимофеем и с ними проехал на ярмарку.

Она представляла бесконечное количество конных рядов, и только где-то в стороне стояли балаганы с наваленными перед ними кадками, колесами, лопатами и другими деревянными изделиями, да высокие молдавские каруцы с углем и разным лесом. Были пряники с сусальным золотом и лошадки из картона, крашенные и полированные, с их особым запахом кислого клея, но все это уже не интересовало Карташева.

Маленький Сикорский вынырнул из-за одной из телег и крикнул ему:

– Идите сюда!

Он уже облюбовал тройку для себя и теперь отчаянно торговался с цыганами.

Глазки Сикорского сверкали лукаво, щурился он так же, как и цыгане, хлопал их по ладоням и твердо выкрикивал свою цену.

Черный цыган, сняв свой картуз и вытирая платком пот, говорил:

– Ай, ай, барин, уж не цыган ли ты сам?

Сикорский весело хохотал и уходил, а цыган, после долгого раздумья, кричал:

– Ну, бог с тобой, красненькую прибавь и бери!

Но Сикорский, не поворачиваясь, кричал ему свою прежнюю цену.

И с отчаянием опять кричал цыган:

– Бери!

Сикорский возвращался и говорил:

– Нет, после мы еще запрежем, а вы, господа, смотрите лошадей.

И Еремин, и Тимофей, и извозчик осматривали лошадей еще раз. Смотрели в зубы, наступали им на копыта, сжимали им ноздри, водили перед глазами соломинкой, выворачивали губы, щупали под челюстями и осматривали все пятна на спине, запускали руки под ноги. Потом запрегли.

Купили тройку, купили трех рабочих лошадей, купили тарантас, телеги.

Карташев совершенно случайно нашел и для себя то, что искал.

На маленькой, красиво сделанной тележке, запряженной молодой гнедой кобылой, сидел пожилой мещанин.

– Купите, барин, – сказал он проходившему Карташеву, – всю справу продаю.

Карташев остановился.

– Продаю без обмана; я не цыганин и не барышник. Лошадка выросла у меня в доме, и думал: никогда не расстанусь. Да вот пришлось. Купите, будете благодарить и вспоминать меня. Присаживайтесь, попробуйте.

Когда Карташев сел, хозяин сказал:

– Берите сами и вожжи и поезжайте, куда хотите.

Карташев взял вожжи, выехал в улицу и поехал. Он поворачивал и направо и налево, пробовал и кнутом ударить, пускал полным ходом и поехал опять шагом.

Лошадка словно чувствовала, что выдержала экзамен, и весело-задорно вздергивала головой.

– Послушная лошадка, говорю вам, и умна, как человек: воспитанная скотинка, руками своими воспитал. Бросьте вожжи, уходите куда хотите, – сутки простоит и не шелохнется. Вот, стойте, смотрите.

Хозяин слез, зашел вперед лошади и сказал:

– Машка, за мной.

И умное животное, вытянув шею, осторожно ступая, шло вслед за своим хозяином.

Карташеву очень понравились и лошадь и тележка.

Лошадка действительно была красивая, стройная, с тонкими ножками и блестящей нежной гнедой шерстью.

– Какая цена?

– Без запросу полтора ста рублей.

– А дешевле?

– Нет, пожалуйста, не торгуйтесь. От нужды ведь только продаю. Раньше ни за какую бы цену не отдал.

– Хорошо, я беру.

И Карташев торопливо, пока не подошла компания, отдал деньги и, сев в тележку, поехал разыскивать своих.

Он радостно думал:

«С такой лошастью и кучера мне не надо. Уложу нивелир, рейку на тележку и буду ездить».

– Смотрите, смотрите, – закричал Сикорский, увидев Карташева, – это что? Купили?

– Купил.

Все стали внимательно осматривать покупку.

Лошадь, правда, оказалась молодая, неиспорченная, но цену нашли дорогой.

– Семьдесят пять рублей цена, ну, через силу восемьдесят пять, – сказал извозчик.

Сикорский из-под полуопущенных век насмешливо смотрел на Карташева. Рот его был полуоткрыт по обыкновению, уши как будто еще больше оттопырились, и, качая головой, он говорил:

– Эх, вы... Ну что позвать бы было нас!

Но Карташев был доволен.

Его поддержал и проходивший мимо бывший хозяин:

– Не сумлевайтесь, сударь, – будете благодарить. Это не цыганское отродье.

– Ну, ты! – закричал на него высокий черный цыганище и так сверкнул своими громадными, иссиня-белыми белками, что бывший хозяин махнул на него и, торопливо уходя, бросил:

– Бог с тобой, бог с тобой...

– Я на этой лошадке и назад поеду. Садись, Тимофей, со мной.

Карташев подкатил к даче и весело побежал звать дам смотреть его покупку. Марья Андреевна очень внимательно и деловито осматривала лошадь, а Елизавета Андреевна стояла и радостно повторяла:

– Прелестная лошадка и тележка хорошенькая!

– Хотите попробовать?.. – предложил ей Карташев.

Елизавета Андреевна посмотрела на сестру.

– Поезжай, только не долго ездите, через час обед. Какая хорошенькая лошадка!

Елизавета Андреевна и Карташев уехали, а Марья Андреевна, прикрыв рукой глаза, долго еще смотрела им вслед.

Возвращаясь назад, правила уже сама Елизавета Андреевна, а Карташев то смотрел на нее, то на лошадку, то на окружающие дачи, Днестр, небо и чувствовал непередаваемую радость жизни.

– Теперь, – сказал он, высаживая Елизавету Андреевну, – когда я буду одиноко разъезжать по линии, со мной будет всегда прелестная маленькая волшебница Лизочка.

Елизавета Андреевна только покраснела, махнула рукой и быстро скрылась в саду.

Собиралась гроза, в небе беспокойно двигались облака, и на горизонте собирались уже целые батальоны из темных грозных туч. А между ними, как в амбразурах, еще нежнее, еще безмятежнее просвечивалось небо. В воздухе сразу посвежело.

– И куда вы едете на дождь! – говорила Марья Андреевна.

– Надо, надо, – решительно отвечал, попрощавшись и направляясь к тарантасу, Сикорский.

– Промокнете.

– Не сахарный.

– Господи! – удержала за руку Марья Андреевна Карташева, – неужели вы уезжаете? Я так привыкла к вам, как будто мы уже сто лет жили вместе.

– Слышите, слышите? – говорил ее муж, – нет, уж лучше уезжайте...

– Не забывайте же нас.

Карташев, сидя уже в тарантасе, кланялся и смотрел на Марию Андреевну и ее сестру. Елизавета Андреевна стояла грустная и молчала.

Отъехав и встав на ноги, Карташев крикнул ей:

– Еду строить воздушный замок!

Она кивнула головой, а он все стоял и смотрел, и так много хотелось бы ему теперь сказать ей, Марье Андреевне, ее милому мужу ласкового, любящего, чего-то такого, что переполняло его душу и рвалось из нее.

Но экипаж уже повернул, группа скрылась, и все быстрее и быстрее мелькали последние сады и дачи.

Что до Сикорского, то он весь был поглощен вниманием к своим новокупленным лошадам; то откинувшись на пристяжную с своей стороны, то вставая, смотрел на другую, на коренника, как тот, забирая рысью, нес на себе высокую дугу с разливавшимися под нею колокольцами. А пристяжные давно уже поднялись вскачь, с загнутыми на сторону головами, все больше и больше свертывались в клубки, выбивая сразу всеми четырьмя ногами облака пыли.

– Эй вы, соколики! – прикрикнул кучер, едва передернув вожжами, и резвее взвились пристяжные, и совсем вытянулся, широко махая, коренник.

– Хороший кучер, – тихо сказал Карташеву Сикорский, – и лошади очень удачно подобраны: коренник выше, пристяжные поменьше; я еще куплю им бубенцы и буду тогда настоящий жених-становой.

Он весело рассмеялся.

– А вы знаете, – говорил он, – я вот заплатил за все это пятьсот рублей, а попомните меня, что продам за тысячу, а вы вашу Машку, дай бог, чтоб за пятьдесят продали.

Но Карташев совершенно не интересовался теперь ни тройкой, ни тем, за сколько он продаст потом свою Машку. Его захватывала езда, какие-то образы так же быстро проносились перед ним, и щемило душу сожаление о том, что все так быстро проносится в жизни.

Особенно хорошее...

А дождь уж лил, и от края до края, по всему темно-серому небу, сверкала зигзагами молния, и, страшно перекатываясь, гром грохотал, казалось, над самыми головами. В наступившей темноте вдруг точно разорвалось все небо, и громадная ослепительная молния упала перед глазами. Испугавшись, лошади сразу подхватили, понесли и мчали куда-то в неведомую даль в серой, сплошной от дождя мгле. Напрасно, откинувшись совсем назад, тянул кучер, напрасно помогали Карташев и Сикорский. Казалось, неземная сила гнала лошадей, крылья вдруг выросли у них, и летели и они, и экипаж, и три пигмея в нем. И вдруг треск – и сразу упали и лошади, и экипаж, и, как пробки из бутылок шампанского, разлетелись из него и Карташев, и Сикорский, и кучер.

Наступила на мгновение тишина, совпавшая с тишиною в небе.

Первый поднялся кучер и, хромя, пошел к лошадям. Затем встал с земли Сикорский и усталым голосом спросил:

– Карташев, вы живы?

Карташев лежал в луже и ответил лежа:

– Кажется, жив.

– Ну, так вставайте.

– Сейчас: я немного ошалел от падения. Кажется, головой ударился.

Он сделал усилие встать, но крушилась голова, ноги так дрожали, что он опять присел и, чувствуя боль в голове, начал мочить голову водою из лужи.

– Ну, теперь, кажется, ничего.

Карташев опять встал и пошел к экипажу и лошадям.

Лошади уже были на ногах и тоже дрожали.

– Кажется, благополучно, – говорил, осматривая их, кучер.

Экипаж оказался в порядке, стали собирать вещи. Дождь по-прежнему лил как из ведра. Все побилось, промокло: еда, закуски, вина, фрукты.

– Тем лучше, – махнул рукой Сикорский, – сразу, по крайней мере, перейдем на походное положение. Как голова?

– Ничего.

– А твоя нога?

– Не знаю, болит, – ответил кучер и горячо заговорил, указывая на коренника: – Теперь, когда характер его узнал, врешь: я ему сейчас покамест из ремешка сплету вторые удила, он и не сможет тогда уже закусывать, а как станет ему рвать челюсть – небось остановится тогда. И трензель, чтоб и голову драть ему нельзя было бы.

И кучер принялся плести ремешок.

А гроза тем временем уже пронеслась, и выглянуло яркое, умытое небо.

И все больше выглядывало, пока не сверкнули первые густобагровые лучи солнца по серой грязи земли.

Собрав и наладив всё, промокшие насквозь, сели и поехали дальше.

Немного погодя начался крутой спуск, и, покачивая головой, кучер говорил:

– Ну это все-таки, слава богу: не дай бог до этой кручи донестись бы...

Сдерживая коренника, кучер не кончил и только энергичнее тряхнул головой.

– Спустим ли? – спросил тревожно Сикорский.

– Бог даст, спустим.

И, как бы в ответ на это, осевший совсем на задние ноги коренник энергично замотал головой.

– Я все-таки слезу, – сказал Сикорский и быстро соскочил. – Слезайте и вы! – крикнул он Карташеву.

Если слезть – неловко перед кучером, не слезть – перед Сикорским.

И Карташев, продолжая сидеть, все думал, как ему быть, а тем временем лошади спустились, но все-таки Карташев, за несколько саженой до конца, тоже спрыгнул.

– К чему рисковать? – сказал ему Сикорский.

– Конечно, – согласился с ним Карташев.

Солнце село, но еще горел запад и грозными крепостями сверкали золотистые верхушки темных туч. Приехали, когда потухли и эти огни, и только бледный отсвет остался там, в небе, и в нем яркий серп молодого месяца, да зарница перебегала, освещая на мгновение темную бездну под ними.

XV

На другой же день с утра Сикорский, захватив с собой Карташева, сопровождаемый толпой подрядчиков, выехал на линию.

Он расставлял подрядчиков, показывал Карташеву, как делать разбивки, полотно, как назначать отводные и нагорные каналы; разбили станцию, пассажирское здание, наметили места для будок и только к вечеру, усталые и голодные, возвратились домой. Дома их уже ждали новые наехавшие подрядчики. Подрядчику мостов дали выписку, и бесконечные ряды подвод с лесом потянулись через деревню.

– Пожалуйста, завтра не задержите работу, – просил мостовой подрядчик, – у меня в четырех местах сразу начнут.

– Не задержим, не задержим, – отвечал Сикорский.

Наскоро поев, Сикорский сказал:

– Ну, теперь садитесь, и я вам объясню, как делается разбивка моста и даются обрезы свай, потому что завтра, чтобы поспеть везде, мы поедем с вами в разные стороны. Берите себе на завтра короткий хвост дистанции к Бендерам, а я поеду в другую сторону.

Село Заим было расположено так, что до конца дистанции в сторону Бендер было пять верст, тогда как в сторону Галаца было двадцать пять.

– А теперь спать, чтобы завтра в четыре часа уже выезжать нам.

В четыре часа на другой день, в то время, как Сикорский на своей тройке поехал вправо, Карташев, сам правя, выехал на своей тележке, запряженной Машкой. В тележке лежали нивелир, рейки, угловой инструмент, экер, лента, цепь и рулетка, топор, колья и вешки, лежал и узелок с хлебом и холодным куском мяса, а через плечо была надета фляжка с холодным чаем.

Начинавшееся утро после вчерашних дождя и бури было свежо и ароматно. На небе ни одной тучки. На востоке едва розовела полоска света. Этот восток был все время пред глазами Карташева, и он наблюдал, как полоска эта все более и более алела, совсем покраснела, пока из-за нее не показался кусок солнца. Оно быстро поднялось над полоской, стало большим, круглым, без лучей, и точно остановилось на мгновение. Еще поднялось солнце, и сверкнули первые лучи, и заиграли разноцветными огнями на траве капли вчерашнего дождя. И звонко полились откуда-то с высоты песни жаворонка, закричала чайка, крикнули утки на болоте вправо. И еще ароматнее стал согретый воздух. Карташев вдыхал в себя его аромат и наслаждался ясной и радостной тишиной утра.

В двух местах уже ждали плотники у сваленных бревен, спешно собирая копер. Карташев остановился, вынул профиль, нашел на ней соответственное место и начал разбивку.

– Ну, господи благослови, в добрый час! – тряхнул кудрями плотный десятник подрядчика, сняв шапку и перекрестясь.

Когда Карташев уже приказал забивать первый кол, он кашлянул осторожно.

– Не лучше ли будет, начальник, в ту низинку перенести мост, – воде будто вольготнее будет бежать туда – вниз, значит.

Карташев покраснел, некоторое время внимательно смотрел, стараясь определить на глаз, какое место ниже, и, вспомнив о нивелире, решил воспользоваться им.

Десятник оказался прав, и мост был перенесен на указанное им место.

Окончив разбивку, Карташев с десятником проехал на самый конец дистанции и разбил и там мост.

По окончании десятник сказал:

– На тот случай, если потом вам недосуг будет, быть может, сейчас и обрез дадите?

– Как же, когда сваи еще не забиты?..

– По колышку, а когда забьем, я проватерпашу.

Карташев подумал и сказал:

– Хорошо.

Но, когда, отнесясь к стоявшему недалеко реперу, он дал отметку обреза, его поразило, что сваи будут торчать из земли всего на несколько вершков.

Он несколько раз проверил свой взгляд в трубу, выверил еще раз нивелир и в нерешимости остановился.

Бывалый десятник все время, не мигая, смотрел на Карташева и наконец, приложив руку ко рту и кашлянув, ласково, почтительно заговорил:

– Тут под мостом канавка под русло пройдет, и так что... – Он приложил руку к козырьку и посмотрел в правую сторону, куда падала долина. – Примерно еще сотых на двадцать пять, а то и тридцать, значит, глубже под мостом будет.

– Да, да, конечно, – поспешил согласиться Карташев и в то же время подумал:

«Ах, да, действительно! Канавка... Какой у него, однако, опытный глаз».

Когда опять приехали к первому мосту, копер уже был готов, его скоро установили на место, и к нему подтащили первую сваю.

Десятник быстро, толково, без шума распоряжался, и когда свая была захвачена, поднята, и установлена, и прикреплена канатом, когда плотники, они же и забойщики, стали на места, десятник, вынудив поддержки из-под бабы, обратился к Карташеву:

– Благословите, господин начальник, начинать.

– С богом!

– Господи благослови! крестись, ребята!

И все перекрестились.

– Ну, закоперщик, затягивай песню!

Закоперщик начал петь:

И так за первую залогу

Да помолимся мы богу...

И хор рабочих в красных рубахах дружно и звонко подхватил:

Эй, дубинушка, ухнем!

Эй, зеленая, сама пойдет!

Пойдет, пойдет, пойдет...

И воздух потрясли тяжелые удары бабы о сваю, первые под припев, а остальные молча. Карташев во все глаза смотрел. Ему вспоминались чертежи мостов, сваи, вспоминался текст лекций.

Когда запели дубинушку, которую он до сих пор слышал только на студенческих

вечеринках, его охватила радость и восторг.

– Залога!

И удары прекратились.

– Как поют, господин начальник?

– Хорошо.

– Прямо, можно сказать, архирейский хор, – говорил десятник, отмечая на свая карандашом расстояние, на какое свая ушла в землю, – на одиннадцать сотых, господин начальник, отказ...

– Ах, да, – вспомнил Карташев наказ Сикорского, – надо будет отмечать отказы. У вас есть книжечка?

– Так точно.

– Я вам разграфлю.

– Не извольте беспокоиться: я разграфил уже. Обыкновенно нашему брату, подрядчику, этого дела не доверяют: опасаются, как бы мы свою линию не выводили; бывает так, что и закапывают сваи вместо того, чтобы забивать их, всяко бывает, только наш подрядчик не из таких и нам не велит. Он лучше же лишнего перебьет. До какого отказа, господин начальник, бить будем?

Карташев напряженно вспоминал: «Как это, до двух сотых или до двух тысячных?»

– Ежели, к примеру, – продолжал десятник, – свая ровно пойдет, так и в три сотни отказ будет ладный.

– Нет, все-таки до двух бейте.

– Как прикажете.

И, повернувшись к рабочим, десятник сказал:

– Ну, готовы, что ли? Это еще что? – точно не понимая, в чем дело, спросил десятник.

От рабочих закоперщик с шапкой в руках подходил к Карташеву.

– Имеем честь поздравить вас с благополучным началом.

– Ну, народ, – неопределенно качнул головой десятник, наблюдая Карташева, и, увидев, что Карташев достал десять рублей, сказал весело: – Ну, смотри, ребята, старайтесь да благодарите господина начальника.

– Благодарим! – дружно и весело отозвались рабочие.

– Поднимай бабу!

И баба под красивый припев речитатива: «Расчестная наша мать, помоги бабу поднять!» – стала подниматься вверх, а закоперщик уже опять затягивал:

*Эй, ребятки, не робейте,
Своей силы не жалейте.*

После второго залога десятник, приподняв шапку, обратился к Карташеву:

– Дозволите ли веселые песни петь?

– Конечно.

– Работа пойдет у них веселей: валяй, ребята!

Лица рабочих светились лукавою радостью, и только закоперщик с бесстрастным лицом, все тем же замогильным глухим голосом выводил:

*Инженера мы уважим,
По губам – помажем.*

И восторженно подхватила артель дубинушку, заметив, как залилось краской до корней волос лицо смущенно-растерянно улыбавшегося Карташева.

К обеду возвратились в Заим и Карташев и Сикорский. Карташев сделал Сикорскому обстоятельный доклад.

– Только одно неправильно – никогда вперед обреза не давайте. На этом и строятся все

мошенничества. Поезжайте после обеда опять и уничтожьте обрез. Когда кончат забивку, пусть и позовут тогда. А что касается того, чтобы вести журнал забивки свай, то сегодня приедет десятник еще.

XVI

Работы наладились, и все пошло изо дня в день.

Карташев ездил в дальнюю сторону дистанции, Сикорский взял на себя более короткую, так как на нем, кроме технической стороны дела, лежали и распорядительная и административная части. Постоянно приезжали из города, привозили материалы, запрашивали срочно по телеграфу, и ему необходимо было, как он говорил, быть всегда на ружейный выстрел от конторы.

Все делалось с какой-то сказочной быстротой, и быстрота эта все возрастала; установились и ночные работы.

В каждом месте линия кишела рабочими: забивали свай, сыпали насыпи, копали выемки, тянулись обозы с вывозимой землей, лились песни, крики, громкий говор. Узкая полоса земли на протяжении двухсот восьмидесяти верст жила полной жизнью безостановочно все двадцать четыре часа в сутки.

Ночью эта лента была сплошь огненная от костров. Уже провели телеграф, и в Заиме сидела телеграфистка.

Смены ей не было; и ночью и днем она должна была принимать телеграммы.

Еще молодая, с терпеливыми, все выносящими глазами, сидела она в минуты отдыха на завалинке своей избы, курила и смотрела равнодушно вдаль, туда, где кипела работа.

Карташев жил в избе рядом. В четыре часа он уже выезжал на линию.

В тележке лежали инструменты и холодный завтрак.

Уезжал он на весь день и возвращался домой часам к десяти.

Иногда надо было зайти еще в контору к Сикорскому. Иногда и ночью необходимо было ехать вторично на линию. Суток не хватало. В каждом месте, в каждой точке уже ждали, нетерпеливо ждали Карташева с разбивкой, с отметкой, с вопросами, без решения которых дело останавливалось. Получалось такое впечатление, что все везде стоит и виновник этому только он, Карташев.

Это тяготило, мучило, угнетало, и Карташев почти не выходил из подавленного и в то же время напряженного, крайне неприятного состояния от сознания, что никогда ему не поспеть везде вовремя.

Его лошадь начала портиться.

Вначале она ходила рысью, но чем дальше, тем больше теряла бедная Машка силы.

Давно исчезла округленность ее форм, блеск ее шерсти.

Ее худая, теперь острая спина поднялась кверху, шерсть болезненно торчала во все стороны, грива была спутана, сбита, а сама она точно потеряла всякую способность понимать, где дорога, где овраг. Прежде, бывало, хоть домой она бежала. Теперь же одинаково равнодушно, несмотря на все удары, шла все тем же заплетающимся шагом.

И это еще более раздражало и угнетало Карташева. Но когда однажды Машка отказалась и таким шагом идти, когда она беспомощно остановилась и, несмотря на всякие понукания, не хотела идти дальше, Карташев, которого во всех местах ждали, как манну с неба, пришел в такое отчаяние от своей собственной несостоятельности, от несостоятельности Машки, что расплакался.

В таком положении и застал Карташева Сикорский, несшийся на своей жениховской тройке.

Карташев торопливо уничтожил следы слез, а Сикорский сделал вид, что их не заметил.

– Ну, сегодня я за вас распоряжусь, а вы поезжайте домой и сейчас же купите вторую лошадь. Необходимо ездить на сменных лошадях.

– Она и домой не пойдет.

– Дайте овса ей.

– Нет у меня овса.

– Ну, так чего же вы хотите? Человек восемнадцать часов ездит и не кормит лошадь. Обязательно надо брать торбу с овсом. Доехали до конца дистанции, надели на нее торбу, сами закусили и поехали назад. А теперь что же делать? Выпрягите ее и пустите попасть по этой траве.

Сикорский уехал, а Карташев выпряг Машку, пустил ее на траву, а сам, сидя на тележке, ел свой хлеб с колбасой и грустно-бессильно смотрел туда вдаль, где кипела работа, где ждали его, в то время как он должен был пасти свою лошадь.

В этот день Карташев возвратился домой в неурочное время, когда солнце было еще высоко в небе.

Продажная лошадь оказалась у хозяина, в избе которого жил Карташев.

Выйдя из своей телеграфной конторы, – она же и спальня, – телеграфистка тоже, присев на завалинке, смотрела, как Карташев пробовал лошадь, и с своей стороны сделала несколько замечаний, обнаружив некоторые познания по этой части.

Между нею и Карташевым завязался разговор, и оказалось, что она дочь мелкого херсонского помещика.

Карташев, чувствувавший себя в общем не лучше Машки, хотел было воспользоваться отдыхом и лечь спать, но начавшееся знакомство отвлекло его, и, сидя устало на завалинке, он дотянул до вечера в разговорах с телеграфисткой.

Она была некрасива, почти необразованна, но было в ней что-то симпатичное, беззащитное и, наконец, молодое – в улыбке, взгляде, в бессознательных движениях. Было интересно будить это молодое.

Общее положение заморенных, работающих через силу людей, при походной жизни, при сознании, что очень скоро все это кончится и в свое время, как и все, унесет невозвратное будущее, еще больше сближало, примиряло, заставляло торопиться.

Высоко в небе, как заброшенный маяк, ярко светила луна.

Белая колокольня, белые избы рельефно и неподвижно стояли, и от них падала густая черная тень. В ярком ослепительном воздухе, как серебро, сверкала на воде полоса лунного света.

Было свежо, телеграфистка куталась в платок и курила.

Карташев устало сидел рядом с ней.

Гулко звонили часы на высокой колокольне, и ему было хорошо и уютно около простой доброй девушки полуспать, полубодрствовать, наслаждаясь волшебной красотой ночи.

– Вы спите совсем, – положите на плечо мне вашу голову.

И Карташев положил.

– И холодно вам, вот вам половина моего платка.

Пришлось сесть плотнее под одним платком.

Так и сидели они, изредка перебрасываясь словами, не замечая, как идет время.

Все так же неподвижно светила луна с своей бесконечной высоты, так же стояли настороженные белые хатки, и лунный свет играл в воде.

Какой-то особый сон наяву владел душой. Они не помнили, как обнялись, как поцеловались, как очутились вдвоем на ее узкой постели, как уснули обнявшись, прикрытые ее платком, единственным теплым, что было в ее скудном багаже.

А в четыре часа Карташев осторожно, чтобы не заметили, пробирался в свою избу.

Но на завалинке уже сидел Тимофей, и смущенный Карташев чувствовал, что Тимофей обо всем догадался.

Рядом с исключительным размахом в деле постройки во всем соблюдалась экономия, доходившая до скарденности. Так, служащих в общем было мало, и на долю каждого приходилась двадцатиголовая работа. Будки, например, как временные, решено было

строить самого легкого типа, причем ассигновано было на каждую будку по сто двадцать пять рублей, тогда как обычная цена будки от пятисот до тысячи рублей.

Был предоставлен полный простор для инициативы и выбора строительного материала.

– Предоставляю, – сказал Сикорский Карташеву, – все дело вам, стройте хоть из навоза, и условие одно – не выйти из сметы, потому что, помните, это своего рода пунтик, конек начальника участка.

В помощники себе Карташев взял Тимофея.

Решено было пользоваться в общем типом молдавских легких клетушек, из легкого деревянного остова в виде рал, заплетенных плетнем и смазанных с одних сторон глиной с навозом. Крыши крыть очеретом. Печи глинобитные с каменным, за неимением кирпича, сводом.

Но и камня не было. Тимофей разыскал в степи колодцы, устраиваемые набожными молдаванами, и выбирал оттуда тот камень, которым были обложены стенки колодца. Лесной материал покупался у молдаван в каруцах и состоял из жердей в полтора-два вершка в диаметре.

Высокая каруца с такими торчащими жердями стоила от трех до пяти рублей. Четырех, пяти таких каруц было достаточно для будки. Но и эта цена показалась Тимофею дорогой.

Он узнал, откуда молдаване возят лес, съездил туда и купил там две десятины такого же леса по сорока рублей за десятину. Этого лесу хватило с избытком на всю дистанцию. Одни рубили его и очищали от коры, другие возили на линию.

Работа, как говорил Тимофей, шла колесом.

Сегодня Тимофей тащил Карташева в лес осмотреть покупку и работы Тимофея.

Лес был верстах в двенадцати от линии.

Карташев хотел успеть побывать и в лесу и проехать по линии.

– Ну, чай сегодня некогда пить, – скорей запрягай Румынку – и поедем.

Через несколько минут Карташев уже выезжал на Румынке, захватив для нее заготовленную с вечера торбу с овсом, а рядом верхом ехал Тимофей.

Проезжая мимо телеграфной конторы, Карташев покосился на ее безмолвные окна и поцеловал спавшую за ними ласковую, на все согласную, молодую телеграфистку.

«Дать бы ей выспаться, – подумал Карташев, – и подольше бы не присылали телеграмм сегодня».

День обещал быть дождливым. Все небо заволокло ровною серою пеленою, и только при восходе солнца там на востоке прорвалась на мгновение эта пелена, и, из-под нее выглянув печально, солнце опять скрылось.

Скоро стал накрапывать мелкий ровный дождик, и точно спустилась на всю округу мокрая, серая, однообразная пелена.

Иногда дождь переставал и опять принимался, такой же однообразный, тихий и ровный.

– Теперь, пожалуй, – говорил Тимофей, – и ни к чему уж он. Разве вот для озимей перед севом... ну, корму прибавится...

– Н-да, – соглашался Карташев, продолжая испытывать смущение при Тимофее.

На отрогах далеких холмов и невысоких гор показался лес.

– Вот и наш лес, – показал рукой Тимофей туда, где, борясь с дождем, поднималась синяя струйка дыма, – может, кипяченая вода будет, чаю напьемся.

Подъехали к лесу, привязали лошадей и пошли на просеку. Дождь опять перестал. На только что срубленных мокрых деревьях дрожали крупные капли воды, пахло сыростью, свежим лесом, пахло дымом, и ярче вспоминалась ночь, луна, телеграфистка.

Оказался и кипяток, сварили чай и напились.

Карташев в первый еще раз был в настоящем лесу, в первый раз видел, как его рубят, как выделывают из него годный для постройки материал. Он осмотрел работы, одобрил все, дал дровосекам на водку и уехал напрямик к концу дистанции.

Дорожка прихотливо вилась между полями поспевавших кукурузы, пшеницы, овса.

Румынка бодро бежала, а Карташев сидел, смотрел из-под своего капюшона и все не мог оторваться от воспоминаний прошедшей ночи. Иногда сердце его особенно сжималось, и становилось весело и легко на душе.

На конце дистанции, в наскоро сколоченных балаганах, жил рядчик Савельев с артелью рабочих человек в сорок. Он копал земляное полотно на двух последних верстах и должен был рыть нагорную канаву, которую хотел сегодня разбить Карташев.

Подъехав к навесам, Каргашев привязал лошадь, подвязал ей торбу с овсом и пошел к главному балагану.

По случаю дождя работы не было. Вышел маленький, кудрявый, средних лет рядчик Савельев и почтительно поклонился.

– Я приехал вам канаву разбить.

– Очень даже приятно. И если бы, к примеру сказать, вчера намеревались приехать, сегодня с утра бы уже ребята принялись бы за работу.

Окончив разбивку, Карташев возвратился и, так как Румынка еще не кончила своего овса, присел под навесом, где была устроена для рабочих столовая: вкопанные в землю козлы, покрытые досками. Тут же недалеко, под низким навесом, была устроена кухня, горел огонь и несся аппетитный пар из двух котлов, около которых, засучив высоко рукава, хлопотала молодая, здоровая русская баба.

Карташеву тоже захотелось поесть, но он стеснялся, считая это несовместным с его служебным положением и думая в то же время, что бы сказали этот рядчик и рабочие, если бы знали, как провел он эту ночь. И теперь ему было уже неприятно воспоминание об этой ночи.

– Не желаете ли, господин начальник, – вкрадчиво-ласково заговорил рядчик, прерывая мысли Карташева, – съесть чего-нибудь: вареного мяса можно, косточку с мозгом, а то и щец.

И мясо и щи, а особенно кость с мозгом вызвали сразу усиленное выделение слюны у Карташева, но, не колеблясь, он ответил:

– Нет, благодарю вас...

– А то, может быть, сала поджарить кусочек.

Это было уже выше сил Карташева, и пока он боролся с собой, Савельев уже крикнул:

– Матрена, живей, поджарь-ка сала.

– Вы, русские, разве тоже едите сало? – спросил Карташев. – Я думал, что только мы, хохлы...

– Хорошее везде хорошо, господин начальник.

– Вы сами что ж не присядете?

– Покорно благодарю, господин начальник, – ответил Савельев и, после настойчивых повторений, присел наконец на самый край скамьи и снял шапку.

Матрена принесла горячую сковородку с подрумяненными на ней розоватыми кусками шипящего малороссийского сала. Затем она принесла несколько ломтей полубелого хлеба и ласково сказала:

– Кушайте на здоровье.

Было это как-то особенно сочно сделано, а Карташев, вспомнив обряд простого народа, снял шапку, положил ее рядом на скамью и перекрестился.

– А вы разве не будете есть? – спросил Карташев.

– Нет, уж позвольте с народом; уж такой порядок у нас...

Карташев принялся за сало и ел его за оба уха, как говорят хохлы.

Когда он кончил, ему поднесли миску щей, на тарелке кашу, а на другой – кусок вареной говядины с мозговой костью.

– Нет, нет... – начал было Карташев, но хозяин перебил его:

– Вы, господин начальник, наш начальник, и ваша обязанность пробовать еду рабочих, чтобы не было обмана или обиды со стороны хозяина работ. Это уж такое заведение, и не нами выдуманно оно.

– Если так... – сказал Карташев и съел несколько ложек щей с кашей, несколько кусков говядины, посыпая ее крупной солью, и наконец, по настоянию хозяина, съел и мозг. Кончив, Карташев сказал:

– Мне совестно, закармлили вы меня.

– Помилуйте, господин инженер, можно ли о таких пустяках говорить. Не обессудьте и напередки: шутка сказать, день-деньской не евши, а из-за нас же.

Наступал обед, собрались рабочие и слушали.

Карташев колебался, но, прощаясь, протянул руку рядчику. Рабочим дал пять рублей на водку, а Матрене отдельно рубль. Этим он как бы расплатился за еду, но сознание, что этого все-таки не следовало бы делать, мучило его, и, едучи обратно, его одновременно начало грызть и тревожное сознание того, что он сделал только что на этом конце дистанции, и того, что произошло ночью на другом ее конце.

Но постепенно дело снова захватило, тревожное состояние исчезло. Все было важно, все было дорого и интересно. Каждая случайно встреченная и вновь купленная каруца с лесом волновала и радовала так, как будто все это было лично его, Карташева.

По дороге его нагнал троечный вместительный тарантас, в котором сидел инженер Данилов.

Данилов водой из Одессы проехал в Букарест, оттуда в Галац и затем уже на лошадях, проехав всю линию, возвращался в Бендеры.

О своем проезде он никого не уведомлял, объясняя это тем, что встреча начальства отнимает всегда много лишнего времени, а в такой горячке этого лишнего времени нет.

– Ну, что ж? – сказал Данилов, остановив лошадей и поздоровавшись с Карташевым, – вы ко мне пересесть не можете, так как тогда некому будет отвести вашу лошадь домой, так я к вам пересяду.

Толстый Данилов кое-как уселся в маленькой тележке Карташева, а Карташев сдвинулся, чтобы дать ему место, на самый край.

Чтобы не задерживать Данилова, Карташев хотел было, не останавливаясь на работах, ехать прямо, но Данилов настоял, чтобы все делалось так, как всегда.

И Карташев останавливался, разбивал полотно дороги или проверял разбивку, давал новые выписки, делал обрезы мостам.

По дороге его останавливали молдаване с каруцами леса, с возами соломы. Он торговался, покупал и вместе с Даниловым ехал впереди этих каруц, указывая те будки, где нужен был этот материал.

Однажды, когда Карташев купил воз соломы, на горизонте показался другой, и Карташев боялся, что, пока он будет указывать продавшему, куда сваливать, тот другой, появившийся на горизонте, ускользнет от него.

Тогда Данилов предложил свои услуги и остался в тележке караулить подъезжавшего, в то время как Карташев, усевшись на купленный воз, поехал с молдаванами к будке.

В это время подъехал к Данилову и Сикорский, и когда Карташев возвратился к ним, и другой воз был куплен Даниловым на двадцать пять копеек дешевле против назначенной Карташевым цены.

Затем Данилов пересел к Сикорскому, и они уехали в Заим, а Карташев продолжал свою обычную работу.

Когда к десяти часам вечера Карташев наконец добрался домой и отправился в контору, то оказалось, что Данилов уже уехал.

Сикорский был в духе и сказал Карташеву с обычной своей манерой, нехотя и вскользь, что Данилов остался доволен и работами и им, Карташевым.

Прощаясь, он рассказал, как Данилов побывал и на телеграфной станции, как телеграфистка жаловалась на трудность бессменной и днем и ночью работы, и как Данилов ответил, чтобы по ночам телеграфистка не дежурила и что для ночных работ он пришлет телеграфиста. Карташеву показалось, что Сикорский как-то особенно при этом смотрел на него, Карташева, и поторопился уйти, чтобы скрыть свое смущение.

Высоко в небе опять светилась луна, опять белели домики, и опять на завалинке сидела телеграфистка, Дарья Степановна Основская, куталась в свою шаль и курила папироску.

И опять потянуло Карташева к этой одинокой, незащищенной, на все готовой и в то же время ничего не ищущей фигурке.

– Хотите, будем чай пить? – предложила Дарья Степановна.

И они вдвоем, так как при телеграфе не было и сторожа, стали ставить самовар, потом пили чай, а в четыре часа утра, как и накануне, Карташев пробежал опять к себе, чтобы запрягать лошадь и ехать на линию.

И опять, доехав до конца дистанции, он не мог устоять от соблазна у рядчика Савельева и, решительно отказавшись от остального, съел несколько ломтиков горячего, слегка поджаренного сала.

Так и пошло изо дня в день. Карташев, как маятник, качался между этими двумя крайними пунктами своей дистанции, между двумя соблазнами дня и ночи, всегда твердо зарекаясь устоять и всегда бессильный в своих зареках.

Однажды на работах, когда Карташев в трех верстах от линии разбивал водоемное здание, вдруг к нему подъехало несколько экипажей.

В переднем экипаже, в большой открытой коляске, на заднем сидении сидел инженер Савинский и рядом с ним маленький, уже пожилой с сморщенным лицом, господин.

На переднем сидении возвышались Пахомов и Сикорский.

Савинский быстро вышел, радушно, с манерой светского человека, протянул Карташеву руку и, пожимая ее, весело проговорил:

– Вот наконец где мы вас поймали.

В это время осторожно и морщась сошел с экипажа и маленький пожилой господин в котелке, немного сдвинутом на затылок, и Савинский, делая движение рукой в сторону Карташева, сказал:

– Инженер Карташев.

На что маленький пожилой господин протянул руку Карташеву так, как будто это стоило ему большого усилия или боли, и небрежно бросил:

– Самуил Поляков.

«Так вот он!» – мелькнуло молнией в голове Карташева, а Сикорский в то же время шепнул ему:

– Говорите ему ваше превосходительство.

– Вы что здесь делаете? – бросил Поляков, устало оглядываясь.

– Разбиваю водопровод, ваше превосходительство.

– А где же ваш экипаж?

– Экипаж на станции, я пришел сюда нивелировкой и...

– Ну, так поедem с нами тогда... Садитесь... Ну, на козлы к нам садитесь.

И Поляков полез назад в экипаж.

Карташева бросило в жар и холод.

Этим предложением влезть на козлы точно хлыстом его вдруг ударили по лицу.

Он был бы счастлив, если бы мог вдруг провалиться сквозь землю, и навсегда.

Он мучительно искал выхода, резкий отказ напрашивался на язык, и он напрягал все силы, чтобы удержаться, а между тем экипаж уже трогался, и с отчаянием в душе Карташев взобрался на козлы и сидел на них растерянный, раздавленный, с душой, охваченной ужасом, тоской, унижением...

Ему казалось, что вся станция, когда они подъезжали, только на него и смотрела, вполне понимая всю унижительность его положения.

Как только вышли из экипажа, Карташев шепнул Сикорскому:

– Я сейчас же уезжаю. Скажите и выдумайте, что хотите, Полякову, но не оставляйте меня, потому что иначе я наговорю ему таких дерзостей...

– За что?!

В это время к Карташеву подошел Савинский.

– А я привез вам письма от ваших и корзинку, – передал ее Валериану Андреевичу. Ваши здоровы все, кланяются вам и ждут в гости.

Карташев взял письмо, благодаря, старался улыбаться и при первой возможности скрылся. Сел в свою тележку и, не оглядываясь, погнал Румынку прочь от станции.

Позднее обыкновенного возвратился Карташев в тот день в Заим, объезжая глухими дорогами, чтобы как-нибудь не встретиться опять с Поляковым и его свитой.

«И зачем он оторвал меня от работы? Мало у него свиты и без меня? Сколько в них, начиная с самого шефа, чванства! И отчего Данилова не было между ними? И каким смущенным и маленьким казался Пахомов, вынужденный ехать на передке!»

И Карташев опять и опять переживал свое унижение и с омерзением, крепко отплевываясь, кричал в темноту:

– Тварь!

Оставив лошадь дома, он пошел в контору, со страхом вглядываясь в ее окна и стараясь угадать, уехал ли Поляков.

Поляков уехал со всей свитой, но на столах конторы еще оставались следы обеда, так как Сикорский всех их накормил.

Карташев никогда не видал Сикорского таким веселым.

– Эх, вы! – встретил он Карташева. – Ну, чего вы обиделись? Если Пахомов может ехать на передке, то почему вам не сесть на козлы? Ведь не на голову же Полякову посадить вас... Совершенно напрасно, совершенно... Ну, слушайте: все-таки Поляков просил передать вам свою благодарность. Я сказал ему, что послал вас по экстренному делу... Вам назначено жалованье триста, с уплатой с самого начала, и прибавлено подъемных еще пятьсот рублей...

Карташеву было приятно это, и главным образом как внимание.

– А вот и ваша корзинка. Ну, теперь слушайте дальше: балластировку Поляков сдал мне и вам отдельно...

– Как это?

– То есть в данном случае мы сами являемся подрядчиками; нам назначена цена двенадцать рублей куб, и, таким образом, разница против того, во что это обойдется в действительности, будет в нашу пользу. Я уже собрал кое-какие справки и думаю, что может обойтись не дороже семи рублей, а может быть, даже шесть. Нужно всего четыре тысячи кубов, следовательно, в нашу пользу останется двадцать четыре тысячи рублей.

– Я решительно отказываюсь от этого подряда.

– Почему?

Ответ был для Карташева совершенно ясен: служить, получать жалованье и в то же время заниматься подрядом, контролерами которого будут они же, – было для него совершенно невозможным.

Но так как Сикорский уже, очевидно, изъявил свое согласие, а может быть, и сам попросил об этом, то Карташев придумывал ответ, который не был бы обидным.

– Видите, Валериан Андреевич, вы – другое дело. Вы сами говорите, что вы, как заграничный инженер, вынуждены будете перейти на подряды. Что до меня, то подрядчиком я никогда в жизни не буду. Я хочу только служить. Вы и берите этот подряд, а я всеми силами помогу вам, но участвовать не буду. И для вас же это лучше, потому что раз я не заинтересован, то у вас является приемщик, и при таких условиях никто не заподозрит меня в пристрастии, так как здесь я ни в чем не заинтересован.

Сикорский убеждал Карташева, но тот остался при своем.

– Эх вы, – прощаясь, добродушно кивнул головой Сикорский.

Смеясь, он быстро коснулся панталон Карташева и, тряся их, сказал:

– Я вам предсказываю, что, кроме таких штанов, у вас никогда ничего в жизни не будет...

Карташев тоже смеялся и, радостный, веселый, шел к себе домой. «И ничего нет больше, кроме этих штанов, и не надо», – радостно думал он, усаживаясь около ожидавшей

его, по обыкновению, Дарья Степановны.

И она была таким же, как и он, и бездомным, и ничего другого не желавшим человеком, и Карташев больше уже не чувствовал угрызений совести, сидя с ней. Напротив, чувствовал себя налаженным, веселым, удовлетворенным.

– Вы что сегодня такой веселый? – спросила его Дарья Степановна.

Карташев с удовольствием принялся рассказывать ей все случившееся за этот день с ним.

Он так смешно изображал себя на козлах, что и он, и Дарья Степановна смеялись до слез. Кончив, он вспомнил о корзинке. В ней были орехи, персики, виноград.

Ела Дарья Степановна, ел Карташев и думал, что бы сказала его мать, если бы знала, с кем он ест это?

XVII

Ко всему теперь прибавились еще заботы о песке.

Для розысков местонахождений песка был назначен особый десятник, толстый, добродушный увалень с виду, но очень расторопный на деле. Фамилия его была Сырченко, и на вид можно было дать ему не больше двадцати пяти лет. Он обладал каким-то особым чутьем разыскивать песок. И чем ближе он был к линии, тем больше радовался Сикорский, так как за перевозку куба такого песку они платили молдаванам по рублю с каждой версты.

Карташев страшно заинтересовался этими розысками и, беря уроки у Сырченко, все свое свободное время употреблял на поиски за песком.

Он заглядывал во все попутные овраги, где были обнажены наслоения. Он возил с собой лопату и, в местах, где были бугорки или приподнятость почвы, копал пробные шурфы. Особенно остро стояло дело относительно песку в южной части дистанции, к стороне Галаца, где на протяжении пятнадцати погонных верст никаких следов песку не было. Однажды вечером приехал Сырченко и, бессильно разводя руками, сказал:

– Окончательно, Валериан Андреевич, песку там нет.

Лицо Сикорского собралось в обычную гримасу, точно у него болит там, внутри, и обиженным голосом он сказал, опуская углы рта:

– Ну, тогда из всего подряда ничего не выйдет, потому что то, что заработаем на одной половине, приложим к другой. И дай бог, чтобы еще хуже не вышло.

Сырченко стоял, точно чувствовал себя виноватым. Да и Карташев испытывал то же самое, как будто и его упрекали в нерадении к интересам Сикорского. Он поспешил уйти домой и все время только и думал, где бы найти песок. Он вдруг вспомнил ту дорожку, по которой тогда возвращался в лес, и, уже понаторевшись в опытах искания, восстановив в памяти местность, он решил завтра еще раз проехать по той дорожке.

Результат превзошел все его ожидания. В трех верстах от линии, на срединном расстоянии от обоих концов, под полуаршинным слоем чернозема, показался слой прекрасного гравия, какой удалось разыскать только в одном карьере. Карташев копал в разных местах, и карьер определился длиною до шестидесяти сажен и шириною до двадцати. Оставалось выяснить залегание балласта вглубь.

«Если сажень глубины, – рассуждал Карташев, – то уже это составит тысячу двести кубов неразрыхленного балласта, а вывезенного и полторы тысячи, то есть почти все количество».

Тут же на месте Карташев определил процент глины. Для этого у него была стеклянная трубочка с одним глухим концом. На трубочке Карташев наделал алмазом для резания стекла деления.

В трубочку он насыпал до ее половины вновь добытого песку, а вместо воды налил из фляжки холодного чаю, которым запивал свой завтрак.

Примесей оказалось до восьми процентов.

Первоначально Сикорский прибыльный процент назначил двенадцать, но потом поднял

до пятнадцати, и таким образом новый балласт и в этом отношении мог быть назван идеальным.

Карташев так взволновался после этого последнего определения, что, набрав полный платок гравия, решил ехать прямо назад к Сикорскому.

Сикорского он застал дома в подштанниках и ночной рубашке, в жарком разговоре с полной молдаванкой. Сикорский, сам молдаванин родом, говорил с молдаванами на их родном языке. Это так радовало молдаван, так было им приятно, что Сикорский буквально вил из них какие только хотел веревки. Так, например, главнейшая работа населения, всякие перевозки – обходились на дистанции Сикорского почти вдвое дешевле против других мест линии.

– Что случилось? – встревоженно спросил Сикорский в неурочный час явившегося Карташева.

– Как вам нравится этот балласт? – спросил Карташев.

Сикорский пригнулся к столу, на который Карташев высыпал из платка гравий, и внимательно стал рассматривать его.

– Где вы нашли его? – не отрываясь, жадно, как золото, перебирая его рукой, спросил Сикорский.

Карташеву хотелось, чтобы Сикорский сперва ответил, как нравится качество балласта, но, желая поскорее доставить приятное, он залпом ответил:

– В трех верстах от линии, на равном расстоянии от конца дистанции и последнего разъезда.

Сикорский, ничего не отвечая, только ниже пригнулся к гравию.

– Какая вскрышка?

– Пол-аршина.

– Какая площадь?

– Около шестисот квадратных сажен.

– Глубина залегания?

– Вы уж многого захотели: конечно, не мог определить.

– Надо будет сейчас взять несколько рабочих, и поедем.

Обратившись к стоявшим молдаванам, с интересом следившим за всей сценой, Сикорский сказал:

– Ну, теперь дело меняется: песок нашли ближе. Кто хочет взять возку, пускай едет сейчас за нами. И лопаты захватите.

Карташев отвел Машку домой и поехал вместе с Сикорским на его тройке.

За ними ехали три подводы с десятью молдаванами. Таким образом, и рабочих не пришлось брать.

Приехав, Сикорский внимательно осмотрел сделанный Карташевым шурф, осмотрел местность и сказал:

– Площадь гораздо больше. Балласт должен непременно выклинить в том овраге, и вскрышка будет там уже около сажени. Едем к тому оврагу.

Овраг был довольно крутой, и после нескольких ударов лопатами стал уже обнаруживаться песок.

Предположения Сикорского совершенно оправдались: вскрышка действительно была до сажени, а пласт залегания более двух сажен.

Лицо Сикорского приняло сосредоточенное, важное, даже огорченное выражение. Он вынул кошелек, достал оттуда пять рублей и, передавая молдаванам, сказал:

– Вот вам деньги за труды и уезжайте домой: здесь не будем возить песок.

Молдаване, не ожидавшие такого исхода, до того веселые, взяли, недоумевая, деньги, смолкли, сели на свои подводы и уехали.

Карташев еще более недоумевал и растерянно, сконфуженно спрашивал:

– Не годится разве?

Сикорский молчал, следя глазами за уезжавшими молдаванами. Когда они уже совсем

скрылись, Сикорский медленно обвел еще раз глазами округу, прилег на траву и сказал Карташеву:

– Садитесь.

Карташев присел и напряженно уставился в своего шефа.

Сикорский заговорил тихо, с расстановками, как умирающий:

– Это не карьер, а золото... чистое золото, и значение такого балласта вы поймете и оцените не раньше года эксплуатации. В то время как от мелкого через год и половины не останется, этот весь будет налицо. В то время как в мелком шпала будет ездить взад и вперед, – потребуется на ремонт пути от одного до двух человек на версту, – для этого не понадобится и полчеловека. С таким балластом скорость может быть доведена и до шестидесяти верст в час. За границей только такой балласт и допускается, а где его нет, там употребляют щебенку, куб которой обходится до тридцати рублей. Вот какой это балласт! Хватит его не только на пятнадцать верст, но и на сто пятьдесят. И возить его не лошадьми надо, а железной дорогой. Когда будет проведен путь, мы проложим сюда ветку и станем поездами вывозить. Больше двух рублей куб не обойдется, и я сейчас же отдам распоряжение Сырченко прекратить возку из всех карьеров, отстоящих далее трех верст от линии, и, во всяком случае, вывозить не полное количество, с таким расчетом, чтобы сверху был балласт из этого карьера. О-о! Я головой теперь отвечаю, что на всей линии равной нашей дистанции по балласту не будет.

Лицо Сикорского распустилось в лукавую улыбку, и уже веселым голосом он сказал:

– Ну, теперь расскажите мне, как вы унюхали это золото.

Когда Карташев сообщил, Сикорский, качая головой, сказал:

– Надо будет вас какому-нибудь жиду сдать на аренду: он вам будет платить из жилетного кармана жалованье, а вы ему будете набивать все остальные его карманы чистым золотом.

Он поднялся, отряхнул свой костюм и сказал:

– Ну, а теперь едем домой, и я вас накормлю и, раз не хотите денег, напою шампанским.

Он подошел к экипажу и, оглядываясь, говорил:

– Да, за такой карьер можно выпить шампанского. И мы назовем его Карташевским. С завтрашнего же дня поставлю здесь Сырченко с рабочими пробивать траншею. Этот карьер мы будем разрабатывать уже по всем правилам искусства, и рыться, как свиньям, не позволю здесь, потому что это выгоднее, и все – и Данилов и Пахомов – побывают на этом карьере...

Когда сели в экипаж, Сикорский весело ударил себя по лбу.

– Та-та-та! Слушайте! Первое, что надо сделать, это – купить на мое имя этот карьер. Я сегодня же пошлю Сырченко разузнать, кому эта земля принадлежит, и куплю, в крайнем случае арендую лет на двадцать, и тогда пусть дорога покупает этот карьер у меня. Вся его длина будет сажень триста, если даже ширина двадцать, в чем я очень сомневаюсь, и две глубины, то это составит на линии не менее пятнадцати тысяч кубов. Мне надо три тысячи, и, если дорога по рублю мне заплатит за куб – за остальные, то уже это одно составит двенадцать тысяч, но я головой отвечаю, что вдвое, втрое больше.

Немного погодя Сикорский горячо говорил:

– Слушайте еще вот что. Сильвин, начальник соседней к Галацу дистанции, говорил мне, что у него совсем нет балласту, и я предложу ему по два или по рублю пользы с куба с тем, чтобы подряд он передал мне.

Сикорский засвистал.

– Это еще чистых тридцать тысяч в кармане...

Он сосредоточенно покачал головой и опять с миной умирающего проговорил:

– Тысяч до ста можно заработать!

Он энергично махнул рукой.

– Ну, тогда будьте вы все, Поляковы, прокляты. О, тогда я буду чувствовать себя человеком! Да, вот и все в жизни так: все только рубль и случай!

Карташев слушал, подавляя в себе неприятное чувство, вызванное пробуждавшейся корыстью Сикорского, старался сосредоточиться на доставлявшем ему наслаждение сознании, что он сегодня сделал что-то очень важное и ценное. С какой завистью будет смотреть на него его учитель Сырченко!

Узнают об этом и в Бендерах: узнают и Петров, и Борисов, и Пахомов, и Данилов, и окончательно упрочится его репутация дельного и толкового работника.

И Карташев чувствовал прилив к сердцу теплой крови, ему было радостно и хорошо на душе. Он щурился от ярких лучей, смотрел в далекую лазурь точно умытого неба, щурился иногда так, что все небо это покрывалось золотыми искрами, и переживал то состояние, когда кажется, что нет уже тела, что все оно и он сам растворились без остатка в этой искрящейся радостной синеве.

Через несколько дней после открытия нового карьера Сикорский сказал Карташеву:

– Вот вам копия моего условия с молдаванами относительно перевозки песку. Они должны складывать этот песок в конуса. Размер им дан такой, чтоб в каждом кубе было на десятую часть больше куба, и таким образом каждый десятый куб будет у нас бесплатным.

Карташев слушал, стараясь не выдать своих мыслей, но ему было досадно и обидно за Сикорского. И без того с каждого куба оставалось в его пользу по девять рублей, и то, что он еще придумал, являлось в глазах Карташева в сущности обманом.

Но, как ни старался скрыть свои мысли Карташев, Сикорский был достаточно проницательным, чтобы не прочесть их на лице Карташева.

– Здесь никакого обмера нет, потому что в этом условии мы платим не за куб, а за куб десять сотых. Справедливо это и в том отношении, что в мирное время за эту же работу они взяли бы вдвое дешевле.

Сикорский теперь увлекался только песком и все остальное бросил на руки Карташева.

Карташев чувствовал себя полным хозяином на дистанции и был рад, вспоминая слова Сикорского, что в их деле, кто палку взял – тот и капрал.

Теперь капралом на дистанции был Карташев. Чувствовал это и он и все. Подрядчики, рядчики стали еще почтительнее ввиду предстоявших обмеров работ.

С каждым днем горячка спадала на линии. Целыми верстами уже, где прежде кучился народ, были шум и крик, теперь опять было тихо, и только узкой змейкой извивалась полоса готового полотна. К этому полотну везли шпалы и рельсы, шла укладка, и звон сбиваемых накладками рельсов разносился далеко в воздухе.

Но для Карташева работы не убавлялось. Надо было обмеривать и учитывать все сделанное.

Крупный подрядчик земляных работ Ратнер, взявший также и листовку и дерновку, едуци с Карташевым на обмер, говорил ему:

– Слушайте меня, старика, Артемий Николаевич, что я вам скажу. Вы человек молодой, только что начали, а я, слава богу, поседел на этих работах. И, слава богу, никогда ни с кем из инженеров не вздорил. Вы наших порядков не знаете, а порядки у нас простые. Один в свой рот не заберет всего: дело это столько и мое, сколько и ваше. Ничего незаконного я от вас не прошу, будьте только справедливы – и десять процентов ваши.

– Это какую сумму составит? – спросил Карташев.

– Это составит тысяч двадцать.

– Допустим, что я взял у вас эти двадцать тысяч. Будем считать, что они по пяти процентов в год дадут мне тысячу рублей. Но, если узнают, что я взял у вас эти деньги, меня прогонят и больше на службу не примут. Какой же мне расчет, когда я уже получаю теперь три тысячи шестьсот рублей в год?

– Во-первых, никто же не узнает...

– Вы первый расскажете... Теперь, конечно, нет, а когда дело кончится, вы скажете: за что этот человек вытащил у меня из кармана двадцать тысяч? И вам будет досадно, и вы всем скажете. Как же иначе всегда все знают: такой-то инженер вор, а такой-то не вор. Нет, господин Ратнер, вы сами видите, что не выгодно для меня ваше предложение...

– А сколько же вы бы хотели?

Карташев рассмеялся.

– Ну, миллион.

– Миллион? когда всего дела на триста тысяч?

И Ратнер презрительно рассмеялся.

– Ну, вот видите, – сказал Карташев, – и не сойдется наше дело. А давайте лучше так: все, что законно, я вам и так сделаю, а незаконно ни за какие деньги не сделаю.

– А я о чем же прошу? – ответил угрюмо Ратнер.

Как ни старался Карташев быть беспристрастным при обмере, Ратнер оставался недоволен и жаловался Сикорскому, требуя обмера в присутствии его, Сикорского.

Сикорский с унылым лицом выслушал Ратнера и, опустив углы рта книзу, сказал, разводя руками:

– Хорошо.

Карташев рассказал Сикорскому о предложении Ратнера.

– Я его проучу, – сказал угрюмо Сикорский.

И действительно, по обмеру Сикорского вышло на два процента меньше, чем у Карташева.

Ратнер только возмущенно развел руками.

А Сикорский сказал ему:

– Утешьтесь тем, что это всего на три тысячи рублей, и таким образом у вас в кармане осталось из тех денег, которые вы предлагали, семнадцать тысяч рублей.

– Я никому ничего не предлагал, – резко ответил Ратнер, – и буду жаловаться Полякову.

– Это ваше право, как право Полякова отдать вам хоть все свое состояние.

– Ну, знаете, что я вам скажу, – говорил Ратнер, пряча квитанцию, – от таких инженеров Поляков только разорится, потому что у таких инженеров могут работать только мошенники...

– Вон, негодяй!!! – завопил вдруг Сикорский, бросаясь на Ратнера, но Ратнер был уже у дверей.

– Ох, как испугался! – смерил он с ног до головы маленького Сикорского и, выйдя, хлопнул дверью.

– Дайте телеграмму, чтобы сейчас же выслали сюда двух жандармов, и пусть бессменно дежурят здесь в конторе.

Пришла очередь обмерять и рядчика Савельева.

Карташев, при всей своей неопытности, видел, что дело Савельева не из важных. Кормил он своих работников на убой и в этом отношении был выше всех подрядчиков. Но работы его были не из выгодных, – мелкие насыпи, без выемок, где оплачивался каждый куб вдвойне, почти без дополнительных работ, как-то: нагорные канавы, углубления русл и прочее.

Чем ближе подвигалось дело к концу, тем грустнее становился Савельев, тем почтительней становился он с Карташевым, смотря на него с мольбой и страхом.

Когда Карташев приехал к нему с обмером, он, стоя без шапки, сказал с отчаянием:

– Вся надежда только на вас.

Карташев смущенно ответил:

– Я сделаю все, что могу.

И начал обмер.

Целый день продолжался обмер. Уезжая, Карташев сказал:

– Обмер я передам завтра в контору дистанции.

А Савельев, как на молитве, кивая головой, молил:

– Не оставьте несчастного, господин начальник.

С сжатым сердцем уехал от него Карташев, предчувствуя драму.

Приехав домой, Карташев сейчас же засел за подсчет и еще в тот вечер передал итоги

Сикорскому.

Савельев на другой день явился за расчетом.

– Триста двенадцать кубов у вас, – сказал ему Сикорский, – по три рубля...

Савельев сделался белым как мел и даже качнулся.

– Помилуйте, господин начальник, – зашевелил он побелевшими губами, – за три месяца харчей только вдвое больше вышло... Не может этого быть: ошибка тут вышла...

Сикорский сделал гримасу и сказал:

– Вы что ж, проверки хотите?

– Пусть сами Артемий Николаевич проверят: они ж, наверно, не захотят обидеть несчастного человека.

– Хорошо, я скажу ему.

Подъезжая в тот вечер к дому, Карташев увидел темную фигуру у своих дверей.

– Кто?

– Я, Савельев.

– Заходите.

Савельев вошел вслед за Карташевым в темную комнату и повалился на колени.

– Не погубите, Артемий Николаевич, не погубите! Не может быть, что всего триста кубов наработано. По народу не может быть меньше тысячи кубов, и то только-только вчистую выйду...

– Встаньте, встаньте, – поднимал его Карташев.

Но Савельев грузно сидел на своих коленях и продолжал:

– Я был у начальника дистанции, он разрешил вам перемерить меня, я нарочито его самого не звал: не погубите, Артемий Николаевич! Ведь пропал я совсем!

– Я завтра же перемеряю. Конечно, может быть, я и ошибся...

Савельев встал с колен. От отчаяния он перешел к надежде. Он заговорил облегченно:

– Ох, ошиблись, ошиблись, Артемий Николаевич, и, бог даст, завтра все исправите.

Карташев протянул ему руку и вдруг почувствовал в своей руке бумажку. Это была вчетверо сложенная десятирублевка.

Сердце его тоскливо сжалось.

– Нет, нет, господин Савельев, не нужно, совершенно не нужно. Вот вам крест, что я и без этого сделаю все, что могу.

Савельев растерянно прошептал:

– Простите Христа ради, – и вышел из комнаты.

Тяжелое, тоскливое волнение охватило Карташева.

– Сам виноват, сам виноват, – твердил он в отчаянии, идя к Сикорскому.

– Савельев недоволен вашим обмером, – сказал ему Сикорский.

– Это такая ужасная история...

И Карташев рассказал, как он изо дня в день одолжался у Савельева салом.

Сикорский мрачно слушал.

– Ах, как нехорошо, – сказал он, когда Карташев кончил.

Он покачал головой и досадно повторил:

– Очень некрасивая история.

Карташев сидел, переживая отвратительное чувство унижения.

– Сколько приблизительно могли вы съесть у него сала?

– Я не знаю... Месяца два я ел каждый день по несколько ломтиков.

– Фунт в день?

– Не думаю.

– Будем считать фунт, будем вдвое дороже считать: по двадцать копеек за фунт, – двенадцать рублей. Заплатите ему тридцать, пятьдесят рублей заплатите. Сделайте завтра новый обмер, а там завтра я в вашем присутствии произведу с ним расчет. Ай, ай, ай...

Долго еще качал головой Сикорский.

Уйдя от Сикорского, Карташев обходной дорогой, чтоб не проходить мимо Дарьи

Степановны, пробрался прямо к себе.

Не зажигая свечи, он разделся и лег, торопясь поскорее уснуть. Но сон бежал от него. Чувство обиды и раздражения все усиливалось. Сердился он и на себя, и на Сикорского, так строго отнесшегося к нему. Но под обидой и гневом неприятнее всего было чувство унижения. Что-то давно забытое, давно пережитое напоминало оно ему. И вдруг он вспомнил и мучительно пережил далекое прошлое.

Он был тогда гимназистом первого класса. По случаю весенней распутицы он жил тогда в городе и только по субботам ездил домой, возвращаясь в понедельник в город. Жил он у брата отца, угрюмого сановитого холостяка, занимавшего большую квартиру в первом этаже на главной улице. Громадные венецианские окна выходили на улицу, и он отчетливо помнил себя в этой квартире с высокими комнатами, маленького, затерянного в ней, всегда одинокого, так как дядя или не бывал дома, или сидел в своем кабинете.

Он помнил себя сидящим на подоконнике этих громадных окон, как смотрел он на проходящих, как слушал шарманку, как тоскливо замирали ее последние высокие ноты в весеннем воздухе.

Как-то в понедельник отец дал ему рубль на покупку учебника арифметики, стоившего тридцать пять копеек. До субботы остальные шестьдесят пять копеек оставались у него в кармане. А соблазнов было так много. К пяти часам вечера его начинал мучить обыкновенно голод. Он очень любил швейцарский сыр, любил французские булочки, особенные – с двойным животиком, слегка соленые. И он покупал и этот сыр, и эти булочки и, сидя на подоконнике, съедал их, смотря на прохожих, слушая музыку и мучаясь в то же время сознанием растраты. К субботе на последний пяточок он купил альвачику, а чтоб скрыть растрату, стер цену на обложке, протер обложку в этом месте пальцем насквозь, а снизу подклеил синюю бумажку, на которой написал «1 рубль». Чернила расплзлись, и «1» распух и перьями разошелся во все стороны. Может быть, отец так и не вспомнил бы, но он сам только и думал об этом и, поздоровавшись, сейчас же вынул из сумки учебник в доказательство, что он действительно стоит рубль, и, передавая учебник, ему уже стало вполне ясным, что подлог не может не обнаружиться. Как мог он за мгновение до этого думать, что никто и не догадается об этом, он сам не понимал. И теперь ему было совершенно ясно, что надо было просто признаться во всем. И, несмотря на все это, он на вопрос отца, почему это так странно обозначена цена, ответил, что он не знает, но что он заплатил за учебник рубль. Сверх обыкновения отец не вспылывал и только как-то загадочно замолчал. Это молчание болезненной тревогой охватило душу Тёмы, и он напряженно ждал. Он ждал, что мать заговорит с ним. Только в воскресенье утром мать спросила его, оставшись с ним наедине: «Тёма, ты действительно заплатил рубль?» – «Да, мама», – горячо и уверенно ответил Тёма в то время, как сердце его усиленно заколотилось в груди и кровь прилила к лицу. И опять больше ничего, и весь день тревога не улеглась в его душе. Он берег эту тревогу, был как-то задорно развязан с сестрами и в то же время почему-то находил в себе сходство с теми арестантами, которые под конвоем солдат чинили улицы. И от этого сравнения, и от какого-то особенного молчания матери и отца еще тревожнее становилось у него на душе, а к вечеру он совсем упал духом и, сидя на окне, тоскливо смотрел на знакомый закат, там, где-то за голыми еще деревьями, опускавшегося солнца, где в лучах его ярко горели окна какого-то здания. Тогда, в детстве, няня рассказывала, что это волшебный дворец, что там спит его принцесса, и, когда он вырастет, он придет к ней и разбудит ее. И вот теперь он вырос и сделался вором, и не ему, конечно, теперь уж мечтать о принцессах.

С таким же тоскливым чувством проснулся он и в понедельник, и сердце его мучительно ёкнуло, когда в столовой он увидел совсем одетого отца. Очевидно, отец едет с ним. Куда?! Может быть, в полицию, где его сейчас и посадят в тюрьму. Отец вышел, молча сел в дрожки рядом с сыном и только, когда въехали в город, спросил сына:

– В каком магазине ты покупал учебник?

Сделав усилие, Тёма хрипло, упавшим голосом, назвал магазин. Так вот куда едет с ним отец. Неужели отец решится войти с ним в магазин и спрашивать то, что и без того уже

ясно?

Когда экипаж остановился, отец, уже у дверей самого магазина, спросил сына:

– В последний раз тебя спрашиваю, сколько стоит учебник?

Вихрем закружились все мысли в голове Тёмы, сперлось дыхание и захотелось плакать, но едва слышным голосом он ответил:

– Рубль.

Дверь шумно распахнулась, и в магазин вошел старик Карташев, высокий, в николаевской шинели, бритый, с нафабранными черными усами, с прической на виски, а за ним съездившийся, растерянный, приговоренный уже, маленький гимназистик. Мучительно тянулись мгновенья, когда маленький, серьезный хозяин магазина в золотых очках, в белом галстуке внимательно рассматривал поданный ему учебник. Такой же серьезный и угрюмый стоял перед ним генерал Карташев.

– Все приказчики налицо, – заговорил наконец тихо хозяин и, подняв глаза, спросил Тёму:

– Кто именно вам продал эту книгу?

Тёма ответил:

– Один мальчик.

– Мальчики у нас не продают.

Тёма молчал, потупившись.

– У нас есть мальчики, но, собственно, к продаже они никакого отношения не имеют, – пояснил хозяин генералу.

Затем он обратился к одному из приказчиков и сказал:

– Позовите сюда всех мальчиков.

Пришли четыре мальчика в белых фартуках и стали в ряд.

– Кто-нибудь из них? – спросил у Тёмы хозяин.

Мальчики бойко и загадочно смотрели на Тёму. Тёма тоскливо посмотрел на них и тихо ответил:

– Нет.

– Больше никого из служащих в магазине нет, – холодно сказал хозяин.

И опять наступило страшное томительное молчание. Пригнувшись, Тёма ждал сам не зная чего.

– Вон, негодяй! В кузнецы отдам! – загремел голос отца, и в следующее мгновенье, сопровождаемый таким подзатыльником, от которого шапка Тёмы упала на панель, Тёма очутился на улице.

Видят всё это и из магазина, видит и Еремей на козлах и все прохожие, остановившиеся и смотревшие с любопытством.

Отец сел в экипаж и уехал, не удостоив больше ни одним словом сына.

С вытаращенными глазами, красный, как рак, с грязной фуражкой на голове, как пьяный, в полусознании, поплелся Тёма в гимназию. И вдруг бешеная злоба на отца охватила его. Он громко шептал:

– Ты сам негодяй, ты дурак, я тебя не просил быть моим отцом, и, если б меня спросили, кем я хочу быть, я захотел бы быть одним из тех мальчиков в магазине, которые смотрят весело, без страха и никого не боятся, как я, как будто все время около меня страшная змея, которая сейчас укусит меня!

Он шел дальше и громче и бешенее бормотал:

– Ай дурак, точно мама позволит ему отдать меня в кузнецы, хотя бы я был бы очень рад навсегда отделаться от такого удава, как ты. Ах, если б ты знал, как я ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя...

И как теперь, так и тогда под этим бешенством и злобой на отца еще сильнее владело душой чувство бесконечного унижения и стыда.

В тот день он уже не ел швейцарского сыра. Приехавшая к нему мать застала его спящим. Она сидела над своим сыном, зная его манеру спать с горя, когда Тёма вдруг стал

возбужденно кричать во сне: «Папа подлец, папа подлец...»

Мать разбудила его, и, сидя на диване, Тёма сперва ничего не понимал, а когда понял, то разразился горькими рыданиями, между которыми, всхлипывая и задыхаясь, рассказал, как и на что он растратил злополучные деньги.

На другой день Карташев опять весь день обмерял Савельева, а вечером подсчитывал.

Вышло триста восемнадцать кубов.

Утром Савельев явился в контору.

Сикорский с обычной grimасой презрения сообщил ему результат и вынул девятьсот шестьдесят семь рублей.

– А вот еще пятьдесят рублей от инженера Карташева за съеденное у вас сало.

– За какое сало? – спросил, как обожженный, Савельев. – За что такая обида еще? Разорили человека и надсмеялись еще.

Он порывисто схватил девятьсот семнадцать рублей и, не трогая пятидесяти, пошел к дверям.

– Жандарм, – сказал Сикорский, – возьмите эти пятьдесят рублей в пользу Красного Креста от господина Савельева.

Савельев, уже в дверях, не поворачиваясь, только досадливо рукой махнул.

Возвратившись в свои балаганы, он рассчитал всех рабочих и отправил, а сам ночью повесился, оставив неграмотную записку: «Погибаю невинно, заплатите, по крайности, мяснику забор четыреста двенадцать рублей. Савельев».

Когда Сикорский прочел эту записку, он сухо сказал Карташеву:

– Каким же образом дорога может заплатить?

– Я заплачу, – с горечью сказал Карташев.

– Это ваше дело, – холодно ответил Сикорский, передавая записку жандарму и говоря ему: – Распорядитесь похоронами, гроб закажите, яму выгребите, крест.

– Нанять священника, как прикажете?

– Пойдите спросите священника.

– Пожалуйста, из моих денег четыреста двенадцать рублей передайте жандарму, – сказал Карташев, вставая и уходя из конторы.

Жандарм ушел к священнику. Немного погодя он возвратился и, вытянувшись, держа перед собой фуражку, сказал:

– Так что священник отказывается, как самоубийца они.

– Ну, тогда без священника.

XVIII

От конца дистанции, со стороны Бендер, до Заима и дальше до станции путь уже был уложен, и накануне была получена телеграмма, что завтра приедет паровоз.

Сикорский поручил Карташеву встретить этот паровоз на конце дистанции.

Это был первый паровоз, и Карташеву не верилось, что по выстроенному ими пути может прибыть благополучно этот паровоз. Где-нибудь окажется нехорошо подбитая шпала, и он опрокинется. Во избежание такой случайности Карташев решил пройти пешком с Тимофеем эти восемь верст от станции до конца дистанции, с подштопкой в руках, и проверить подбивку каждой шпалы.

Начал он свою, в сущности, совершенно бесполезную работу с рассвета и кончил часам к десяти, как раз в то время, когда на горизонте показался дымок паровоза.

Сердце Карташева и радостно и тревожно забилося. Отирая струившийся с него пот, он хотя и был теперь спокойнее, чем с вечера, за безопасность паровоза, но все же не доверял все-таки делу своих рук. У него даже мелькала тревожная мысль: не лучше ли предупредить едущих и совсем их не пустить на дистанцию?

Но паровоз уже подъезжал тендером вперед, и на тендере сидел Борисов, начальник соседней дистанции, тот молодой инженер, с которым Карташев познакомился у Борисова, и

еще какой-то пожилой инженер в форме, и все весело махали ему рукой.

Паровоз остановился, и, слегка заикаясь, Борисов крикнул ему:

– Скорей садитесь!

Карташев полез на паровоз, а Тимофей испуганно спрашивал его:

– А я?

Понятно было желание Тимофея и вполне заслуженно, но Карташев боялся, как посмотрят на это сидевшие. Наконец, решившись, тихо сказал уже с паровоза, наклоняясь к Тимофею:

– Полезай и стой тут, туда, – показал он на тендер, – не ходи.

– Ну, пожалуйста, – приветствовал его Борисов, – садитесь на скамью подсудимых между двумя начальниками. Вот один – позвольте вас познакомить, наш правительственный инспектор – его превосходительство Иван Николаевич Емельянов, а другой – я... Тот не в счет, – махнул он на соседнего начальника дистанции.

И, когда Карташев сел, Борисов сказал ему:

– Приказывайте, с какой скоростью в час нам ехать?

«Совсем не ехать», – хотел было сказать Карташев, но, подавляя волнение, ответил:

– Со скоростью десяти верст.

– Что? Стоило строить железную дорогу для этого.

И, махнув беспечно машинисту, он крикнул:

– Тридцать верст!

– Борис Платонович! – вскрикнул Карташев.

Но Борисов только рассмеялся.

Паровоз, покачиваясь и точно подпрыгивая, понесся вперед. Карташев, замирая, сидел, впившись глазами вперед, и напряженно ждал каждое мгновение чего-то ужасного.

Борисов весело наблюдал его.

– Пойдите, я сейчас приведу его в чувство, – подмигнул он инспектору, и, толкая Карташева, он спросил: – Ну, господа песочные подрядчики, как ваши подряды?

Карташев действительно сразу пришел в себя и, как обожженный, ответил:

– Я не подрядчик.

– Как так?

– Не подрядчик и подрядчиком никогда не буду.

– Вот это настоящий бандурист, – сказал Борисов, ласково, даже нежно обнимая Карташева.

Карташев сразу повеселел, почувствовал себя хорошо.

– Он тоже, – кивнул Борисов на Бызова, – отказался от этого подряда, и Лепуховский.

Теперь, когда они с такой быстротой неслись, ему стала ясна бесполезность его сегодняшней проверки, и он сказал:

– Мне прямо совестно признаться, какой я неграмотный дурак. Вы знаете, сегодня с таким же другим умником из деревни мы прошли с подштопкой весь путь, проверяя подшивку шпал.

– Зачем?

– Боялись, что опрокинется паровоз.

– О-о! Где ж этот другой?

– Он там, на паровозе.

– Покажите его.

– Тимофей! – закричал Карташев.

– Ась! – отозвался Тимофей, а затем показалась и вся довольная фигура.

– Как думаешь, – спросил его Борисов, – доедем до станции или опрокинемся?

– Надо доехать, – ответил весело Тимофей.

– Надо доехать, – это, брат, знать наверняка надо: вы-то шпалы пробовали?

– А как же, – ответил Тимофей, – каждую шпалу удостоверили, иначе разве возможно?

Все смеялись, а Борисов говорил Тимофею:

– Молодец, братец. А вы, – обратился он к Карташеву, – пишите новый учебник.
– Вы когда кончили? – сипло спросил Карташева коренастый, обросший бородой инженер.

– В этом году.

– Бывали на практике раньше?

– Нет.

Инженер помолчал и сказал:

– Ну, вот теперь вы научились, как не надо строить.

– Ну, вот уж, – вскинулся Борисов, – как не надо?

– Конечно, – грубым голосом заговорил инспектор, – эти уроды – так надо? – ткнул он в проносившуюся мимо них будку. – Этот урод мост, как надо?

– Я насчет этого особого мнения, – помолчав, заговорил Борисов. – Слов нет, красивая будка приятнее для глаза и для жизни. Но если сто миллионов живут в неизмеримо худших избах, то еще большой вопрос в смысле справедливости и правильности затраты денег этих миллионов на жизнь нескольких счастливых, которые будут жить в таких будках. Ну, будки еще туда-сюда. А красавцы мосты, по которым тоскует ваше сердце... На кой леший, спрашивается, красота наших мостов, на которые и смотрят-то только зайцы да волки. Или эти вокзалы-дворцы, зеркала и бархат в вагонах? Роскошная наша русская жизнь, прежний тип почтовых станций вдохновили нас? А между тем каких денег все это стоит? В результате ведь вот что: нам нужно, скажем, двести тысяч верст, а так, как мы размахнулись, мы на эти деньги выстроим только пятьдесят тысяч верст, и того не выстроим. А дело между тем коммерческое прежде всего, и если оно не оправдывает своих расходов, то вместо пользы оно бременем ложится. При нашей постановке вопроса выходит так: чем больше мы будем строить, тем больше будем разоряться. И причина в том, что нам, как самой бедной в мире стране, надо было выбрать самый дешевый тип, а мы выбрали самый дорогой, какого до того и не было, самый ненормальный, следовательно, только назвавши его при этом нормальным. И все потому, что император Николай Павлович с крепостническим размахом, опасаясь иноплеменного вторжения, вместо того чтоб сузить путь против остальной Европы, уширил его на полфута.

Борисов обратился к Карташеву и серьезно сказал ему:

– Несомненно, грамотеями тех времен владело чувство и вашего сегодня опасения: как бы не опрокинуться. Ведь Царскосельскую-то дорогу они шестифутовую закатали. Тара-то на вагон, мертвый груз, значит, семьсот пудов, а подъемная сила – триста, а за границей подъемная сила семьсот пятьдесят, а тара двести двадцать пудов. Помимо двойной стоимости.

– Ну-с, извините, я не согласен с вами, – резко и угрюмо возразил инспектор.

– Извиняю, – развел руками Борисов.

– И я вам докажу...

– Не докажете, потому что уже приехали, и сам господин подрядчик приветствует нас на перроне.

Сикорский махал шляпой, и при ответном махании паровоз остановился.

В окнах пассажирского здания уже виден был накрытый стол.

– Первая умная вещь, которую вижу, – показал на него пальцем инспектор.

– Не было бы подрядчика, – ответил Борисов.

– Не завидуйте, зуда! – смеясь, ткнул его в бок Сикорский.

– А, зуда! – поддержал Сикорского инспектор.

– И чтоб доказать вам, что я зуда, я не дам вам есть, пока не осмотрите всей станции, – сказал Борисов.

– Ну, пока хоть по рюмке водки, – предложил Сикорский.

– Да об чем же толковать? – забасил инспектор. – Кто не желает, может не пить.

И инспектор, а за ним Сикорский и соседний начальник дистанции пошли в пассажирское здание, а Борисов с Карташевым отправились на осмотр. Инспектор так и не

пришел. Когда Борисов с Карташевым возвратились после осмотра в пассажирское здание, остававшиеся уже успели выпить и закусить. Инспектор сидел, откинувшись на спинку стула, положив руку на спинку другого стула, глаза его посоловели, и он встретил входивших не то шуткой, не то упреком:

– Бунтовщики!

– Не знаю, как в остальном организме, – ответил весело Борисов, – а в желудке у меня так даже целая голодная революция... Как известно, самая ужасная из всех.

– Ну, и пейте водку, – грубо сказал инспектор.

– Водки не пью, а вот есть буду и квасу бы выпил, если есть.

Квасу не было.

– Пошлите к землекопам, – предложил Борисов.

Послали – и принесли.

Инспектор обратился к Карташеву и, показывая на Борисова, сказал:

– С этим господином я вам советую подальше...

– Он благодарит вас за совет, – ответил Борисов, – и просит разрешить ему руководствоваться своими собственными соображениями.

Инспектор налил себе новую рюмку и ответил:

– Вольному воля...

Борисов сел с Карташевым в стороне и, пока не подали обед, закусывая, продолжал делать замечания по поводу своего осмотра. Замечания были дельные, и Карташев, слушая, думал, что Борисов обнаруживает не только большие и теоретические и практические познания, но и большую вдумчивость, способность обобщать вопросы.

Когда Карташев высказал ему это, Борисов ответил:

– Через несколько лет и вы накопите и опыт и знания, так же будете и думать и обобщать. Несомненно, что у инженера поле зрения большее, пожалуй, чем у других специалистов, да, пожалуй, что и в умственном отношении инженеры представляют из себя большую силу. Вероятно, и по своему опыту вы могли прийти к заключению, что в наш институт попали сливки гимназий, – и по способностям, и по энергии пробиваться в первые ряды. Даже недостатки нашей инженерной среды говорят хотя и о больных отчасти, но и способных людях: пьянство, размах разгула, адюльтерство, большое самолюбие, сумасшествия, постоянные самоубийства... Среда, во всяком случае, исключительная, а особенно наша строительная. Если вы по постройке пойдете, – вот всегда такое же напряжение. Калифы на час, на мгновение люди сходятся, сближаются в общей работе и опять расходятся. И все это вокруг одного священного кумира, где все страсти сильнее разгораются.

– Люди гибнут за металл... – приятно и верно пропел Борисов.

– Вот чему человека учит, – уже совсем пьяным голосом отозвался инспектор, – говорю вам, господин Карташев, лучше идите водку пить, потому что из всех погибелей это самая благородная и приятная. Там деньги, женщины, молодость – все изменят, а водка всегда найдется, если даже дойдешь и до Ломаковского...

Инспектор пригнулся и с своей грубой, циничной манерой спросил Карташева:

– Ломаковского знали?

– Нет.

– Наш инженер тех времен, когда наше ведомство еще именовалось министерством публичных работ и общественных зданий. Этот Ломаковский спился и в последнее время просил милостыню, протягивая руку и говоря: «Помогите благородному человеку, которого вчера выгнали из общественных работ, а сегодня из публичных зданий!» И ему всегда давали, и до конца дней своих он был пьян...

Инспектор помолчал, ткнул носом и пробормотал:

– Такой вот и я буду...

Борисов, наклонившись к уху Карташева, шептал:

– В свое время дельный человек был. Написал прекрасную книгу по новому совсем

вопросу – сопротивление малоисследованных материалов.

Когда наконец подали обед, инспектор заплетающимся языком, сделав широкий жест, сказал:

– Есть больше не буду, а вот если б минут на двадцать прилечь где-нибудь...

Принесли сена, и инспектора уложили на него в соседней комнате.

– Вот связался, – досадливо проговорил Борисов, – как теперь его повезешь домой? Придется, как тушу, уложить на паровоз и везти напоказ.

Когда инспектор ушел, Сикорский лукаво подмигнул Борисову и, показывая на Карташева, сказал:

– Расспросите-ка вы его, как он за три фунта сала пятьсот рублей заплатил...

И Сикорский весело рассмеялся.

Борисов, выслушав, сказал:

– Что ж тут смешного? Савельев дороже – жизнью заплатил. И, конечно, надо было войти в его положение и заплатить ему по стоимости, а не придерживаться мертвой формальности.

– Не мое ж это, а Полякова достояние.

– Не нанялись же вы у этого Полякова разорять и отправлять на тот свет людей? Наконец, могли бы запросить главную контору, и, я думаю, вы и сами не сомневаетесь, какой ответ через час был бы... И Савельев не спал бы теперь в земле. И как хотите, а на вас и вина в его смерти... – И, слегка заикаясь, Борисов кончил: – И ничего смешного и веселого в этом нет.

К концу обеда инспектор уже вышел и с виду был совершенно трезвым, но угрюмым и молчаливым.

– Ну, что ж, поели, можно и ехать? – спросил Борисов.

– Я готов, – мрачно ответил инспектор.

– На дорожку, ваше превосходительство, – предложил Сикорский.

– Не буду, – отрезал инспектор.

Он сухо, не смотря, едва протянул руку Сикорскому и Карташеву и полез на паровоз.

Борисов шепнул, кивая на инспектора:

– Как вам нравится? Пьян ведь, как стелька, был, а через полчаса – ни в одном глазе, и водой голову не поливал, если не считать рюмочку водки, которую унес с собой...

– И в которую влил несколько капель нашатыря, – сказал Бызов.

– Да, так вот что! А вы меня еще называете опытным инженером, – обратился Борисов к Карташеву, – а я, можно сказать, мальчишка и щенок вот даже перед таким Володенькой, который и не курит и не пьет...

– Ну, ну, полезай, полезай... – толкал Бызов подымавшегося на паровоз Борисова.

– Ну-с, до свиданья, как говорят в наших палестинах, – кивнул Борисов, сидя уже на тендере, когда паровоз тронулся в обратный путь.

Когда паровоз скрылся, Карташев слегка разочарованно сказал Сикорскому:

– Ну, вот и открыли дорогу.

– Открыли, – пренебрежительно махнул рукой Сикорский. – Теперь начнут шляться, благо за проезд не платить, а прогоны получать... А как вам понравился этот урод, пьяница инспектор? Ведь совестно смотреть... И вот большинство из ваших такие же. А как пьют они при настоящем открытии дороги? На позор всем едут не люди, а мертвые тела. И Бызов такой же: мальчишка совсем еще, а пьет, как в бочку...

– Но он не был же совсем пьян.

– Организм еще не ослаб, но выпил он больше инспектора. Ай, ай, ай... – педантично качал головой Сикорский.

Карташев печально слушал, и в памяти его вставали Савельев, подряд Сикорского, обсчет молдаван, и ему хотелось бы теперь уехать вместе с теми, кто был на паровозе. Зачем он не поехал в самом деле? Увидел бы Лизочку, Марию Андреевну, провел бы прекрасно вечер, послушал бы музыку.

И вдруг паровоз опять показался и быстро приближался к станции.

– Его превосходительство портфель свой забыл, – крикнул Борисов.

– А что вы скажете, – спросил Карташев Сикорского, – если я тоже махну с ними в город?

– А когда назад?

– Завтра утром.

– Поезжайте.

– Ура!.. – весело крикнул Борисов, когда Карташев сообщил, что тоже едет.

В Кирилештах, где была главная контора Бызова, слезли Бызов и инспектор, а Борисов и Карташев поехали в Бендеры.

Исчезла недавняя, еще кипучая жизнь линии. Теперь безмолвно залегло полотно железной дороги, и было по-прежнему тихо и безлюдно кругом.

– Собственно, рабочих дней на постройку всей дороги будет употреблено сорок три дня, – говорил Борисов. – Это первая в мире по скорости постройки дорога.

Пахло осенью, и печально садилось солнце, освещая уже убранные пожелтевшие поля, полотно дороги, сверкавшие на нем рельсы. Гулко разносился кругом шум несущегося паровоза, извивавшегося вдоль речки холодной стальной лентой, точно застывшей в закате.

– Да, – сказал Карташев, – точно волшебники какие-то пришли, сделали эту дорогу и исчезли. Не все исчезли: Савельев останется... Я никогда себе не прощу, что своевременно не вдумался в переживавшуюся драму...

– Да, да, это было непростительное легкомыслие со стороны и вашей и Сикорского. И вовсе не то, что вы там сало ели, – это чепуха, – а то, что раз вы изо дня в день видели, что человек работал и труд его не оплачивался, то вы и должны были вытащить его из капкана, в который он попал.

– Конечно. – у него, несчастного, остались жена и дети.

– Они где?

– В деревне, у меня есть адрес, я пошлю и им...

– Да что вы пошлете?! – вспыхнул Борисов. – Нужно учесть по стоимости работу Савельеву, и разницу наша контора перешлет его жене.

Борисов вынул записную книжку и что-то записал.

– Сикорский завтра же получит официальное предписание сделать это.

– Конечно, – говорил Карташев, – теперь все совершенно ясно, и если бы мои мысли не были связаны сознанием, что я ел у него это несчастное сало...

– А все потому, – горячо перебил Борисов, – что люди никогда не умеют стать выше переживаемого мгновенья. И им кажется тогда, что самое ужасное уже случилось. А отвлекитесь от мгновенья, взберитесь на бугорок, всмотритесь спокойно в даль, и Савельев жил бы... Отвратительна эта проклятая вечная слепота этого эгоистичного «я». Это «я» я так ненавижу, что дал себе клятву никогда не жениться, потому что семья – источник этого отвратительного «я», основа всей нашей яевой скорлупы: я своего Ивана только потому, что он мой, будь он дурак из дураков, а посажу всем остальным Иванам на шею – на их и на его погибель. Не может человечество при таких условиях прогрессировать, не может быть добрым, великодушным, альтруистичным до тех пор, пока не будет разрушено братство плоти и не заменит его братство духа. А до тех пор всё и вся, от верху до самых низов, все люди развращены. И днем обновления человечества, днем новой жизни будет тот день, когда воспитательные дома заменят семью!

Паровоз в это время пронесся мимо дач.

– Борис Платонович, – сказал в ответ Карташев, – я еду, собственно, к Петровым, может быть, и вы заедете?

– К Петровым? К этим поклонникам семейного культа? Боже меня сохрани и избави... Я живу так, чтобы у меня слово не расходилось с делом. Вот вашу сестру, Марию Николаевну, я признаю: она, как и я, ненавидит семью, а с матушкой вашей мы уже ругались... Нет, я шучу, конечно, и не зайду к Петровым, потому что накопилось, наверно, за

день много дела. Бывайте здоровы и не забывайте.

Карташев попрощался и слез у дома Петровых.

С террасы весело закричала Марья Андреевна:

– Кто, кто, кто? А вы?! – обратилась она к уезжавшему Борису.

Но тот только весело разводил руками.

Пока Карташев переходил улицу, из калитки вышли и Марья и Елизавета Андреевны.

Елизавета Андреевна еще похудела, сильнее чувствовалась ее хрупкость, еще больше стали ее глаза. Она весело смеялась, энергично пожимая руку Карташева, и много мелких морщинок обрисовалось около ее рта.

Карташев радостно держал ее руку, смотрел в глаза и говорил:

– В Крым, Крым надо вам ехать.

– Да еду, еду, – махнула она свободной рукой.

Когда пришли на террасу, Марья Андреевна сказала:

– Пока вам дам чаю...

– Со сливками?

– И даже с лепешками.

– О-о!

И, подавая все Карташеву и садясь возле него, она сказала:

– Ну, рассказывайте, как там живете... все подробно... Я люблю, чтобы мне так рассказывали, как будто я там сама жила...

Вечер прошел быстро и весело. Сестры пели, играли, пришел Петр Матвеевич и сел ужинать.

Прощаясь, Петр Матвеевич, скупой обыкновенно на слова, сказал, когда дамы ушли:

– Валериан – эгоист: заграбастал себе все с подряда, показал вам кукиш с маслом и несчастного Савельева так ни за что ни про что отправил на тот свет.

– При чем тут Валериан Андреевич? – горячо защищал его Карташев. – От подряда я сам отказался, и нет той силы, которая заставила бы меня согласиться, а в смерти Савельева произошло несчастное недоразумение, в котором...

– И вы и Валериан вышли прежде всего типичными русскими чиновниками; по такому-то пункту, по такому-то параграфу, а если жизнь прошла под этим пунктом, то это уж не ваше дело. Вы-то хоть продукт своей страны, а Валериан-то нос ведь дерет: я заграничный, я свободный от формы человек, а на деле еще хуже нас, грешных. Ну, идите спать, – закончил Петр Матвеевич.

XIX

Возвращаясь на другой день утром назад на линию, Карташев поздно спохватился, что ничего не купил в подарок Дарье Степановне из того, что обещал и собирался в разное время купить ей.

Забыл он как-то совсем об Дарье Степановне, совершенно вылетела она из головы при встрече с Петровыми. И теперь он жалел и придумывал законную причину.

«Да скажу просто, что приехал поздно, уехал рано: магазины были закрыты».

Но это все-таки не успокаивало Карташева, и он чувствовал угрызения совести в отношении Дарьи Степановны. Правда, она не предъявляла к нему решительно никаких требований, но она была очень хороший, скромный человек, и это налагало, помимо требований с ее стороны, ответственность за свои действия и с его, Карташева, стороны. Иногда ему приходила мысль в голову жениться на ней, и тогда Аделаида Борисовна вставала перед ним. Аделаиду Борисовну он боготворил какой-то неземной любовью, – союз с ней казался ему недостижимым счастьем. Дарью же Степановну он, в сущности, и не любил даже, а только привык уже и уважал.

Несколько дней тому назад приехал к ним и другой телеграфист. Это был молодой человек, желтолицый, плохо сформированный. Но, очевидно, более опытный, потому что

Дарья Степановна беспрекословно подчинялась его авторитету.

Теперь он дежурил ночью, а Дарья Степановна днем. Дарья Степановна пока, до перевода телеграфа на станцию, жила по-прежнему в конторе, занавесивши в углу свою кровать, и на той же кровати высыпался в течение дня телеграфист. Нанимать же на деньги из жалованья квартиру не было средств. Телеграфист получал тридцать пять рублей в месяц, Дарья Степановна двадцать пять рублей. И почти все деньги, при существовавшей дороговизне, уходили на еду. Карташев, правда, предлагал Дарье Степановне денежную помощь, но она наотрез отказывалась.

Таким образом, в течение этих нескольких дней с приезда телеграфиста Карташев фактически был разлучен с Дарьей Степановной.

То, что он ничего не купил ей, усилило в нем к ней нежное чувство, и Карташев серьезнее других раз стал обдумывать вопрос, не жениться ли ему на Дарье Степановне.

Когда он подъезжал к дому, вопрос был решен: жениться и сегодня же сделать ей предложение.

Увидев ее на завалинке, он остановил паровоз и весело пошел к ней навстречу.

– Я так соскучился по вас, что мне кажется, – сказал он, здороваясь с ней, – что уже сто лет, как не видел вас.

– Правда? – вздохнула Дарья Степановна, – а я думала, что вы уж совсем и забыли меня.

– Слушай, Даша, – сказал Карташев, садясь рядом с ней и держа ее руку, – что нам тянуть? И ты и я свободные люди, поженимся...

Дарья Степановна быстро опустила голову и долго молчала. Она заговорила глухим, дрожащим голосом:

– Я уже выхожу замуж... за этого телеграфиста. Я хочу вас просить быть у нас шафером. Что было – то было – у него, у меня; мы ответственны друг перед другом только за то, что будет. Еще я к вам с просьбой, – и мне очень совестно. Дайте мне взаймы сто рублей на свадьбу. Вы, может быть, не верите мне, так поверьте: я каждый месяц буду вам выплачивать по три рубля...

Карташев торопился освоиться с новыми ощущениями, – ему было и обидно и легко в то же время, – и он ответил, упрашивая взять у него больше денег и не считаться с отдачей.

Дарья Степановна выслушала и покачала головой.

– Что вы меня обижаете, Артемий Николаевич? Вы хотите, чтоб я себя не уважала? Я знаю, что вы без умысла это... Сделайте, как прошу, и больше не говорите ничего.

Карташев покраснел, сконфузился и, целуя ей руку, сказал:

– Больше не буду. Сто рублей сейчас передать?

– Если есть.

Карташев передал деньги.

– Расписку вам выдадим муж и я. Мы хотим в воскресенье и венчаться. А как вы думаете, Сикорский согласится тоже быть шафером?

– Конечно.

– Я сегодня же поеду в город.

– Вы поезжайте с этим паровозом, а воротитесь с балластным. Он выедет сюда в семь часов вечера из Бендер, я дам вам записку.

В воскресенье состоялась свадьба.

После свадьбы был обед у Сикорских, и прямо с обеда новобрачные уехали на станцию, в свое новое, очень скромное помещение.

Вечером опять светила луна, но Карташев уже один сидел на своей завалинке, смотрел на реку, смотрел на соседний пустой теперь дом бывшей телеграфной конторы, где уже никто не сидел на завалинке, куда не пойдет он больше, и чувствовал пустоту и одиночество.

«Теперь, – думал он в утешение себе, – когда я опять свободен, больше не вкручусь ни в какую историю: или Аделаида Борисовна, или никто».

Он вздохнул и подумал:

«Слава богу, и нет никого. Даже у Лизочки уже есть жених».

XX

Теперь он ездил по дистанции на балластных поездах, с тоской и грустью вспоминая былое оживление линии. Тогда казалось таким необходимым его присутствие, заболел он, умри, тогда все дело остановилось бы. А теперь он никому больше не нужен был. Балластная возка – единственная работа на линии – шла и без него.

Сидя на тормозе, ему оставалось только переживать все это бурное, такое еще недавнее прошлое.

Только ему одному, впрочем, понятное прошлое. Что скажет всякому другому, кто будет проезжать здесь в поезде, та дорожка, уходящая в лес, те бугорки, которые он раскапывал, отыскивая песок, остатки бывших барачков, где когда-то жили и волновались своими мгновениями люди, где всегда с нетерпением ждали его, Карташева, когда казалось ему, что только из-за него и стояла вся работа. А там крестик простой деревянный на могиле, где зарыт несчастный Савельев, едва видный с линии.

И конец дистанции, и начало, где когда-то качался Карташев, как маятник, между двумя соблазнами, были особенно тяжелы теперь по воспоминаниям. Здесь всегда – образ повесившегося Савельева, там, на станции, Дарья Степановна с мужем, теперь всегда настороженные и даже враждебные к нему.

И прозрачная осень, с обычной печатью грусти и отлетающей жизни, еще сильнее нагоняла чувство одиночества и меланхолии. Правда, приятной, всегда с стремлением вдаль.

В этой дали ярче всего другого вставал образ Аделаиды Борисовны. К ней тянуло, как к чему-то единственно близкому. Для всех других и всего другого – он всегда чужой и только временами как будто и близкий и нужный человек.

«Борисов говорит, что семья – это основа всякого эгоизма, всякого зла, – думал Карташев, – а между тем семья и самый главный двигатель человека. Без сознания, что ты кому-то нужен, необходим, нет энергии. Везде и во всем заменят меня и только у той, которая полюбит, никто не заменит. Для нее работать, жить, радовать ее своими успехами...»

В таком настроении, возвратившись однажды с линии, Карташев получил телеграмму от Пахомова, вызывающую его в Бендеры.

Карташев показал эту телеграмму Сикорскому, и тот, подумав, сказал:

– Я думаю, что это сигнал: «К расчету стройся». Я вам советую ехать со всеми вещами.

В тот же вечер Карташев выехал, сев на поезд не на станции, а в Заиме. Провожали его только Сикорский и Тимофей. Тимофей завтра тоже получал расчет, причем ему не в счет выдавалось сто рублей наградных, да успел он скопить рублей около ста.

– Зайцем проеду, – говорил Тимофей, – в Самару рублей за десять, а как иначе? – а остальные денежки домой привезу, водкой стану торговать, а как иначе?

– А поймают да в тюрьму посадят? – спрашивал Сырченко.

– Не поймают, – тянул Тимофей, а Сырченко весело смеялся.

Вот и не видно и не слышно больше ни Тимофея, ни Сырченко.

И они – уже невозвратное прошлое.

Вот уродливо торчащая из-под насыпи деревянная труба, которую ошибочно разбил Карташев и которая теперь осталась немой, но красноречивым памятником его инженерного искусства.

А вот с провалившейся крышей будка, крышу которой слишком усердно Карташев смазывал, предохраняя ее от пожара, глиной. И она тоже памятник.

И водокачка на станции – разбитая по ошибке на полторы сажени дальше от пути, вследствие чего ее питательная труба вышла уродливой длины.

«Только такие памятники и остались, только они и бросаются в глаза, и будут по ним судить обо мне, а все остальное: напряженный труд, любовь, сотни всяких удачных

комбинаций... кто об этом когда-нибудь узнает, это зачет и кому об этом расскажешь? Только Деле!..»

И сердце Карташева тревожно и радостно билось.

Предположение Сикорского оправдалось только отчасти.

Карташев действительно отчислялся от постройки, но назначался одновременно в эксплуатацию помощником начальника участка самого трудного, от Галаца до Троянова Вала.

– Начальником участка там Мастицкий. – говорил Пахомов, – один из самых дельных наших инженеров, но он все болеет, и если не подкрепить его надежной силой, то в конце концов он перервется. Мы посылаем вас через Одессу морем, так как у Савинского тоже будет к вам поручение.

За постройку Карташеву выдали, как премию, полугодовое жалованье и новые подъемные, как уже эксплуатационному инженеру. Вместе с этим ему возвратили уплаченные им мяснику за Савельева четыреста двенадцать рублей, так как, по учету работ Савельева, ему пришлось получить около трех тысяч, и эту разницу, за вычетом выданных Сикорским и Карташевым, главная контора уже отправила вдове Савельева.

Данилова уже не было в Бендерах.

Между прочим, Карташев узнал, что Дарье Степановне, как и всем телеграфистам, премии никакой не будет дано.

– Ну, что – они без году неделю служили, – пренебрежительно бросил главный бухгалтер.

– Да ведь и вся дорога без году неделя строилась, – отвечал Карташев, – а получил же я почти двухгодичное жалованье, да больше чем на тысячу процентов увеличено мое содержание.

Бухгалтер пожал плечами.

– Дело коммерческое. Такова польза, значит, от вас, так расценена она, а какая же польза от телеграфиста? Работа той же лошади, – не он, так другой.

Карташев узнал также, что Сикорского совсем отчислят, а Петров останется начальником первого участка.

У Сикорского хотя и купили его карьер за двадцать пять тысяч, но были им недовольны и Пахомов и Борисов.

Борисов говорил:

– Совсем торгаш-молдаванин. Теперь еще к нам поступило прошение этих молдаван, что он заставлял их вместо куба куб десять сотых возить. Я не думаю, чтобы после всего этого Сикорский где-нибудь на другой дороге был бы строителем. Да этого ему и не нужно: тысяч сто он имеет и будет через несколько лет миллионером-подрядчиком.

– Не будет, – отвечал Карташев, – для подрядчика у него не хватает эластичности, покладистости, приниженности: Сикорский самолюбив и строптив.

– Ну, частное дело придумает: голова хорошая, но не думаю, чтоб у Полякова он еще работал.

Остальной день до вечера, до отхода поезда в Одессу, Карташев провел у Петровых.

Петров, потирая руки и смеясь, говорил ему:

Вот теперь вас запрягут. Участок Мастицкого, говорят, один сплошной ужас: там десятки верст пльвунов, постоянные обвалы, пятнадцать верст, между Рени и Галацем, линия идет разливом Дуная, и опытные люди говорят, что при той высоте насыпи и тех укреплениях ее, какие имеются, насыпь не выдержит весеннего разлива Дуная. Словом, будете довольны. Я просил было вас к себе, просил и Бызов, но решили заткнуть вами самую главную дыру. Вот-с, в каком вы почете на линии у нас.

Елизавета Андреевна уже уехала с своим женихом в Крым, и Марья Андреевна, подняв плечо, грустно говорила:

– Уехала, уехала наша птичка.

А Петр Матвеевич, всегда правдивый и прямолинейный, махнул рукой и сказал:

– Дело ее совсем дрянь: она не переживет зимы.

Но увидев, что Марья Андреевна, уткнувши лицо в платок, заплакала, Петров сделал страшное лицо Карташеву и, с отчаянием махнув рукой, стал беззвучно хлопать себе по губам.

– Ну, я окончательно не верю вам, – сказал Карташев, – доктор вам, что ли, это сказал?

– Нет, не доктор.

– А вы что ж за доктор?

– Он всегда каркает, – ответила, плача, Марья Андреевна.

– Это верно, что я всегда каркаю, – согласился Петров.

Марья Андреевна вытерла слезы и горячо заговорила:

– Он всегда видит только одни ужасы: в этом отношении жить с ним – каторга. Если солнце светит, он думает о дожде; если какая-нибудь радость – он ищет отрицательной стороны и до тех пор не успокоится, пока не сведет на нет всю эту радость. Я его называю гробокопатель.

– Э-хе-хе, – вздохнул Петр Матвеевич, – прожила бы ты с мое, посмотрел бы я, как тебя бы жизнь вышколила...

– Жила и не меньше твоего перевидела.

– За братниным плечом не совсем-то это то... Мой-то приемный отец был биндюжник. Моя родная мать хотела было меня со скалы в море бросить, а тут и подвернись этот самый биндюжник. Детей с женой у него не было, он и усыновил. Так вот по какой круче я пошел царапаться. В двенадцать лет и отец и мать приемные умерли, и я уж совсем один остался. Кончил и гимназию и техническое училище и пережил то, чего ни один золоторотец не переживет. Ел требушину черную, как сапог, и вонючую, как...

– Да брось...

– Брось так брось. Но только, как увидишь с этой стороны жизнь, то уж перестанешь и в бога, и в людей, и во все радостное верить... А уж сверкнет и жизнь радостью, так уж потом так отомстит, что будь она проклята и радость.

Марья Андреевна, слушавшая было с тоской и даже ужасом, рассмеялась и, показывая рукой на мужа, сказала:

– Вот сокровище!

Карташев домой не телеграфировал, и приезд его был полной и приятной неожиданностью.

У родных он провел два дня, пока Савинский приготавливал нужные для Букареста бумаги.

С этими бумагами и соответственными инструкциями командировался Карташев к главному инженеру, заведовавшему тыловыми сообщениями армии.

Командировка была почетная, и Карташев говорил домашним:

– Я какой-то, непонятной мне самому силой, все выше и выше, как на крыльях, поднимаюсь на гору.

Может быть, думал Карташев, отчасти влияет здесь то, что Савинский сошелся с его семьей и ухаживал как будто за Маней.

Но Савинский случайно, но как будто ответил на мысли Карташева, по случаю замечания Аглаиды Васильевны, что слишком балуют ее сына.

– Мы никого не балуем, – ответил ей Савинский. – О, вы нас еще совсем не знаете. Мы – самая обыкновенная, самая настоящая торговая лавочка, преследующая только свои интересы, учитывая все, что может принести нам выгоду. И все мы приказчики нашего дела. Хорошим приказчиком дорожим, плохого без сожаления гоним. Я еще на днях удалил такого. Он мне говорит: «Николай Тимофеевич, это несправедливо». А я ему ответил: «Кто вам сказал, что я хочу быть справедливым? Я хочу быть только приказчиком и соблюдать выгоды своего хозяина». Соображения, почему я посылаю Артемия Николаевича, следующие. Начальник тыловых сообщений – прекрасная, благородная личность, преданная своему делу. В лице Артемия Николаевича он встретит такого же преданного, такого же

неподкупного, одним словом, своего alter ego [двойника (лат.)], и это сейчас же почувствуется и установит тот характер отношений, который и нужен. Как видите, мы всё, вплоть до наружности, учитываем и из всего извлекаем свою выгоду. И здесь только эгоизм, и ничего другого.

Когда уехал Савинский, Маня говорила:

– Я не сомневаюсь, что он говорит совершенно искренно. Он именно только эгоист дела, и, кроме этого, у него ничего нет в жизни. Его фантазия, что ему надо любить, – чушь: ничего ему больше, кроме его дела, не надо. Разве только увеличения размеров этого дела: три дела, десять дел, вся Россия.

– Он будет министром, – согласилась Аглаида Васильевна.

– Я тоже думаю, что будет, – согласилась Маня, – потому что министры, мне кажется, из такого теста и делаются: «Кто вам сказал, что я хочу быть справедливым?»

– Ну, а Борисов как вам понравился?

– Умный, дельный, – ответила Аглаида Васильевна, – установившийся вполне...

– Кто к нам подойдет, – вставила Маня, – а уж мы ни к кому не приспособимся: уж извините... С Аней они очень подружились.

– Что ж? – согласилась мать. – Аня подошла бы к нему.

– Думать, как хочет, не мешала бы, – вставила опять Маня, – а рубашка чистая всегда была бы.

– И рубашка и обеды, – говорила Аглаида Васильевна, глядя роскошные русые волосы Ани, – и ровная, ласковая, как ясный день. Там пусть мужа на трон посадят другие, – пусть сбросят его в самую преисподнюю, а с ней все тот же ясный день.

– Вот, вот – кивнула Маня, – теперь ты, Аня, заплачь...

Аня, взволнованно оттопыривая пухлые губки, с глазами, полными слез, ответила:

– Глупости какие, с чего я буду плакать? Ни о каком замужестве я не думаю, и стыдно, чтобы мне, гимназистке, и думать...

– Умница! – поддержала ее мать.

Поделился Карташев с Маней относительно планов своих по поводу Аделаиды Борисовны.

– Теперь у меня, – говорил Карташев, – скопилось уже до пяти тысяч. Я буду жить скромно и к весне скоплю еще тысячу. Жалованья я получаю три тысячи шестьсот рублей, квартиру, прислугу, освещение, отопление. Эту зиму еще нельзя, надо осмотреться, а весной, когда она придет, чтоб ехать отсюда за границу, тогда...

– Что тогда?

Карташев, растягивая слова, ответил:

– Тогда, может быть, я и решусь.

Маня расхохоталась и махнула рукой:

– Да никогда не решишься! Ты решительный только на глупости, а на настоящее, хорошее – ты всегда будешь так только, в уме...

– Посмотрим, – ответил Карташев.

– Сказал слепой, – кончила Маня.

– Ну, а тебе удалось получить с Савинского и Борисова?

– Так я тебе и сказала.

– Да я, что же, выдавать пойду, что ли?

– Хорошо, хорошо: хоть умри, не скажу.

– А твои и вообще ваши дела как?

– Как будто просвет есть, в смысле выхода.

– Какого?

– Все знать будете, скоро старенькие будете. Поживите еще, бог с вами, так, молоденьким.

– А тебя в каторгу когда сошлют?

– Не замедлю известить...

На поездку в Бухарест Савинский назначил и выдал Карташеву тысячу рублей.

Карташев смущенно говорил матери:

– Бухарест с проездом, самое большее, отнимет у меня десять дней: это выходит, кроме жалованья, по сто рублей в день одних суточных. Страшные деньги!

– Большие деньги, – согласилась Аглаида Васильевна.

– Ну, эти деньги я прокучу!

И Карташев поехал в город покупать подарки.

– Много истратил? – встретила его Маня.

– Рублей семьсот.

– А остальные мне давай.

– Бери, – согласился Карташев.

XXI

На пароход Карташева провожали его родные и родные Аделаиды Борисовны.

С Евгенией Борисовной у Карташева установились дружеские отношения. Несмотря на то, что Евгения Борисовна была моложе его, она держала себя с Карташевым покровительственно. Делала ему замечания, и особенно по поводу его трат, внимательно расспрашивала о служебных успехах его и была довольна.

– Отсюда моя голубка три месяца назад улетела, – говорила Аглаида Васильевна, вспоминая отъезд Зины. – А теперь и молодой орел мой улетает.

– Орел, – фыркнул Карташев, – просто пичужка.

Мать любовно смотрела на сына.

– Это даже и не я, а Данилов так назвал тебя.

– Мама, – вмешалась Маня, – а Делю вы называете голубкой...

– Голубка, белая голубка...

– Ну что же выйдет? Орел и голубка? Орел съест голубку...

Уже светлая полоса вьется и, пенясь, бурлит, переливая изумрудом и бирюзой. Машут платками с берега, машут с парохода, и между ними, затерявшись среди других, и Карташев. И не видно уж лиц, только платки еще белеют.

Все слилось в одно, не видно больше ни лиц, ни платков. Понемногу уходят пристань, мачты, город на горе. Слегка покачиваясь, все скорее и скорее уходит пароход в синеву безбрежного моря и весело охватывает запах моря, канатов, каменного угля. Звонят к завтраку, и уже хочется есть все, что подадут, все те южные блюда, к которым привык организм: морская рыба, малороссийский борщ, кабачки, помидоры, баклажаны, фрукты.

В числе пассажиров красивая брюнетка с серыми глазами, с черным пушком на верхней губе, губы полные, сочные, и, когда они открываются, видны белые, красивые, маленькие зубы.

В глазах иногда огонь, иногда что-то гордое, вызывающее. С ней молодой моряк. За столом Карташев сидел против них и незаметно следил за их отношениями.

Нет сомнения – это жених и невеста. Она ест и иногда останавливает спокойный взгляд своих серых с большими черными ресницами глаз и смотрит на Карташева. Карташев смущается, не выдерживает взгляда, отводит глаза на других пассажиров и опять украдкой всматривается в невесту и жениха, стараясь подслушать их разговор, угадать его по движению губ, жестам. Иногда является в нем вдруг желание прильнуть губами к ее полным, красным губкам, охватить ее стан, не полный, но упругий, склонный, может быть, в будущем к полноте. От этих желаний и мыслей кровь прилиwała к голове и лицу Карташева, и, уткнувшись в тарелку, он начинал торопливо есть.

Вошли в Дунай, и уже без всякой качки, плавно двигался пароход.

Вот налево синеют горы Добруджи, а вот направо теряется в низменных берегах Рени – будущее местожительство Карташева, – страшно лихорадочное, нездоровое, где, от напряжения и всевозможных болезней, тает теперь его начальство, начальник участка

Мастицкий.

Вот и Галац, чистенький, словно умытый городок с веселыми улицами, с массой кофеен, где пред ними на улице стоят столы, а за ними сидит множество народу и пьют ападульчеце: стакан холодной, как лед, воды с блюдечком варенья.

В Галаце остались моряк и его невеста, и Карташеву казалось, что она с сожалением оставляла пароход. Что до Карташева, то он очень вздыхал, когда за столом уже не встречал ее серых, уже очаровавших его, иногда ласковых глаз.

Вместо нее сидела типичная румынка: среднего роста, уже начинающая полнеть, с смуглым лицом, черными, как смоль, глазами, с густыми, черными, немного жесткими волосами и такими же полными, как и у невесты, губами. Но рот был шире, зубы были прекрасны, но крупнее тех, и, когда они открывались и глаза смотрели знойно, казалось, немилосердно жгло южное солнце.

От невесты веяло прохладой и только изредка каким-то намеком на будущее лето, от этой же – жгучим летом и истомой его.

К вечеру румынка и Карташев познакомились и разговорились на французском языке, до поздней ночи проболтали они на палубе, а ночью Карташев пробрался в каюту румынки.

Она сообщила ему, что она жена офицера, который теперь с румынским корпусом под Плевной. Она рассказывала, что у них, в румынском обществе, чуть ли не предосудительной даже считается супружеская верность и что в каждой почти семье имеется друг дома. Это почти считается признаком хорошего тона, хотя обычай не румынского, а скорее французского происхождения.

По приезде в Бухарест она пригласила Карташева посетить ее. Он был у нее и познакомился с ее матерью, братом и еще с одним господином средних лет, угрюмо и подозрительно смотревшим на Карташева, вследствие чего Карташев сообразил, что это и есть друг дома. Дальнейшие свидания с румынкой происходили уже в гостинице, где остановился Карташев, в его номере, куда румынка приходила под темной вуалью и, снимая уже в номере эту вуаль, весело и радостно смеялась, говоря:

– Так любить гораздо, гораздо интереснее.

Когда наступило время разлуки, они расстались благожелательные и равнодушные друг к другу. И каждый за другого был спокоен, что скоро утешится.

Карташев был в затруднении, как и чем выразить свою благодарность румынке за приятно проведенное время, но румынка выручила его. Болтая много и обо всем, она, между прочим, указала Карташеву, что на обязанности друга дома лежит удовлетворение разных мелких прихотей жены, как-то: покупка драгоценностей, кружев, зонтиков, перчаток, духов.

Карташев предложил было румынке вместе с ней отправиться к ювелиру, но она энергично и с обидой отказалась. Это не принято, это неприлично, и что бы сказали о ней все, знавшие ее?

Когда Карташев поднес ей золотые часики с цепочкой, о чем она тоже намекнула, она ласково улыбнулась и сказала:

– У вас хороший вкус – качество, которым должен всегда отличаться друг дома. А вот у мужа, – прибавила она, – вкуса никогда не бывает.

Но когда Карташев после часов поднес ей и кольцо с маленьким, но очень хорошим рубином, она была совершенно растрогана и, горячо целуя Карташева, сказала, обращаясь в первый раз на «ты» к нему:

– Ты великодушный!..

И все время она восторгалась рубином.

– Это мой самый любимый камень и очень хороший. Хороший рубин должен быть похож на свежую каплю крови, смотри вот теперь: сверкает, как настоящая кровь... У-у! Это хорошо! Представь себе такую картину: ценой жизни, истекая кровью, он все-таки добивается своего, и целует, и обнимает, и умирает...

И черные глаза румынки сверкали при этом, как черные бриллианты.

Не так успешно шли дела у Карташева по возложенному на него Савинским

поручению.

Главный инженер, очень простой, без всяких претензий человек, несмотря на разницу лет и свой генеральский чин, держал себя с Карташевым как товарищ, одного притом выпуска с Карташевым.

Он наклонял к Карташеву свое большое, в очках, лицо и объяснял, почему он должен был подать и подал уже в отставку.

– У вас несколько начальников, и каждый из них, не спрашивая вас, распоряжается, а вы отвечаете за все. И благо, если бы только старшие еще распоряжались: распоряжаются решительно все. Пьяный ротный – полный хозяин на линии, каждому начальнику станции грозит расстрелом, отменяет поезда, создаст невообразимый хаос, уйдет себе со своей ротой и утонет там где-то в армии. Ищи его, когда десятки других продолжают хаос...

– А кто теперь главный инженер?

– Генерал генерального штаба.

Инженер махнул рукой.

– Они всё знают, они специалисты ведь по всему...

Карташев счел долгом все-таки ознакомить бывшего главного инженера с своим поручением и очень пожалел, что этот главный инженер уже оставил свой пост, так как, выслушав все внимательно, сделав несколько замечаний, он в общем одобрил все предположения и даже сказал, на какое количество поездов надо рассчитывать в сутки.

С генералом генерального штаба не так просто было увидеться. Надо было явиться в приемные часы и ждать очень долго, пока ввели Карташева в кабинет генерала.

Генерал принял Карташева стоя. Это был средних лет генерал, нервный, стройный, с красивыми глазами.

– Чем могу быть полезным? – встретил он Карташева, слегка выправляясь и поправляя свои аксельбанты.

Карташев начал объяснять.

Генерал слушал непривычную для его слуха речь штатского и, морщась, так всматривался в Карташева, точно ему были уже известны все его похождения с румынкой.

Когда Карташев кончил, он чувствовал, что никакого впечатления на генерала не произвел, почувствовал вдруг, что все то, что он сообщил генералу, – теперь уже не важно, а важно что-то другое, чего он, Карташев, не знал.

А может быть, генерал только делал вид, что слушал, и теперь, когда Карташев кончил, он, захваченный врасплох, был в затруднении, что ответить.

– Оставьте это письмо и эти бумаги у меня, – сказал генерал, – я должен над всем этим подумать, и приходите ко мне через три дня.

От генерала Карташев отправился к бывшему главному инженеру.

Тот махнул рукой и сказал:

– Не думаю, чтоб и через три дня он ответил вам что-нибудь путное: они ведь совершенно не в курсе дела, не понимают нас, штатских, и считают, что дело может только идти с людьми военными. Дай бог, чтобы я был плохим пророком, но я боюсь, что он начнет у вас ломку на свой военный лад.

Через три дня, когда Карташев явился опять к генералу, тот принял его уже в общей приемной и, едва протянув руку, лаконически сказал:

– Отправляйтесь к месту своего служения.

Карташев растерянно, виновато поклонился и поспешно вышел.

На улице он вздохнул всей грудью и подумал: «Довольно глупо все это, однако, вышло».

«Да, глупо, глупо», – досадливо твердил он себе, идя по красивым, оживленным улицам Букарешта. Сновали всех оружий военные, дамы, все почти такие же, как и его румынка, с черными и серыми глазами, смуглые, с роскошными черными волосами. Одни немного красивее, другие хуже, одни в экипажах, другие пешком. Военные жизнерадостные, возбужденные, хозяева жизни. Это так сильно и впервые почувствовал сегодня Карташев,

считавший до сих пор, что высший приз жизни – его инженерный мундир, доставшийся ему как-никак неизмеримо большим трудом, чем всем этим господам их мундиры. И какое-то злобное чувство закипало в его душе.

Когда он сообщил бывшему главному инженеру результат своего свидания с генералом, он сказал:

– Этого надо было ожидать. И все это только потому, что вы штатский: нет доверия штатским, – у них нет энергии военного, нет дисциплины военного, они не люди. И нас спасает только то, что среди военных нет еще никого, кто сколько-нибудь знает наше дело, и поэтому на эту войну всем инженерам, сидящим на действительном деле, опасаться нечего, пока только нас, старших, власть имеющих, они прогонят, но к следующей войне они подготовятся, и во всех этих железнодорожных батальонах наши инженеры скоро уступят место военным... Спасет вас и то еще, что ваша дорога все-таки частная, а посмотрите, что делается на Фраштеты Зимницкой: там наши инженеры, уже прикладывая руку к козырьку, рапортуют: «Доношу вашему превосходительству, что на вверенной мне дистанции все обстоит благополучно» и так далее.

– Что ж мне теперь делать? – спросил Карташев. – Ехать?

– Конечно. Отпишите Савинскому все, я на днях еду в Одессу, отвезу ему письмо ваше и сам расскажу ему.

Так Карташев и поступил, выехав на другой день по железной дороге в Галац.

Он был очень тронут тем, что румынка приехала проводить его. Она была очень в духе – получила письмо от мужа. Он отличился в сраженье, получил орден и назначен батальонным на место своего убитого начальника.

– Если так дальше пойдет, он может воротиться генералом. О, тогда со мной будет другой разговор: тогда кто угодно будет себе считать за честь быть другом дома.

Карташев поинтересовался, как ее друг дома отнесся к подаркам.

– Я их покажу ему, когда ты уедешь, иначе, сгоряча, он может наделать тебе много неприятностей. Я, конечно, ему не скажу об наших настоящих отношениях, скажу, что просто так себе ты поухаживал за мной, и в конце концов он и сам будет доволен, так как твои подарки припишут ему.

– Я никак не мог предположить, что ты приедешь на вокзал... Впрочем, постой: я купил было для сестры брошку...

– Нет, нет... больше не надо, не надо... Я ведь даже не смогу и поцеловать тебя больше за нее.

Но Карташев настоял, пошел в свое купе, куда звал и румынку, но она отказалась идти, и принес брошку.

– Право, это так мило с твоей стороны, ты такой добрый, и я очень и очень жалею, что ты уже уезжаешь... Постой... и я тебе дам на память...

Она торопливо порылась в своем ридикюльчике, достала маленькие ножницы и незаметно отрезала ими кончик локона сзади на шее.

Передавая Карташеву, она шепнула, вспыхнув:

– У меня больше всего в памяти осталось, когда ты, помнишь, целовал мою шею...

Карташева тоже обожгло вдруг это воспоминание об этом смуглом, красивом теле с густой черной растительностью на шее, и, когда уже поезд мчался по обработанным полям благословенной Румынии, он еще долго, держа в руках кончик локона, переживал недавнее прошлое. А потом он распустил зажатую руку, и волосы локона мгновенно исчезли, подхваченные ветром. А с ними стал блекнуть и образ румынки, и когда он приехал в Рени, то от румынки не осталось больше никаких воспоминаний, точно никогда ничего и не было у него с ней.

Мастицкий, больной, раздраженный, встретил Карташева очень негостеприимно.

– Черт их знает! Набрали этого народу и не знают, что с ним делать. Тут для одного нет работы, а они еще вас прислали.

Борисов, впрочем, предупредил Карташева, что Мастицкий злой и ревнивый

работник, поэтому слова его не очень огорчили Карташева.

И действительно, через несколько дней уже Карташев был завален работой выше головы, и, при всем нежелании, Мастицкий должен был, как за невозможностью вообще справиться с такой массой дела, так и за болезнью своею, уступить Карташеву много дела.

Хуже всего донимали Мастицкого ужасная дунайская лихорадка и глаза. Эти глаза – сперва один, потом другой – гноились, и Мастицкий начинал уже плохо видеть. Ему грозила слепота, если он не уедет серьезно лечиться в такие места, где имеются доктора-специалисты. Но он упорно, несмотря на настойчивые советы и местного доктора, и товарищей из управления, не хотел ехать в отпуск.

Когда Карташев пробовал заговорить о том же, Мастицкий, желтый, худой, страшный, в темных очках, приходил в настоящее бешенство и кричал на него:

– Зарубите себе на носу, что я не уеду и вам дела не передам, потому что вы с ним не справитесь! Хорошенько зарубите и бросьте интриговать!

– Как я интригую, Пшемыслав Фаддеевич?

– Знаю я – как и, поверьте, отлично понимаю, откуда ветер дует. И считаю это недостойным, гадким интриганством, на какое способны только русские.

– Я думаю, что вы признаете за мной право требовать удовлетворения, – отвечал Карташев, – и я требую от вас, чтобы вы сказали, в чем заключается мое интриганство?

– В чем? Письма пишете в управление, доносы строчите!

– Я ни одного еще письма никому, Пшемыслав Фаддеевич, не написал.

– Знаю!

– А я даю вам честное слово, что не писал. И вы не имеете права мне не верить.

– О своих правах я не вас спрашивать буду.

– В таком случае, как мне ни тяжело, но я потребую от вас настоящего удовлетворения.

– И требуйте и убирайтесь к черту! Но только одно: пока мы здесь на деле, ни о каком удовлетворении, конечно, не может быть и речи, потому что нас сюда послали не для удовлетворений наших личных, а для того, чтоб служить делу. А вот, когда нас обоих выгонят отсюда, тогда я весь к вашим услугам.

И всегда Мастицкий ворчал и был недоволен. Даже тогда, когда Карташев хотел ему помочь в чем-нибудь, подать, например, вовремя следуемое лекарство при промывке глаз.

Карташев к воркотне Мастицкого относился очень благодушно. Она его совсем даже не трогала, потому что он понимал, что Мастицкий совсем больной и несчастный человек. Не сомневался он и в том, что Мастицкий в душе все-таки ценил его работу.

С другой стороны, он глубоко уважал и знания, и способности, и самоотверженное трудолюбие Мастицкого. Этого самоотвержения он и не понимал: человеку грозила слепота, а он, вопреки всякому здравому смыслу, не хочет вовремя захватить болезнь.

Еще более привязался и полюбил Карташев Мастицкого, когда однажды узнал от его соседа по участку – инженера Янковского, приятеля Мастицкого, – о том, что Мастицкий потерял невесту, которая вышла замуж за другого. Этот разрыв произошел незадолго до приезда Карташева. Янковский говорил, что если б Мастицкий сам поехал бы, то, вероятно, не дошло бы до разрыва, но Мастицкий не хотел дела бросать и уже болен был.

Сам Янковский был веселый дылда, вечно скалил свои большие, белые, как снег, зубы и на всю воркотню Мастицкого отвечал только добродушным смехом.

И Карташев в своем обращении с Мастицким стал подражать Янковскому.

В общем, это помогало, но тем сильнее иногда накалило раздражение в душе Мастицкого и резко прорывалось наружу. И всегда неожиданно, когда Карташев думал, что теперь уже совершенно наладились их отношения.

Вскоре после приезда Карташева в Рени генерал, заменявший главного инженера, выехал лично осмотреть линию.

Генерал ехал в сопровождении нескольких военных, а навстречу ему выехали Савинский и все начальство в Бендерах. Встреча начальства произошла на станции.

Генерал очень любезно поздоровался с Савинским, как со старым знакомым по

Петербургу, и благодарил его за инженера, присланного вместо Карташева сопровождать генерала по линии.

Инженер Салтанов, назначенный сопровождать генерала, прежде поступления в институт инженеров путей сообщения окончил саперное училище и военной выправкой приятно удивил генерала.

На линии Салтанов был начальником дистанции на постройке. Дистанцию свою он затянул и славился тяжелым и педантичным характером, всегда требовал точных, за соответственным номером, указаний, предписаний, разъяснений и самодовольно говорил:

– Нет-с, старого воробья на мякине не проведешь: пожалуйте предписание, – так-то спокойнее. У нас, у военных, вы все бы от верху до низу ушли бы давно под суд, так, на словах, верша дела.

Генерал при встрече с Савинским говорил, подергивая плечами:

– Я, признаюсь вам откровенно, не ожидал встретить в вашем мире такого человека, как инженер Салтанов; вы поймите мое удовольствие: и я его и он меня понимаем с двух слов. Это вроде того, что среди неведомых иностранцев вдруг нашелся земляк, который на моем родном языке объясняет мне все явления незнакомой мне жизни.

Генерал весело оглядывался и улыбался.

Затем начались представления. Карташеву он слегка кивнул головой и довольно пренебрежительно бросил:

– Уже знакомы.

После представления отправились осматривать станцию.

Впереди шли генерал с Савинским, сзади тянулся длинный хвост из свиты и служащих.

Мешковатый начальник станции, стоявший сгорбившись в ожидании начальства, прищурил глаза и как бы с любопытством выжидая, что из всего этого выйдет, получил от генерала строгий выговор.

С лица генерала сразу исчезла благодушная улыбка, лицо покраснело, глаза сверкнули.

Поравнявшись с начальником станции, он резко сказал:

– Не умеете стоять перед начальством. Вытянуться во фронт, руку к козырьку, рапортовать о состоянии станции...

Начальник станции неуклюже переступил на другую ногу и красный, растерянный смотрел в глаза генералу.

– К увольнению! – скомандовал генерал. – Нельзя же с таким серьезно работать, – обратился генерал к Савинскому.

Впечатление было громадное: лица вытянулись, говор, шум шагов стихли – и сразу наступила мертвая тишина.

Мастицкий пришел в такое нервное состояние, что сказал Карташеву:

– Я ухожу и сдаю вам участок.

И, не ожидая, он пошел прочь.

Генерал опять пришел в прежнее благодушное настроение, но уж все были настороже.

Карташев быстро уловил характер отношений между генералом и Салтановым. И когда доходила до него очередь, он, прикладывая руку к козырьку, быстро, почтительно и послушно отвечал на вопросы генерала то, что успевало прийти ему в голову, и в то же время думал: «Опять наврал». Но тон был убежденный и такой, что, отвечая на всякий пустяк, он сознавал, что это далеко не пустяки и что этого именно вопроса он и ждал от начальства.

Когда вопросы и ответы кончились и процессия шла дальше, Борисов, приехавший вместо Пахомова, весело шептал на ухо Карташеву:

– Ой, какой шарлатан. И вам не стыдно?

Карташев улыбался и самодовольно отвечал:

– Мне было бы стыдно, если бы я не сумел приспособиться.

Карташев сопровождал начальство до конца своего участка. На прощание генерал, пошептавшись с Савинским, очень ласково протянул Карташеву руку и сказал:

– Благодарю вас. Все, что я видел на вашем участке, очень тяжелом, дает мне уверенность, что он в надежных руках.

– Ваше превосходительство, – ответил Карташев, – я передам своему начальнику участка, который, к сожалению, по болезни не мог сопровождать вас. Все дело на участке ведет он, и я только учусь и исполняю некоторые из его распоряжений...

Генерал и Савинский ласково смотрели на Карташева, пока, смущенный, он говорил свой ответ. По окончании генерал фамильярно положил руку на плечо Карташева и сказал:

– Передайте в таком случае вашему начальнику, что я завидую ему, что у него такой дисциплинированный помощник. Желаю вам всего лучшего.

Карташев быстро попрощался со всеми и довольный уехал назад в Рени докладывать обо всем Мастицкому.

Мастицкий угрюмо слушал и, когда Карташев кончил, сказал:

– Могли и не выдавать мне аттестатов. Не для этого идиота генерала, помешанного на дисциплине, и не для блюдолиза Савинского я работаю. Хотите подлизываться – ваше дело, но на будущее время я серьезно прошу вас обо мне не заикаться.

– Не можете же вы заставить меня брать ваши заслуги на себя?

– Какие там заслуги!

– Но если их признают и благодарят меня...

– Кто признает?! Что этот урод понимает? Столько же, сколько та свинья! Дельного, умного начальника станции прогнал, вас, вравшего ему всякую чушь, расхвалил... Тварь, тошно говорить, тошно слушать...

На той части участка в сторону Бендер, где на протяжении десяти верст полотно дороги тянулось по пльвунам Прута и Дуная, дело стояло особенно остро.

Там сосредоточивалась наибольшая опасность. Сдвигались почвы в одну ночь, уничтожалась, например, труба, проходное и выходное ее отверстия отклонялись от первоначального направления на десятки сажен. При этом коверкался и путь, конечно, и на таком пути крушение поезда было бы неизбежно, причем поезд с десятисаженной высоты свалился бы прямо в Дунай.

Надо было быть постоянно настороже, и днем и ночью надо было спешно, вместо исчезающих труб, устраивать новые и более прочные, надо было не допускать грунтовую воду к полотну дороги и, перехватывая ее крытыми надежными галереями, пропускать в устроенные отверстия для пропуска воды чрез полотно.

Все это требовало постоянного напряженного наблюдения на месте, и Мастицкий решил поселить там Карташева, хотя и сказал из вежливости, что там и жить и питаться будет плохо. Жить действительно было негде, но Карташев был рад избавиться от опеки и воркотни Мастицкого. Он поселился в будке у сторожа. Жена сторожа и кормила, а провизию доставляли кондуктора проходивших поездов. Доставляли не за страх, а за совесть, потому что все любили Карташева как за его ласковое обращение, так и за щедрость.

Дни и ночи Карташев был в напряженной работе, потому что работа не прерывалась ни днем, ни ночью.

Изредка Карташев ездил в Рени, изредка Мастицкий заглядывал к нему. Все работы велись по плану и указаниям Мастицкого, авторитету которого Карташев беспрекословно подчинялся, кроме разных прибавок и наградных: Карташев на это был очень щедр, а Мастицкий выходил из себя и обыкновенно говорил:

– Я не признаю и спишу это за ваш личный счет.

– Пожалуйста, – отвечал Карташев.

Но в течение трех месяцев дело с пльвунами наладилось, главная вода была перехвачена, не было больше сдвигов, не исчезали трубы, но не наступало и надежное равновесие. По-прежнему безостановочно нужно было вывозить образовавшиеся сплывы, чинить галереи и трубы, исправлять полотно, безостановочно подвозить точно в бездну проваливавшийся балласт и держать бессменный караул, причем при проходе каждого

поезда впереди очень медленно двигавшегося поезда шел старший ремонтный, а еще впереди, если поезд проходил ночью, из глубины ночи раздавался крик следующего дежурного: «Благополучно!» Такие караульные стояли на каждых пятидесяти саженьях.

Но все-таки в общем вся эта работа уже вошла в норму. Карташев подобрал штат надежных молодых десятников, причем выписал Сырченко, а между тем здоровье Мастицкого все ухудшалось, и уже большую часть дня он проводил в кровати, еще сильнее ругаясь, раздражаясь и проклиная все и вся.

Ко всему этому прибавилось приближение весны и начинавшийся уже разлив Дуная, грозивший в этом году быть особенным. Все это вместе побуждало Карташева опять переехать в Рени.

Вскоре ночью как-то его разбудили: станция Красный Крест, находившаяся в пяти верстах от Рени в сторону Галаца, уведомила по телефону, что только что образовался громадный промыв под мостом. Карташев быстро оделся и поехал на дежурном паровозе.

Небо было безоблачно, и луна ярко светила, сверкая в широкой глади вод разлившегося и издали неподвижного и спокойного, как зеркало, Дуная.

Паровозом управлял помощник машиниста, молодой инженер-технолог, ездивший для практики на паровозе. Он с Карташевым решили не будить машиниста, так как Карташев, ездивший студентом кочегаром, взял исполнение этой должности на себя. Весело и возбужденно разговаривая, как товарищи одного выпуска, они быстро проехали пространство, отделявшее их от размыва.

Не доезжая нескольких десятков саженьей, они остановили паровоз, затормозили его и пошли к размытому мосту.

Картина превзошла всякие ожидания.

Вместо моста зияла в несколько десятков саженьей бездна, чрез которую, как две нитки, тянулись по воздуху рельсы и прикрепленные к ним шпалы. Посреди над бездной торчали в воздухе сваи моста, и теперь, в этой бездне, они производили впечатление каких-то висевших щепок.

Там глубоко внизу этой десятисаженной бездны, как в заливе, приветливо и страшно сверкала вода Дуная.

– Когда это произошло? – спросил Карташев у стоявшего тут же дорожного мастера.

– Не больше как час времени. Только ухнуло что-то. Стрелочник первый прибежал, разбудил меня, я вам дал знать.

Карташев стоял с широко раскрытыми глазами, не зная, что предпринять. Еще более усиливал впечатление контраст между этой тихой, безмятежной ночью и тем непонятным и страшным, что произошло.

– Смотрите, смотрите! – закричал дорожный мастер.

Он показывал рукой назад, по направлению к Рени.

Вся поверхность земли и полотна, до самой будки, волновалась, точно эта поверхность была не земля, а жидкость.

Какое-то оцепенение охватило всех троих, и глазами, полными ужаса, они смотрели на непонятное и не виданное ими никогда явление.

Первый пришел в себя инженер-технолог и быстро побежал к паровозу.

Карташев понял, что он хочет спасти паровоз и проскочить с ним за будку.

– Бросьте, бросьте паровоз, – закричал Карташев, – он все равно погиб, но погибнете и вы!

Технолог был уже на паровозе и быстро оттормаживал его.

Карташев бежал и кричал:

– Я как старший запрещаю вам!

Но технолог уже открыл регулятор и, повернув свое бледное, как луна, лицо, ответил Карташеву:

– Наплевать мне на ваше запрещение.

А затем все происходило как во сне, настолько было несообразно с действительностью.

Волны подхватили и паровоз и Карташева с дорожным мастером. И оба они побежали, шатаясь и спотыкаясь, по прямому направлению от берега к горам, где не было волн. Добежав туда, они стояли и с душой, охваченной ужасом и тоской, следили глазами за паровозом, как корабль нырявшим в этих непонятных земляных волнах.

Непередаваемая радость и облегчение охватили Карташева, когда паровоз подошел к будке, где уже не было волн. И почти в то же мгновение раздался какой-то вздох, точно сотни, тысячи сразу вздохнули, – и все волны, и вся земля исчезли. У самых ног их зияла такая же бездна, как и там, у моста, – теперь сплошная от будки до моста. Куда же девалась вся эта масса ухнувшей вдруг земли на сотни сажен длины, на десятки ширины и в десять сажен высоты? Карташев осматривался и недоумевал: только легкие волны заходили по Дунаю, и опять стало все тихо, точно и прежде так же сверкала там внизу, в новом заливе, вода.

Что было делать, что предпринять? При всей своей неопытности Карташев понимал, что все это было стихийно, что предпринять нечего было.

Он ограничился только распоряжением дорожному мастеру осмотреть линию по направлению к Галацу и немедленно донести о результате осмотра. Сам же возвратился на паровоз, где ждал его веселый и удовлетворенный технолог.

– Вы на меня не рассердились, что я не послушался вас? – встретил Карташева технолог.

– Конечно, нет, и я вовсе не начальствовать хотел, а только хотел во что бы то ни стало удержать вас от совершенно безумного шага.

– Однако же спасен паровоз.

– По-моему, это уже не храбрость, не отвага, а просто безумие. Одно мгновение промедления... А впрочем, кто судит победителей! Все-таки это так мужественно было с вашей стороны, так беззаветно, что откровенно вам говорю, я не был бы способен на такой поступок.

– Это вам только так кажется. Если бы вы были так же ответственны, как я, за паровоз... Вы только представьте себе, с какими глазами я явился бы к своему машинисту без паровоза? Где паровоз? В Дунае! Ха-ха-ха!.. Ну, а теперь вы опять у меня под командой: угля в топку.

Приехав, Карташев решил разбудить Мастицкого и, идя к нему, думал, за что будет упрекать его Мастицкий.

Во-первых, за то, что не разбудил его. Но если б он побежал будить его, то тогда ни он, Карташев, ни Мастицкий не захватила бы того, чего, может быть, никогда в жизни видеть больше не удастся.

Может быть, Мастицкий будет доказывать, что еще можно было принять меры?

Мастицкий действительно упрекнул Карташева за то, что тот не разбудил его, но по поводу остального сказал, разводя руками:

– Что ж тут было делать? Хорошо, что послали дорожного мастера. Надо телеграфировать в Бендеры, и сейчас же поезжайте в северную часть участка.

Он пожал плечами:

– Скорее там же можно было ожидать такого скандала.

– Там мы воду успели отвести.

– Проклятые места...

В тот же день поднялся сильный, до бури доходивший ветер, продолжавшийся несколько дней подряд.

Разлившийся Дунай представлял из себя целое море, и на горизонте этого моря едва синели там, на той стороне, горы Добруджи. На всем пространстве от Рени до Галаца вода поднялась почти до полотна дороги, и большие волны теперь хлестали в насыпь. Одно за другим размывались укрепления из огромных ящиков, засыпанных камнем. Местами еще торчали эти укрепления, но за ними вместо насыпи была только вода: насыпь смыло, и рельсы висели на весу, только местами прикасаясь еще к кой-где уцелевшему полотну.

Попытки засыпать промывы мешками, наполненными землей, были бесполезны. Не хватило бы ни рук, ни мешков.

К приезду комиссии из Бендер не существовало полотна на протяжении тридцати верст. Комиссию встретили и Мастицкий и Карташев на станции Троянов Вал.

Карташев волновался, боялся упреков, выражения неудовольствия, а Мастицкий был совершенно спокоен. Ожидания Карташева не оправдались.

К Мастицкому отнеслись еще с большим, чем обыкновенно, уважением, и ни у кого и тени не было сомнения, что все, что только можно было сделать, было сделано.

Это доверие успокоило Карташева и развязало его язык.

Мастицкий угрюмо молчал, а Карташев, сидя в вагоне, пока поезд шел еще не по его участку, рассказывал все пережитое.

На границе участка поезд остановился, и Мастицкий сказал Карташеву:

– Ну, идите на паровоз и везите нас до тех пор, пока можно будет. Только не трусьте и протяните поезд возможно дальше.

«Свинья, – думал Карташев, идя к паровозу, – когда я показал ему свою трусость, чтоб дать ему право так компрометировать меня перед всей комиссией?»

Он взобрался на паровоз, и поезд тронулся.

Ехали с паровозом опять инженер-технолог Савельев и его машинист. При машинисте Савельев был сдержан, как будто побаиваясь своего угрюмого, несообщительного начальника.

Карташев под впечатлением последней сцены был тоже молчалив и подавленно смотрел на путь.

При подходе к мосту через Прут начались обвалы. Иногда полотно от обвалов было уже без откосов и отвесно спускалось на несколько сажен вниз. При проходе поезда оно вздрагивало, и куски земли, отрываясь, с шумом падали.

Карташев напряженно мучился, где остановить поезд, чтоб опять не заслужить упрека в трусости. Наконец в одном месте, где обвал подошел под самую шпалу и где при проходе сразу ухнула глыба, обнажившая путь чуть не до половины шпалы, Карташев отчаянно закричал:

– Стоп!

Из заднего вагона лениво выходило начальство.

Мастицкий еще издали крикнул:

– Ну, что ж вы трусили?

У Карташева вся кровь прилила к лицу и слезы показались на глазах. Дрожащим от обиды голосом он ответил подошедшим Пахомову и Мастицкому:

– Если хотите, я поеду и дальше.

– Ну, что вы, Пшемыслав Фаддеевич, – куда же дальше? – усмехнулся Пахомов. – Это предел, и дальше даже на полвершка нельзя.

Карташев готов был обнять и расцеловать за эти слова Пахомова.

Подошедший инспектор тоже грубо бросил:

– Куда тут к черту дальше? Прямо туда?

Он ткнул пальцем вниз.

Вместо поезда подали две дрезины.

На первую село старшее начальство с Мастицким, на вторую второстепенное с Карташевым.

Когда подъехали к бездне у моста, начальство с обеих дрезин сошло и отправилось пешком в обход провала. Остался только Мастицкий. Видя это, остался и Карташев, не понимая, зачем он остался, когда даже и рабочие ушли.

Мастицкий не считал нужным объяснить Карташеву, что хотел он делать, а Карташев еще сердился на него за упреки в трусости и не спрашивал.

Скоро, впрочем, выяснились его намерения. Мастицкий стал на свою дрезину и стал вертеть ручку, приводящую дрезину в движение. Дрезина все быстрее стала приближаться к

пропасти.

Карташев замер, поняв, что Мастицкий решил переехать пропасть по этому висячему полотну, которое, протянувшись на сотни сажен над бездной и пригнувшись от собственной тяжести, казалось, вот-вот оборвется.

Карташев был близок к обмороку. Его затошнило, зеленые круги показались в глазах, похолодели руки и ноги.

«Подлец! – пронеслось в его голове. – Сам ищет смерти, и чтоб донять, и меня за собой тащит».

Злоба, ненависть, отчаяние охватили его. Он быстро вскочил на свою дрезину и тоже привел ее в движение.

Напрасно Мастицкий кричал ему:

– Подождите, пока я перееду!

Карташев только злобно смотрел ему в упор и сильнее налегал на ручку.

Обе дрезины повисли над бездной. Обходившие, не ожидавшие такого решения вопроса, так как Карташевым были заготовлены лошади для перевозки в этом месте дрезин, стояли как вкопанные и следили за страшным спортом двух ссорившихся между собою инженеров.

– Ах, сумасшедшие! – шептал Борисов. – Ах, черти полосатые: они готовы насмерть загрызться в работе! Их необходимо разнять, а то они доведут друг друга до смерти.

– Да, – угрюмо согласился Пахомов.

Посреди бездны Карташев, старавшийся не смотреть вниз, все-таки посмотрел, – и чуть не потерял сознания от мелькнувшей там, внизу, чайки. В глазах у него побелело, как побелел и он сам, и казалось ему, что стоит и вертит он уже после смерти, пережив все ужасы падения.

Осмотр размывов окончился разводом моста на Пруте, который строил Ленар.

Мастицкий окончательно слег, предоставив Карташеву разводиться мост, сказав сквозь зубы, что проект моста в конторе.

«Зачем еще проект?» – подумал Карташев и приступил к разводке.

Через пять часов мост был разведен, чтоб пропустить уже месяц ждавшие разводки суда, и больше уже не сводился.

И начальство и Карташев остались совершенно довольны разводкой и вслед за тем, сопровождаемые Карташевым, уехали обратно, порешив не возобновлять больше линию между Рени и Галацем.

Когда на границе участков Карташев пересел в вагон, его ждал приятный сюрприз.

Начальник соседнего участка, живший в Трояновом Вале, уходил, и Пахомов поздравил Карташева с новым назначением – начальником этого участка.

Когда Карташев возвратился в Рени, Мастицкий не с обычной своей угрюмостью сказал ему радушно:

– Поздравляю вас.

– Вы разве уже знаете?

Мастицкий только усмехнулся.

Карташев вспомнил, как Пахомов, Мастицкий и инспектор отдалялись и долго о чем-то говорили. И Карташеву казалось тогда обидным это, и он думал: какие секреты могут быть у этих людей от него? Теперь он все понял: речь была о его назначении. От Мастицкого же он узнал, что сперва инспектор был против, доказывая, что пока он, Карташев, ничем еще серьезным не зарекомендовал себя, так как нельзя же заслугой считать хотя бы и стихийное разрушение полотна на протяжении тридцати верст. В конце концов инспектор все-таки сдался и, только махнув рукой, сказал:

– Ну, теперь вся линия, кроме первого участка, в руках бунтовщиков: хоть не ездят...

В течение недели, пока Карташев сдавал дела новому своему заместителю, у него установились с Мастицким отношения, совершенно не похожие на их прежние. Делить им между собой было больше нечего, свое раздражение Мастицкий уже перенес на нового

помощника и грыз его поедом – и уже за действительно нерадивое отношение к делу, а к Карташеву относился любовно и с уважением.

Что до Карташева, то тот прямо боготворил теперь Мастицкого.

Обладая громадным опытом и деловитостью, Мастицкий, прежде скупой на советы, теперь не уставал делиться с Карташевым своими знаниями, давая советы, как вести дело на участке. Казалось прежде, что Мастицкий совершенно не интересовался чужими делами, но теперь оказалось, что он решительно все знал, что делалось у его соседа, которого теперь сменял Карташев, знал качества и свойства и его самого, и всех его служащих, давая им точные и, как потом оказалось, совершенно верные характеристики. Особенно предупреждал он Карташева относительно участкового бухгалтера, он же и письмоводитель, и вообще правая рука начальника участка.

– Сам Семенов – начальник участка – был честный человек, но большой ротозей, а его конторщик, тот уже прямо вор отъявленный: он развел на участке сплошное воровство. Дорожные мастера безбожно приписывают в табелях рабочих: работают двадцать человек, а они показывают и сто и двести. Со всех подрядчиков берет... Первым делом его надо прогнать, затем на первых порах придется вам постоянно объезжать линию и считать самому рабочих, отмечая число их на данный день в записной книжке, а когда дорожные мастера представят за эти дни табеля – сверять и попавшихся дорожных мастеров без сожаления гнать.

Прощание Карташева и Мастицкого было очень сердечное, и Карташев еще долго и любовно смотрел из окна вагона на эту худую, как скелет, мрачную, с темным лицом, в темных очках, понурюю фигурку, казалось, оторванную от всего мира и стоявшую теперь одиноко на исчезающем из глаз перроне.

Вскоре после отъезда Мастицкий окончательно свалился, и его, уже на руках, перенесли в вагон и увезли куда-то за границу лечиться.

Провезли его через Троянов Вал ночью, и так и не видал его больше Карташев, так как Мастицкий назад не возвратился.

XXII

Переехав в Троянов Вал, Карташев с еще большей энергией принялся за работу. Никогда не предполагал он в себе такого запаса энергии, любви к делу, охоты работать, какая все больше и больше обнаруживалась в нем. И неужели это он, праздный, ленивый шалопай в институте, которого к наукам, занятиям, работе не притянешь, бывало, никакими арканами?

В сутках было мало часов, и тоска охватывала Карташева, когда надо было ложиться спать и прерывать на несколько часов интересную, захватившую его всего работу. И с первым лучом солнца он уже был на ногах и с первым отходившим поездом уезжал на линию.

Никто ему не мешал. Помощник его, Коленьев, толстый, ленивый техник, по годам годившийся ему в отцы, не ударял палец о палец и только с благодушием папаши залучал иногда Карташева поест у него всяких редкостей, разводить которые был великий мастер Коленьев.

Он всецело завладел участковым огородом, и парниками, я оранжереями, и там было все, что только могут дать парники и оранжереи: и цветы, и ягоды, и фрукты, и ранние огурцы, и всякая зелень.

Во дворе у него был целый птичник и зверинец: всегда наготове откормленные каплуны, индейки, гуси, были даже фазаны. Были поросята, и готовились большие свиньи откармливались медведь, дикая коза, журавль. И каждому давалась особая пища, и на это уходил весь день. На это да на еду. Он и на кухне сам руководил стряпней, и стол его мог, наверно, поспорить со столом самых записных гурманов. К домашним изделиям, ко всяким вареньям и соленьям прибавлялись привозные закуски и блюда: всегда бывала какая-нибудь

редкостная рыба, особая из Адриатики ветчина, свежая икра, креветки, особая водка – для сна, для желудка, для лихорадки, просто для здоровья. Сервировка была безукоризненная, чистота поразительная, все было свежо, аппетитно, и больше всего придавал аппетита всему сам повар-хозяин, радушный, ласковый, с громадным, толстым туловищем, из которого высовывалась, как у черепахи, маленькая оплывшая головка.

– Ну, теперь, – говорил наставительно Карташеву Андрей Васильевич Коленьев, – бросьте все дела, всё, всё выбросьте из головы, и пусть кровь прильет к желудку и поможет ему сделать как следует самое важное дело в жизни, потому, во-первых, что только в здоровом теле здоровая душа, а во-вторых, потому, что, как говорит мой портной-еврей, унесем мы с собой отсюда, с земли, только свой последний обед. Это только и есть настоящая наша никем неотъемлемая собственность. Все остальное – весь мир, дела, любовь – все временно, все проходит. *Tout passe, tout casse, tout lasse...* [Все кончается, все разбивается, все приедается... (франц.)] Помните твердо это и ешьте много, не торопясь, и хорошо разжевывайте.

И Андрей Васильевич действительно обладал удивительной способностью заставлять людей есть, вдумываться и смаковать все то, чем угощал он. И он умел заинтересовать во время еды историей своих блюд.

Он рассказывал просто, без претензий, всегда с большим юмором, и гости весело смеялись, и громче всех и веселее всех начальник станции, князь Шаховской. Он был самым частым гостем Коленьева, иногда даже, если служба позволяла ему, помогая ему в хозяйстве и приготовлениях.

Иногда обеды Коленьева удостаивала своим присутствием жена князя, Ксения Ардальоновна. Князь был хороший служака, бурливый, веселый, лет сорока мужчина, не дурак выпить, большого роста, полный, с громадными, кверху немного расчесанными усами.

Княгиня тоже высокая, молодая, бледная, с правильными чертами лица, загадочная, молчаливая, точно потерявшая и безнадежно ищущая что-то. Только в присутствии своей маленькой двухлетней дочки она точно просыпалась и, казалось, находила часть того, что искала.

Иногда и во взгляде на Карташева чувствовалось то же удовлетворение, какое она испытывала, смотря на дочь. Этот взгляд передавался Карташеву, и он чувствовал себя хорошо в ее присутствии.

Уезжая утром в рассвете, он смотрел на окна ее спальни и думал о ней, стараясь сквозь стены проникнуть к ней, в ее загадочную душу.

Обеды у Коленьева, когда присутствовала Ксения Ардальоновна, были еще торжественнее, и хозяин еще более священнодействовал.

После обеда конца не было десерту из фруктов, конфет и всяких редкостей.

Но и после этого хозяин энергично удерживал гостей, доказывая, что надо час, два еще просто посидеть удобно, на турецких диванах, подложив под спины подушки, доказывал необходимость этого кейфа.

– Дайте, – горячо убеждал он, – желудку сделать свое дело. Не отвлекайте его. Пусть вся кровь приливает к нему. Чтоб ни о чем не думать после обеда, я завел двух маленьких собачек и так выдрессировал их, что нельзя на них без смеха смотреть. А смех после обеда – это тот же желудочный сок, – он перерабатывает все без остатка.

Когда бывала княгиня, Карташев давал себя уговорить, а князь, не соглашаясь в этом с Коленьевым, уходил спать. Тогда княгиня и Карташев чаще смотрели друг другу в глаза и веселее смеялись смешным проделкам собачонок и их хозяина. Хорошели глаза княгини, красивый ряд зубов ее сверкал белизной, бледные щеки покрывались нежным, как будто стыдливым, против воли, румянцем, и сердце Карташева радостнее билось.

А затем княгиня уходила домой, Карташев почтительно провожал ее домой и сам уезжал на линию, еще веселее отдаваясь работе.

Работы было много, и каждый день Карташев придумывал все новую и новую комбинацию этих работ. Так, между прочим, на участке у него был подрядчиком по

земляным работам и балластировке пути старый его знакомый Ратнер. Цена со времени постройки за балласты оставалась по-прежнему по двенадцати рублей за куб. Балластный карьер был у самой линии, балласт брался прямо с карьера и развозился по линии поездами. Ратнер таким образом до десяти рублей с куба клал себе в карман.

При последнем проезде комиссии было решено добавить на участок три тысячи кубов балласта и работу передать Ратнеру.

Карташев телеграфировал Пахомову, что в настоящее время можно работать гораздо дешевле, и просил разрешения, во-первых, за своей ответственностью сдать подрядчикам на месте эту работу и в счет возможных остатков от этой работы прибавить балласту, а также досыпать полотно дороги.

Таким образом, в карьере все – и вскрышка верхнего не балластного слоя, и сам балласт шли бы в дело.

Получив согласие Пахомова, Карташев стал приискивать подходящего подрядчика.

Как раз в тот день на вокзале робко подошел к нему молодой человек с просьбой дать ему какую-нибудь службу.

– Службы у меня никакой нет, а вот, если хотите, возьмите подряд на балластировку и возку земли.

– Я, господин начальник, этого дела не знаю...

– Я вас научу... Я предлагаю вам два рубля двадцать копеек за куб, причем два рубля будет стоить работа, а двадцать копеек будет ваш заработок. Это составит тысячи две. За этот заработок я беру гарантию на себя.

– В таком случае я, конечно, согласен.

– Ну, и отлично. Как ваша фамилия?

– Вольфсон.

– Идите к моему письмоводителю и скажите ему, чтоб писал с вами условие по образцу Ратнера. Назад я буду к пяти часам. Ждите меня здесь. Пусть письмоводитель попросит и Ратнера прийти к поезду. Только ни вы, ни письмоводитель Ратнеру пока ничего не говорите.

К пяти часам Карташев, как обещал, приехал с поездом с линии.

И Ратнер, и новый подрядчик, и письмоводитель были уже на платформе. Был и выпавшийся уже начальник станции, и прогуливавшийся с ним Коленьев.

Карташев поздоровался с ними и рассказал, что сейчас сделает.

Он подошел к Ратнеру и сказал:

– Господин Ратнер, вам, как старому подрядчику, я отдаю предпочтение. Мне нужно двенадцать тысяч кубов земли и балласта...

– Двенадцать тысяч? – радостно удивился Ратнер. – Мне говорил Пахомов – две тысячи.

– Двенадцать. Я предлагаю вам три рубля за куб.

– Что?! О цене, во всяком случае, я буду говорить в управлении.

– Вы будете говорить о цене со мной. Вот телеграмма начальника ремонта.

Карташев подал ему разрешительную телеграмму.

Князь, стоя поодаль с Коленьевым, вытянул шею и весело ждал.

Ратнер прочел, пожал плечами, сделал презрительное «пхе!» и тупо задумался.

– Ну? – спросил Карташев. – Согласны?

– Что, вы смеетесь надо мной?

– Не смеюсь и спрашиваю вас в последний раз: согласны?

– Не согласен, и никто не может согласиться.

– Петр Иванович, – закричал Карташев письмоводителю, – в таком случае пусть договор подписывает господин Вольфсон. Господин Вольфсон изъявил, – сказал Карташев, обращаясь к Ратнеру, – согласие работать по два рубля двадцать копеек куб.

– Какой такой Вольфсон?

– Вот тот молодой человек.

– Тот прощельга, которого я к себе на пятьдесят рублей в месяц не захотел взять?

– Ну, это уж ваше дело. Князь, отправляйте нас, – сказал Карташев, становясь на площадку тормозного вагона.

– Готов, путевая отдана. Третий звонок!

Поезд уже тронулся, а Ратнер все еще стоял, опустив голову, не двигаясь с места.

И вдруг, быстро повернувшись, он бросился на Вольфсона и, прежде чем тот успел что-нибудь предпринять, вцепился руками в его волосы.

Дальнейшего Карташев не видел, так как та часть платформы, где были Вольфсон и Ратнер, уже скрылась и виден был только князь и Коленьев. Коленьев, пригнув свою головку, молча смотрел, а князь, отвалившись и держась за бока, беззвучно, весь вздрагивая, смеялся.

Второй большой работой на участке была смена шпал. Вследствие того что балластировка на этом участке была поздняя и недостаточная, шпалы почти сплошь успели подгнить. Да и качеством шпалы эти не удовлетворяли техническим требованиям, и первой работой эксплуатации была смена этих шпал. Но так как кредиты были ограничены, то сделать сразу сплошную смену было нельзя и делали частичную на остатки каждого месяца.

Карташев решил сразу сделать сплошную смену шпал и разыскал средства для этого. Эти средства заключались в следующем. В распоряжение начальника участка ежемесячно отпускалось по тысяче рублей на экстренные надобности. Предшественник его за четыре месяца не истратил из этих сумм ни одной копейки. Остальную сумму Карташев выгадал из остатков на балласте.

Горячая работа сразу закипела по всей линии участка. Носились земляные и балластные поезда, сотни рабочих сменяли шпалы, подбивали их новым балластом и выравнивали путь. Явилась возможность и все полотно досыпать до нормальной ширины, и балласт поднять до проектной высоты.

В тех местах, где все уже было приведено в порядок, линия приняла неузнаваемый вид. На красивом, отточенном, свежем земляном полотне рельефно, с строго очерченными гранями высился балластный слой, выглядывали из него новенькие шпалы, и две пары рельс тянулись непрерывным следом. Как очарованный, смотрел с поезда и не мог оторвать Карташев усталых глаз своих и от откантованных ставок полотна и балласта, и от прекрасно вырехтованного пути, по которому поезд несся мягко, с особым задумчивым гулом.

Все артели, все мастера, все сторожа были на местах, потому что с каждым поездом мог проехать неутомимый начальник участка, и торопливо с свернутыми флажками бежали к переездам обыкновенно беременные сторожихи, особенно боявшиеся и днем и ночью ездившего и записывавшего и грозившего штрафом начальника участка. И всех их в лицо знал Карташев, постоянно экзаменуя их, что и как они должны делать – если скотина забредет на путь, если пожар будет в поезде, если путь окажется неисправным.

Лучшим временем был вечер, когда усталый Карташев возвращался домой.

Тогда как будто оставляло его все напряжение, отходили дела, и он думал о себе.

Вернее, не о себе, а о Аделаиде Борисовне, приезд которой ожидался со дня на день.

Маня бомбардировала его письмами и требовала точных указаний, как ей действовать.

Карташев и хотел, и боялся, и наконец сделал письменное, в очень туманных и витиеватых выражениях предложение Аделаиде Борисовне. Уже на другой день он жалел не так о том, что сделал предложение, как о том, что сделал в такой глупой, натянутой форме. Но письмо ушло, вернуть его нельзя было, и Карташев томительно ждал, стараясь угадать близкое будущее, стараясь представить себе черты Аделаиды Борисовны. Но черты расплывались, он не в силах был связать их в одно, и вместо Аделаиды Борисовны на него внимательно смотрело бледное лицо княгини.

Форсированная работа на участке подходила уже к концу, когда была получена срочная телеграмма о приезде назавтра генерал-губернатора, которого будет сопровождать все железнодорожное начальство с Савинским и Пахомовым во главе.

В Трояновом Вале, где генерал-губернатор должен был обедать и принимать

депутацию населения, сильно заволновались.

Коленьев взял на себя добровольно помогать буфетчику, чтоб обед вышел на славу.

– Вы убрали ваш участок, как невесту, а моя станция грязна, как хлев; дайте мне несколько поездов балласту, – приставал князь к уезжавшему навстречу начальству Карташеву.

– Ну, берите, – согласился Карташев и, отдав соответственные распоряжения, уехал.

На другой день, сидя с своим начальством в служебном заднем вагоне с зеркальными окнами на путь, Карташев мог наблюдать эффект, когда поезд мягко и плавно с усиленной скоростью помчался по его участку.

Молчали Савинский, Пахомов, инспектор, молчал Карташев, смущенно сгорбившись и прячась за спиной Пахомова.

Соседний начальник участка Бызов тыкал Карташева в бок и шептал:

– Вот свинью подложили! Вот подкачали!

Наконец Пахомов угрюмо спросил:

– Много такого пути у вас?

– Весь.

– И везде сплошная перемена?

– Везде.

– Уйму денег перерасходовали?

– Я из сметы не вышел.

Савинский и Пахомов молча переглянулись.

Савинский быстро встал и сказал весело:

– Нет, надо генерал-губернатора пригласить.

Он отправился и привел генерал-губернатора.

Усаживаясь, генерал-губернатор приветливо бросил Карташеву:

– С вашим покойным батюшкой, Николаем Семеновичем, мы были хорошие друзья.

Но довершила эффект станция Троянов Вал.

Князь и Коленьев успели чудеса сделать.

Вся платформа станции и поезда были усыпаны свежим, еще влажным песком. Стены станции были красиво декорированы свежей зеленью.

В пассажирском зале был эффектно приготовлен стол, и весь зал был превращен в оранжерею.

Когда генерал-губернатор занялся приемом депутации, мрачный инспектор, взяв под руку Карташева, сказал:

– Вы прямо маг и волшебник. Полтора месяца всего назад мы были на этом участке, и он был сплошная мерзость запустения.

Он покачал головой.

– Вижу, вижу сам теперь, что вы не только бунтовать, но и дело делать умеете.

В это время сторож подал Карташеву две телеграммы.

Карташев прочел: «Я приехала сегодня, завтра назначен наш отъезд, была бы счастлива увидеть вас. Адель».

Вторая телеграмма была от Мани:

«Деля твоя».

Кровь сильно ударила в голову Карташева. От предыдущих всех волнений, напряжения голова его сразу заболела до тошноты, до зеленых кругов.

Инспектор отошел от него и, подойдя к Борисову, сказал:

– Что-то неладно с Карташевым, – какую-то неприятную телеграмму получил...

Борисов быстро подошел и спросил:

– В чем дело?

Карташев отвел его и рассказал, в чем дело.

– Почему же у вас такой несчастный вид?

– У меня голова вдруг так заболела, что я едва могу стоять и, во всяком случае, поспеть

в Одессу никак уж не могу.

– Ну, это еще подумаем!

– Да что ж думать? На крыльях не перелетишь.

Генерал-губернатор кончил прием и сел обедать. Около него возился и ублажал его Коленьев.

Все были в восторге и от еды и от Коленьева, а когда кончился обед, все за губернатором отправились в вагоны.

– Вы оставайтесь и поезжайте в Одессу, – сказал Пахомов, ласково пожимая Карташеву руку и особенно загадочно смотря ему в глаза, – нас дальше проводит Коленьев.

Так же ласково и особенно пожал ему руку Савинский:

– Мой сердечный привет вашим.

Инспектор мрачно сказал:

– Я нарядил экстренный поезд, на котором вы успеете до завтра приехать в Одессу. Как только мы отъедем, вам этот поезд подадут.

– Я так благодарен, так благодарен, – говорил растерявшийся Карташев.

Поезд уже трогался, ему весело кивали из окон служебного вагона, и все лица были такие добрые, приветливые, ласковые, что слезы выступили на глазах Карташева, и он готов был всех их обнять и расцеловать.

Через час и Карташев уже мчался в экстренном поезде из одного пассажирского и одного служебного вагона с большими зеркальными окнами на путь, лежа на богатом и мягком диване зрительной залы вагона. И, если бы не страшная головная боль, Карташев считал бы себя самым счастливым человеком в мире. Сознание этого счастья охватывало по временам Карташева жутким страхом, что вот сразу все это рухнет и дорого придется рассчитываться за эти минуты благополучия. Головная боль являлась как бы искуплением этого полного блаженства, и, плотно прильнув к подушке, Карташев радостно мирился с ней, не думая, так как думать не мог, а угадывая завтрашний свой счастливый день, когда больше не будет болеть голова, когда он увидит и почувствует ту, которая до сих пор казалась ему такой недостижимой и которая отныне его вечная спутница на земле. Вечная и бесконечно дорогая, которую боготворил он, молился на нее, как на светлого ангела, снизошедшего к нему, грешному, грязному, чтоб унести навсегда в светлый, чистый мир любви, правды, добра.

Так и заснул он с тяжелой головой и с легким сердцем.

И проснулся, только подъезжая к Одессе, проспав шестнадцать часов подряд.

Головной боли как не бывало. Свежий и радостный, он бросился в уборную умыться, так как поезд уже вышел с последней станции Гниляково.

Вот уже и большой вокзал. Вот мчится и извивается уже поезд между знакомыми дачами с зелеными деревьями. Опять весна, и в открытые окна несется и охватывает неуловимый аромат цветущих акаций, молодых лучей солнца, радостей жизни, и сердце тревожно и полно бьется под мерный стук колес и грохот поезда.

С размаху останавливается он в облаках пара и дыма, и уже видит Карташев в окна вагона там, на платформе, Маню и рядом с ней... его сердце замирает... Аделаида Борисовна, напряженная, робкая и радостная, ищущая его глазами.

Он спешит, качаясь еще от толчка, целует ей руку. Маня властно командует:

– Целуйтесь в губы!

И когда они исполняют ее приказание и Аделаида Борисовна при этом вся краснеет, Маня весело говорит:

– Вот так!

И все трое смеются.

С ними смеется веселое утро, смеется солнце, весь город своими звонкими мостовыми, смеющийся треск которых отчетливо разносится в раннем утре.

– Вот что, – диктует дальше Маня, – прямо отсюда пожалуйста к папе на могилу, – там никто вам мешать не будет сговориться, а я поеду домой.

И уже вдвоем только с Аделаидой Борисовной они едут, кивают головами Мане.

Маня не торопится брать себе извозчика и стоит теперь серьезная, задумчивая и долго еще смотрит им вслед.

Вот и кладбище, прямая аллея к церкви, оттуда по знакомой тропинке, держась за руки, идут Карташев и Аделаида Борисовна. Уже мелькает между деревьями мрачная, развалившаяся башня памятника, с золотой арфой когда-то на ней и улетающим ангелом.

Вот и ограда с могилой отца, с мраморным крестом над ней.

Карташев, сняв шапку, стоит и смотрит на стоящую на коленях свою невесту и переживает миллион всяких ощущений: обрывки воспоминаний, связанных с этим местом из давно прошедшего, волну настоящего, так сразу нахлынувшую, что он потерялся совсем в ней и не может найти ни себя, ни слов, и хочет он, чтоб она подольше молилась, чтоб успел он хоть немного прийти в себя.

Но она уже встает, и он говорит бессвязно, не находя слов:

– Все это так быстро, неожиданно... Я так счастлив... всю свою жизнь я посвящу, чтоб отблагодарить вас... Я с первого мгновенья, как только увидел вас, я решил, что мне вы или никто... но я считал всегда все это таким недостижимым, я гнал всякую мысль об этом...

К его сердцу радостно прилила кровь и охватила счастливым сознанием переживаемого мгновения, сознанием, что его Деля около него, смотрит на него, он может теперь здесь, среди вечного покоя и равнодушия мертвых, целовать ее.

Постепенно они оба вошли в колею. Аделаида Борисовна поборола свое смущение, Карташев нашел себя.

– Ах, как хорошо Маня придумала отправить нас на кладбище, – говорил через два часа Карташев, сидя рядом и обнимая свою невесту. – Только здесь, не стесняясь всеми этими милыми хозяевами, могли мы так сразу открыть и сказать все, что хотели. Там будет свадьба еще, но настоящий день, мгновенье, с которого начинаем мы нашу жизнь вместе, – сегодняшний, здесь на кладбище, в этой тишине и аромате вечной жизни. И здесь я клянусь и беру в свидетели всех хозяев этого вечного, что буду тебя вечно любить, вечно боготворить, вечно молиться на тебя!

Карташев быстро упал на колени и, прежде чем Аделаида Борисовна успела опомниться, поцеловал кончик ее ботинки.

Аделаида Борисовна судорожно обхватила руками шею Карташева и прильнула к нему.

Слезы текли по ее лицу, и она шептала:

– Я такая была несчастная... вся жизнь моя так тяжело складывалась... И так счастлива теперь...

Она не могла сдержать рыданий, а Карташев поцелуями осушал ее слезы. Она смеялась и продолжала опять плакать, тихо повторяя:

– Теперь я плачу уже от счастья...

Она заговорила спокойнее...

– Я росла очень болезненным ребенком. Несколько раз я была так больна, что думали, что я не выживу. Мать моя рано умерла, мне было всего три года... Отец женился на другой... Отец любил нас, но мачеха... – Она с усилием закончила: – Не любила никогда... Мы всегда росли с гувернанткой внизу и приходили наверх только к обеду... Мачеха меня считала особенно капризной... В десять лет меня уже увезли за границу в пансион, и я там семь лет пробыла... Каждый год отец с мачехой приезжали к нам на несколько дней, но никогда без мачехи мы с отцом не провели ни одной минуты... Она очень любит отца и боится, что он уделит хоть что-нибудь нам...

Она радостно посмотрела в глаза Карташеву:

– Теперь мне и не надо никого!

Карташеву было так жаль, так чувствовал он теперь ее в своем сердце, он обнимал и целовал ее и говорил ей, что будет счастлив, если заменит ей и мужа, и друга, и отца, и мать.

Надо было ехать домой, но Аделаида Борисовна хотела немного еще подождать, чтоб просохли ее глаза, и Карташев начал рассказывать ей из своих воспоминаний, связанных с

кладбищем.

– Вот эта дорожка, – говорил он, – ведет прямо к стене, отделяющей кладбище от нашего дома.

– Это далеко отсюда?

– Нет, близко.

– Можно пойти посмотреть?

Радостный и счастливый Карташев повел ее по дорожке, по которой много лет назад так часто бродил. И так живо вставали в памяти друзья детства: Яшка, Гаранька, Колька. Вечно все такими же, как были, запечатлелись они и, казалось, вот-вот выскочат из-за какого-нибудь памятника, вот-вот опять услышит он их звонкие, возбужденные голоса, и опять будет двоиться он между желаньем быть и никогда не расставаться с ними и страхом, что назначенный срок прошел, и давно уже ждет его мать для того, чтоб заниматься, для того, чтоб играл он с сестрами, был дома и делал все то дело, к которому не лежала душа, которое не имело ничего общего с его друзьями и их жизнью.

– Вот и стена! – сказал Карташев.

Темно-серая, старая, из известкового камня стена была перед ними, с рядами едва заметных могильных бугорков, с деревянными, кое-где сохранившимися крестами.

Мертвая тишина царила кругом, из знакомой щели между камнями по-прежнему озабоченно выглядывал из своего гнезда воробей, присела на мгновение у другой щели ласточка, озабоченно и без толку ползет вверх по стене толстый жук и, робко прижавшись к самой стенке, растут всё те же цветы: васильки, ромашка застилает своими круглыми листочками землю, а там голый, треснувший бугорок и под ним, наверно, шампиньон. Карташев нагнулся и привычной рукой вырыл целое гнездо шампиньонов.

– А вот еще!

И они быстро набрали два полных платка.

– Помню, какой в детстве высокой казалась мне эта стена. Вот в этом месте мы всегда через нее перелезали.

– Как интересно было бы посмотреть на ваш дом!

– Если хочешь, полезем на стену.

– Не страшно?

– Ну! вот по этим дыркам, как по лестнице, я полезу вперед и подам руку.

Карташев влез на стену, лег на нее и спустил руку.

Аделаида Борисовна добралась до его руки и дальше уже о его помощью взобралась на стену.

Во всей ее фигуре были и страх не упасть, и желание поскорее все увидеть. Пригнувшись, она смотрела, а Карташев, держа ее одной рукой, другой показывал ей сад, дом, сарай, горку и объяснял.

– Хотите, прыгнем в сад?

– Ой?

– Я обниму тебя, и мы сразу прыгнем, и таким образом, поддерживая тебя, я смягчу твое падение.

Аделаида Борисовна весело и нерешительно смотрела вниз.

– Только сразу надо: когда я скажу три – прыгать! Ну, раз, два, три...

Карташев прыгнул, а Аделаида Борисовна еще не собралась, и он потянул ее, и оба, потеряв равновесие, упали на землю. Оба испачкались, Аделаида Борисовна ушибла руку, бок и до крови оцарапала щеку. И вытереть кровь нечем было, так как платки с грибами остались на той стороне.

Карташев был очень сконфужен, извинялся, а Аделаида Борисовна, подавляя боль, улыбалась и ласково говорила:

– Ничего, ничего...

– Я сейчас принесу платки.

Карташев влез опять на стену, прыгнул, взял платки и возвратился назад.

Перед смущенной Аделаидой Борисовной стоял высокий Еремей и тоже, мигая своим одним глазом, смущенно смотрел на нее.

– Это Еремей, – объяснил ей Карташев, – это моя невеста, Еремей.

Еремей радостно открыл рот и начал усиленнее кланяться, приговаривая:

– Ну, дай же, боже, дай, боже...

– Дай, боже, – помог ему Карташев, – шо нам гоже, шо не гоже, того не дай, боже...

Аделаида Борисовна кончиком платка, жалея грибы, вытирала кровь, а Карташев говорил Еремею:

– Вот, Еремей, как я угостил свою невесту.

– И чем то могло так оцарапнуть? – качал головой Еремей. – Та чему ж вы не гикнули, я бы лестницу приволок бы.

– Вот это верно! Пожалуйста, пока мы пойдем в дом, принесите лестницу.

Кровь перестала идти, но царапина была во всю щеку.

Скоро и Аделаида Борисовна и Карташев забыли о своем падении, отдавшись осмотру дома и рассказам.

– Вот и здесь меня раз высек отец... Господи, я, кажется, только и вспоминаю, как меня секли. Боже мой, какая это ужасная все-таки вещь – наказание. Около двадцати лет прошло, я любил папу, но и до сих пор на первом месте эти наказания и враждебное, никогда не мирящееся чувство к нему за это... Тебя, конечно, никогда не наказывали?

– Нет... Меня запирали одну, и я такой дикий страх переживала...

На лице Аделаиды Борисовны отразился этот дикий страх, и Карташев совершенно ясно представил ее себе маленьким, худеньким, испуганным ребенком, с побелевшим лицом, открытым ртом без звука, которого вталкивают в большую пустую комнату.

– А, как это ужасно! Деля, милая, мы никогда пальцем не тронем наших детей.

– О, боже мой, конечно, нет!

И они еще раз горячо поцеловались.

– Я как будто, – говорил Карташев, – теперь, когда побывал с тобой здесь, никогда с тобой не разлучался. Ах, как хорошо это вышло, что мы поехали на кладбище, сюда. Мы опять и уже вдвоем родились здесь и с этого мгновения вместе, всегда вместе пойдем по нашему жизненному пути.

Они шли, держась за руки, и она молчаливо горячим пожатием отвечала ему.

– Еще на колодезь зайдем, откуда я вытащил Жучку.

По-прежнему там было тихо и глухо.

Карташев заглянул и сказал:

– Какой мелкий: не больше сажени, а тогда казался бездной без дна. Все как-то стало меньше – и сад и дом... Все тогда было больше...

Лестница уже стояла у стены, и около нее Еремей.

И Еремей уже не тот. Еще худее, выросла большая белая борода. За Зоськой умерла и толстая мать его Настасья, звонко кричавшая, бывало, сыну:

– А сто чертей твоему батьке в брюхо!

Другая теперь, злая, как ведьма, такая же худая, как и Еремей, ест поедом покорного, тихого, всегда бессловесного Еремея.

– Как здоровье Олимпиады?

Еремей махнул рукой и ответил неопределенно:

– Живет! На базар, бес, ушла...

Карташев дал ему двадцать пять рублей, и на бесстрастном лице Еремея сверкнула радость.

– Дай, боже, – говорил он, поддерживая лестницу, – щоб счастье, богатство було, щоб не перебрали всех денег...

На этот раз и благополучно взобрались, и благополучно спустились на другую сторону.

Домой приехали только к часу.

Их встретили все с радостными возгласами, поздравлениями и вопросами, где они

запропали.

– Послушай, – весело кричал издали Сережа, – поддержи коммерцию и не выдай: я держал пари на сто рублей, что вы уже обвенчались? Неужели проиграл? Войди в мое положение...

Когда подошли и увидели расцарапанное лицо Аделаиды Борисовны, опять забросали вопросами: как, что случилось? А Сережа громче всех кричал:

– Ну, я выиграл, выиграл: повенчались, и он уже побил свою жену!

Когда выяснилось, откуда эта царапина, раздался общий вопль:

– Тёма!

И все смеялись, тормозили Карташева и кричали:

– Тёма сумасшедший!

Евгения Борисовна качала головой и с ласковым упреком говорила сестре:

– Как же ты согласилась лезть на стену?

Маня кричала:

– Нет, кто, кроме Тёмы, придумает в первый же день тащить свою невесту на стену и прыгать оттуда? Во всяком случае, Деля, ты видишь, как опасно за этим господином слепо следовать. Именно с ним и надо всегда и за него и за себя все обдумывать, а иначе он заведет вас в жизни в такие круги, из которых и выхода не будет.

Аделаида Борисовна ласково и весело посмотрела на жениха и ответила:

– Куда он пойдет, туда и я пойду, и всегда будет выход.

– Деля, Деля! Погибла...

Сережа отвел брата и сказал:

– И я погиб: как теперь заплачу проигрыш?

– Кому ты проиграл?

– Положим, самому себе... От этого меняется разве что-нибудь?

– Ничего не меняется, и я плачу за тебя проигрыш.

– Я всегда знал, что ты благородный человек: давай деньги!

Когда все успокоились, Евгения Борисовна, скромно и в то же время торжественно, подошла к Карташеву и сказала своим обычным наставительным тоном, слегка картавя:

– Я поздравляю от души вас и Делю. Сделайте ее счастливой... – И, улыбаясь, прибавила: – Старайтесь больше не царапать ее: пусть этой царапиной ограничатся все неприятности вашей будущей семейной жизни...

Отъезд был назначен на другой день.

Аделаиде Борисовне надо было кое-что купить на дорогу, и после завтрака она с Карташевым поехали в город.

В магазине золотых вещей Аделаиде Борисовне понравилось миниатюрное золотое колечко с маленькой жемчужиной.

– Это детское кольцо, – сказал приказчик.

Но Аделаида Борисовна примерила, и оно нашло на ее мизинец.

Кольцо стоило восемь рублей, и Карташев купил его. Он хотел еще покупать, но Аделаида Борисовна твердо сказала:

– Это кольцо я буду всегда носить, когда вас не будет около меня, я буду смотреть на него и думать о вас. Но больше я ничего не хочу. Это такой старый и неприятный обычай дарить своей невесте.

Карташев вспомнил подарки Неручева, когда он был женихом Зины, – бриллиантовый фермуар, аметистовый прибор, – все это были такие дорогие вещи, и в то же время охватывало, смотря на них, такое тоскливое чувство, так холодно сверкали те камни, и где они теперь?

– Я тоже с вами согласен, – ответил он. И, улыбаясь ласково, тихо спросил: – Опять на «вы»?

Аделаида Борисовна покраснела и тоже улыбнулась.

В своих покупках Аделаида Борисовна серьезно и осторожно выбирала себе вещи, и

непрерывно дешевые. Когда Карташев соблазнял ее на более дорогие, она брезгливо говорила:

– Боже сохрани.

Карташеву начинали нравиться дешевые вещи.

– Неужели, – весело спрашивал он, – ты меня научишь быть экономным? Ах, как это было бы хорошо, – это равносильно тому, чтоб не быть своим собственным рабом.

– Конечно, конечно, – говорила горячо Аделаида Борисовна.

И они решили свое будущее гнездышко устраивать как можно дешевле.

– Знаешь что, – предложил Карташев, – давай сейчас самое главное закупим, а то потом без тебя я опять увлекусь.

И они поехали покупать мебель, кровати, посуду.

Купили все очень дешевое, и только относительно рояля Карташев непременно настаивал купить не в триста рублей, как предлагала Аделаида Борисовна, а в семьсот пятьдесят.

Он говорил:

– Там, в Трояновом Вале, все развлечение наше будет музыка, ты так чудно играешь...

– Но ведь и на этом, – показывала Аделаида Борисовна на дешевое пьянино, – я так же буду играть, – оно такое маленькое, изящное, тон прекрасный, а сознание, что оно недорогое, будет еще приятнее.

– Нет, знаешь, Деля, если оно недорогое, значит, оно не прочное, а ведь рояль покупается на всю жизнь, и если хороший, то и детям нашим перейдет. Если посчитать, что мы только двадцать пять лет вдвоем проживем...

Карташев быстро делал перемножение в уме.

– ...то это выйдет около девяти тысяч дней, и четыреста пятьдесят рублей лягут по пяти копеек на день всего лишним расходом... Пять копеек! Ну, каждый день, чтоб воротить эти деньги, мы будем делать какую-нибудь экономию в нашем бюджете на пять копеек.

Аделаида Борисовна наконец сдалась, и купили дорогой рояль.

Возвратились домой уже под вечер и дали подробный отчет в своих покупках.

И Аглаида Васильевна и Евгения Борисовна очень похвалили их за экономию, но Евгения Борисовна по поводу покупки дорогого рояля покачала головой и укоризненно сказала:

– Я боюсь, что Адель будет для вас слабой женой: я бы не уступила.

Аделаида Борисовна виновато смотрела на своего будущего мужа, Карташев радостно говорил:

– Но зато какой прелестный рояль!

– Ну, хорошо, что хоть нравится, – ответила Евгения Борисовна. – Но вот что: так как мы с мужем решили подарить вам именно рояль, то это наша покупка.

– Как?!

– Да, да, да! И я вам не Адель, – не уступлю ни за что!

Евгения Борисовна встала, ушла к себе наверх и возвратилась с чеком на семьсот пятьдесят рублей.

– Вот вам стоимость вашего рояля.

– Ну, в таком случае, – предложил Карташев своей невесте, – едем еще раз в город и на неожиданные деньги накупим всего...

Но против этого запротестовали все и энергичнее других невеста.

– Деля, – говорила Маня, – отбери, ради бога, у него все деньги и храни их ты...

Аделаида Борисовна лукаво улыбнулась, смотря на своего жениха, и весело ответила:

– Напротив: я и свои ему передам.

– Что, что?! – закричала Маня. – Ну, тогда я против вашего брака и поведу теперь дело на разрыв.

– Вот что, – предложил Сережа, – так как, очевидно, вы оба будете в денежном отношении несостоятельными, то деньги ваши я беру на хранение... Давайте же...

Сереза постоял, сгорбившись, с протянутой рукой и, качая головой, сказал:

– Пропавшие вы люди!

На другой день Евгения Борисовна, ее муж, Аделаида Борисовна и Карташев уже плыли в безбрежное, гладкое, как зеркало, море, под куполом нежного, какое бывает только весной, неба.

Букеты ароматных цветов в руках у пассажиров и на столах тоже говорили о весне.

Весной была и их любовь, нежная, мягкая, ласкающая, как эта весна, как этот безмятежный день, как то радостное чувство, которое было в них и которое передавалось через них всем окружающим. Казалось, все были заняты, все были охвачены их радостью и все следили за ними, такие же, как и они, чуткие, напряженные. И все два дня путешествия были такими же светлыми, радостными, быстро промелькнувшими, и Карташев говорил своей невесте, сидя с ней на корме, за кучами канатов, когда пароход уже подходил к Рени:

– Это уже прошлое, но не ушло от нас. Оно в нас и вечно будет в нас. Эта память об этих двух днях – вечная картинка в вечной рамке нашей молодости, наших надежд, нашей силы.

И вдруг Аделаида Борисовна заплакала. И лицо ее опять было лицом маленького, беззащитного ребенка, у которого отнимают ее любимую игрушку.

Карташев порывисто, горячо целовал ее руки, лицо, глаза и говорил ей слова утешения.

– Ты будешь путешествовать, вести свой дневник, набираться впечатлений. Я буду работать, устраивать наше гнездышко, куда осенью, как птичка, ты прилетишь, чтоб холодную, скучную зиму жить со мной, вместе. У нас будет камин, яркий огонь в нем, перед камином мы с тобой – жарим каштаны, читаем, живем и наслаждаемся нашей новой жизнью.

В Рени приехали в шесть часов вечера и в восемь уходили. Вечером же уходил и поезд в Троянов Вал.

И опять уже один стоял Карташев на пристани, махая отъезжающим. И ему махали с парохода и Евгения Борисовна, и муж ее. Аделаида Борисовна стояла сзади них и украдкой, робко вытирала слезы, и так рвалось сердце Карташева к ней, утешить ее, высушить поцелуями ее слезы.

Уже совсем скрылся в вечерней дали пароход, надо было и самому спешить на поезд. И он нехотя пошел с пристани, одинокий, весь охваченный Делей, ее лаской, грустью этой ласки.

На вокзале толкотня, масса пассажиров. Знакомый начальник станции дал Карташеву купе, в котором он и заперся, спасаясь от ищущих себе места пассажиров. И только когда уже поезд тронулся, он выглянул в проход вагона.

Прямо против его купе стояла девушка, та самая, которая в прошлом году ехала на пароходе с своим женихом-моряком. У ног ее лежал маленький изящный чемоданчик.

Очевидно, места не хватило, и она решила ехать, стоя в проходе.

Очевидно, и она узнала его.

– У вас нет места?

– Нет.

– Позвольте уступить вам мое купе.

– А вы сами как же?

– Я найду себе где-нибудь.

– Но мы могли бы и вдвоем поместиться в этом купе.

– Если вы ничего не имеете против...

Девушка нагнулась, но Карташев предупредил и бережно внес ее чемодан в свое купе.

Вошла и она и, легко присев у открытого окна, смотрела в темнеющую даль.

– Если вы не боитесь ветра, может быть, предпочтете смотреть встречу поезда.

Она молча поменялась с Карташевым местами.

Оба некоторое время молчали.

Она заговорила первая:

– Мы, кажется, в прошлом году с вами ехали вместе на пароходе.

– Вы ехали с вашим женихом...

– Теперь уже муж, и я только что проводила его: он приезжал на несколько дней в отпуск.

– А я только что приехал из Одессы на пароходе... Я провожал свою невесту и, так же, как и вы в прошлом году, ехал с ней на пароходе. Мы вспоминали о вас, и я говорил своей невесте, что завидовал вам тогда... Не думал я тогда, что через год...

– Вы инженер?

– Да.

– Вы моего двоюродного брата не знаете? Сикорского?

– Валериана Андреевича?

– Да.

Карташев обрадованно заговорил:

– Как же не знаю. В постройке я был его помощником. Мы старые знакомые, друзья еще с гимназии.

Они быстро разговорились. Она оказалась веселой и бойкой спутницей. Оба они были как бы товарищами по несчастью: она проводила своего мужа, он свою невесту.

Она была хороша. Полное, упругое тело на плечах и верхней части груди просвечивало чрез ее ажурную кофточку. Здоровый румянец играл на щеках, черный пушок оттенял сочные, нежные губы, серые большие глаза ее смотрели и обжигали из-под черных ресниц.

Наступали сумерки, становилось темно, а кондуктор все не зажигал огней.

Карташев как-то особенно чувствовал себя. Ему хотелось говорить, говорить о своей невесте и в то же время смотреть в эти серые глаза, смотреть на пушок губ и жадно следить за подергиванием их, когда, смеясь, она вдруг показывала ряд мелких, блестящих, как смоченный жемчуг, зубов. Хотелось коснуться ее маленькой, пухлой руки, коснуться ее розового, полного тела. И от этого кровь горячо вдруг прилиwała к его сердцу и сладкая истома, как набежавшая волна, охватывала его всего.

И тогда они оба сразу смолкали, смотрели в окно и опять друг на друга, и словно что-то вспыхивало опять в их глазах и радостно освещало надвигавшийся мрак ночи.

Прошел кондуктор, зажег свечу и ушел.

Свеча, не разгоревшись, потухла, и опять в темноте они сидели, говорили и, сидя уже рядом, смотрели в окно.

Загорелись яркие звезды в синем бархатном небе, и бархат все синел и темнел, а звезды сверкали все ярче и ярче. Сверкали и дрожали, как капли росы, вот-вот готовые упасть. И падали и серебряным следом резали темную даль. И, как беззвучный вздох, сладко замирало в их душах это падение. И сильнее хотелось говорить, смотреть, касаться.

– Я совсем вас не вижу, – говорил Карташев, всматриваясь ближе в ее лицо.

– А я вас вижу, – говорила она и смеялась, слегка отодвигаясь.

Взошла луна и осветила их обоих. Уже другое было у нее лицо. Лицо русалки, очаровательное, волшебное, и казалось, вот-вот спадут с нее ее платья и прильнет он к ней дрожа от восторга, и умрет в ее объятиях. И сильнее кружилась голова, и, чувствуя себя, как пьяный, он весело болтал и смеялся, подавляя дрожание голоса, подавляя иногда прямо безумное желание броситься и целовать ее. Подавляя, потому что боялся, что не встретит в ней отклика, потому что после этого произойдет вдруг что-то страшное и позорное. И он опять и опять всматривался в нее и мучительно решал, что она теперь чувствует и переживает.

Поезд резко остановился, и в темноте раздался голос кондуктора с платформы:

– Троянов Вал!

– Ваша станция? – разочарованно спросила она.

– Я проеду до конца участка.

Еще четыре часа быть с ней.

– А может быть, вы спать хотите?

– Я?

Она рассмеялась.

– Боже сохрани. Я минутки не засну, потому что одна, потому что буду бояться! Ах, как я рада, что вы едете дальше. Сколько еще времени мы проведем вместе?

– Четыре часа.

– Будет шесть. Скоро светать будет.

Поезд опять мягко понесся в лунную волшебную даль.

– Ах, как хорошо! – радостно говорила она.

– Как в сказке, – отвечал ей Карташев, – мы с вами летим на крыльях. Вы русалка, волшебница, я обнял вас, потому что иначе как же? Я упаду и разобьюсь, бедный смертный. А вы протягиваете вперед руку, и по вашему властному движению все с волшебной силой меняется и превращается в такое чарующее, чему нет слов. Только смотреть, и молиться, и целовать, если б только можно было... Ай, как хороша, как прекрасна жизнь! Хочется кричать от радости!

Стало светать, взошло солнце, и опять другим, новым казалось ее лицо. Теперь ее густые волосы разбились, и в их рамке выглядывало утомленное, слегка побледневшее ее лицо и большие серые глаза с черными ресницами.

Вот и последняя станция. Теперь поздно уже броситься и целовать ее. И слава богу.

Они сердечно прощаются, и Карташев целует ее руку.

Поезд отходит, Карташев стоит на платформе, она смотрит из окна вагона. Теперь Карташев дает волю себе и глазами целует ее глаза, волосы, губы, плечи... И, кажется, она понимает это и не отводит больше глаз.

И мучительное сожаление сжимает его сердце: зачем, зачем так скоро и бесследно пронеслась эта ночь?

XXIII

Целый день после бессонной ночи Карташев чувствовал себя как в тумане. В этом тумане перекрещивались беспрестанно текущие дела, воспоминания о двоюродной сестре Сикорского, воспоминания о невесте.

И в зависимости от охватывавших его воспоминаний то кровь бурно прилиwała к его сердцу, то казалось, что слышит он какую-то далекую нежную музыку, с ясным, грустным и в то же время успокаивающим мотивом. Но в то же время текущие дела линии требовали непрерывного напряжения, и он, отдаваясь на мгновение этим воспоминаниям, гнал их от себя.

Под вечер помощник затащил его к себе на ужин, где также была и княгиня и князь.

Карташеву казалось, что в последнее время князь относился к нему подозрительно и всегда особенно усиленно подкручивал свои усы кверху, когда встречался с Карташевым.

Очевидно, то, что Карташев жених, успокоило князя, и теперь он был опять веселый и ласковый.

А княгиня, напротив, была сосредоточенна и выжидательна.

После ужина князь и княгиня ушли на станцию, помощник занялся заказами на завтрашний день, а Карташев пошел к себе.

Придя домой, он быстро разделся и лег. Усталость приятно охватила его, и он быстро и крепко заснул.

Проснувшись на другой день, Карташев сразу подумал о своей невесте. В противоположность вчерашнему теперь она стояла на первом плане. Он отчетливо видел ее скромную фигурку, ее из шотландской материи тальму, ее розовую рабочую шкатулку. Он опять сидел с ней рядом на корме парохода, следил за бурлящим следом винта и говорил.

Ему захотелось писать, и он сел за письмо к ней:

«Милая, дорогая моя, радость моя! Взошло солнце, и я проснулся, и первая мысль о тебе. Как это солнце – ты своими лучами сразу осветила и согрела мою душу, и я сажусь писать тебе, моему источнику света, чистоты, ласки. Я знаю, что я не стою тебя, но тем

сильнее я стремлюсь к тебе, я хочу быть с тобой».

Карташев писал и писал, лист за листом, поданный кофе остыл; приемная наполнилась обычными посетителями, в комнату наконец заглянул его помощник.

– Я сейчас, сейчас... Принимайте их покамест.

– Да не хотят они разговаривать со мной.

– Сейчас, сейчас...

Карташев торопливо дописывал:

«Вот какое длинное вышло мое первое письмо, стыдно даже посылать. А хочется еще и еще писать, не вставая, все три месяца нашей разлуки, но в приемной, как в улье, жужжат голоса, – мой добрый, толстый и благодушный, как отпоенный теленок, помощник заглядывает ко мне, а мне надо еще кончать письмо, одеваться и пить кофе. И уже девять часов».

Через несколько дней и Карташев получил первое письмо от своей невесты.

И конверт, и почерк, и письмо были такие же изящные, такие же скромные, как и она сама.

Карташев с восторгом прочел письмо и в тысячный раз подумал, что лучшей жены он не мог бы себе пожелать.

В этом письме просто и в то же время умно и наблюдательно Аделаида Борисовна описывала то, что видела, слышала, изредка стыдливо только иногда касаясь самой себя.

«Умная, наблюдательная, сдержанная, образованная, такая же, как мама, – думал Карташев, – и в то же время нежная, женственная, прелестная...»

Мало-помалу жизнь Карташева вошла в обычную колею. Он возился с подрядчиками, ездил по линии. По мере того как крупные работы заканчивались на участке, мелким конца не было. Там толчки, там осунулось полотно, там трава не скошена, не вытянуты бровки полотна, не выходят к поездам сторожихи, а сторожа постоянно попадают только около своих будок. А вот рабочая артель, и Карташев быстро пересчитывает и отмечает себе их количество на этот день.

Все это было важно, как всякая мелочь в деле. Своего рода часовой механизм, где все должно быть в строгом порядке и соответствии, чтобы получалась общая совокупность. Но в то же время все это было и очень однообразно. Утомительно своей однообразностью. Никогда Карташев не уставал так в самые кипучие моменты постройки, как уставал теперь, возвращаясь к вечеру домой после всей этой мелкой сутолоки дня. Так же скучна была и работа в канцелярии – переписка с начальством, мелкая отчетность.

И над всем господствовало теперь сознание, что главное надо всем этим – его Деля, будущая их жизнь, переписка с ней, необходимость ехать в Петербург.

Он уже подал просьбу о двухмесячном отпуске и только ждал заместителя.

Его мысли были уже далеки от того места, к которому он еще был прикован, и он радостно думал о том уже близком времени, когда, свободный от всяких дел, он будет нестись в Петербург. Будет лежать, смотреть в окно вагона, читать в сознании, что дверь не откроется больше и не будут ему докладывать, теревить на все стороны, требовать неотложных ответов.

Приехал и заместитель, и в последний раз с ним объехал Карташев участок.

Он сдал участок, кассу, канцелярию, распрощался со всеми, погулял на прощание в роще с княгиней и уехал ночью, провожаемый только князем.

Поезд тронулся, в последний раз высунулся из окна Карташев, махнул фуражкой князю и сел в своем купе.

Было какое-то предчувствие в его душе, что сюда он больше не возвратится. И, проверяя себя, он был бы и рад этому. Даже зимняя жизнь в своем участке с молодой женою здесь не манила его на глазах у анализирующей княгини, у скептика князя, у доброго обжоры помощника. Это и не общество, и не та кипучая жизнь постройки, которая так по душе пришла Карташеву.

Жизнь, в которой можно забыть самого себя, можно отличиться, выдвинуться,

измерить предел своих сил и способностей.

А вдруг там, в Петербурге, ему удастся попасть опять на постройку, проникнуть в те таинственные управления построек дорог, в которых до сих пор ему удавалось видеть с Володькой только приемные да быстро проходящих озабоченных и важных служащих этих управлений. Удавалось только читать на дверях: «кабинет директора», и в уме представлять себе, как в этом кабинете с тяжелой кожаной мебелью в образцовом порядке, где-то за большим столом, заваленный бумагами, заседает важный, как бог, директор. Какой он? Лысый? Старый? Молодой еще?

Может быть, и он, Карташев, будет когда-нибудь таким же? Нет, никогда не будет. Будет и у него много в жизни, но чего-то другого. Но важным в этом кабинете он себя не мог представить.

Перед Петербургом Карташев заехал к родным.

– Если бы я навязалась ехать с тобой, – спросила его Маня, – взял бы?

– С удовольствием и притом на свой счет туда и обратно и с суточными по пяти рублей в день.

Маня говорила, что едет главным образом справиться насчет поступления на медицинские курсы.

Аглаида Васильевна сочувствовала поездке Мани в том смысле, что это будет безопаснее для Карташева. Мало ли что в дороге может случиться? Встреча с какой-нибудь интриганкой, которая сумеет ловко и быстро оплести ее сына. Мало ли таких, и кого легче, как не ее сына, провести как угодно?

Этими своими соображениями она с Маней поделилась.

И Маня согласилась с матерью, сказав:

– Конечно, конечно... Со мной насчет всего такого можете быть покойны: так отведем Тёмке глаза, что он никого, кроме тех, кого я ему подсуну, не увидит.

Маня весело рассмеялась.

– Если б он только слышал, какую змею отогревает в моем лице.

– Боже сохрани ему говорить!

– Ну конечно!

В оберегании брата от вредных влияний принимал участие и Сережа.

На вокзале он, пройдя все вагоны, сказал сестре:

– Давай вещи. В одном купе с тобой будет сидеть такая рожа, что и Тёмка не полакомится. Будет доволен.

– А он сам в этом же вагоне будет?

– Рядом купе для курящих.

– Ну, неси.

– А вот к этому вагону и близко его не подпускай, – там такая плутишка сидит, что я и сам был бы не прочь...

– Фу, Сережа!

– Что за фу? Для этого и на свет созданы.

Дама, ехавшая в купе с Маней, на одной из станций Московско-Курской дороги слезла.

Маня осталась одна.

– Ну, слушай, – заговорила Маня, когда к ней пришел брат. – В Петербург я теперь не поеду...

– А куда же ты поедешь?

– Это все равно. Сойду я в Туле и чрез несколько дней буду в Петербурге. Я тебя очень прошу ни маме, никому об этом ни слова.

– Надо в таком случае условиться, в какой гостинице мы остановимся в Петербурге.

– Я с тобой не остановлюсь.

– А ты где же остановишься?

– Ну, это все равно, но ты скажи, где тебя искать?

– Где? Ну, в Английской.

- Дорогая, наверно?
- Я не знаю, – во всяком случае, не из самых дорогих. Тебе сколько дать денег?
- Столько, сколько не стеснило бы тебя.
- Пятьсот хочешь?
- А ты не боишься сесть на мель?
- Нет.
- В таком случае давай, пригодятся.
- Ты мне обещала, помнишь, рассказать через год о переменах у вас.
- Перемены предполагаются большие. Вот приеду в Петербург, расскажу.
- Они, что ж, за эту твою поездку выяснятся?

Маня быстро пересела от окна и спокойно спросила:

- Почему в эту поездку?
- Потому что ты сама откладываешь до Петербурга.
- Я не потому откладываю.
- А почему же?
- Почему да почему... Стареньким скоро будете, если знать все захотите... В общем, конечно, эта моя поездка должна выяснить многое из того, что и мне теперь не ясно еще. Одно можно сказать, что раскол зашел так далеко между нами, что придется, пожалуй, и совсем расколоться на две партии.

– Теперь одна? Земля и воля?

– Не кричи. Да.

– А какая другая будет?

– В Петербурге расскажу.

– Денег ты им много везешь?

– А любопытно?

– Как хочешь.

– Видишь, за этот год собрала я тысяч шесть, но осталось около четырех.

– А в общем, большие пожертвования?

– Не знаю. Знаю одно только, что нужда громадная в деньгах.

– И когда конец?

– Конец?

Маня пожала плечами.

– Только еще начинается. При детях твоих будет конец.

В Тулу приехали вечером.

– Не провожай, – категорически сказала Маня, целуясь с братом.

– Я все равно пойду в буфет.

– Немножко подожди.

Карташев в окно вагона видел, как сошла Маня, поздоровалась с каким-то худым, сгорбленным, молодым брюнетом с жидкой бородкой и прошла с ним к выходу.

Карташев еще немного подождал и тоже вышел.

В большой зале буфета стоял гул от массы голосов толпившегося народа.

Карташев вспомнил, что, будучи студентом, в Туле всегда ел суточные щи с пирожками. И теперь он потребовал себе щей, ел их и искал глазами сестру.

Но ни ее, ни спутника ее нигде не было видно.

Только на десятый день по приезде Карташев увиделся с сестрой.

Она подошла к нему, когда он выходил из гостиницы.

– Не бери извозчика, – сказала она, – пройдем пешком.

Они пошли сперва по Вознесенскому и затем повернули по Морской по направлению к театрам.

– Ты шла ко мне или ждала меня?

– Ждала. Такое знакомство, как со мной, принесет тебе только вред. Слушай теперь хорошенько. То, о чем мы говорили дорогой, – теперь совершившийся факт: образовалась

новая партия, и я примкнула к ней. На днях мы выпускаем первый номер нашего журнала. Мы будем называться народовольцы. Наша программа в сущности не отличается от «Черного передела», но путь для достижения цели у нас иной. Мы говорим так: пока нет свободы, настоящей, по крайней мере, чтобы высказывать открыто свои мнения и вести мирную агитацию, ничего нельзя сделать, как уже показал опыт. За пропаганду, то есть за то, что дозволяется во всех конституционных государствах, у нас ссылают уже на каторгу, а скоро и вешать будут. Поэтому и прежде всего борьба с режимом, чтобы свергнуть его и установить ту форму, хотя бы буржуазной свободы, какой пользуются в Европе. Борьба на почве террора: политические убийства, устранение тех, в чьих руках власть, кто не желает нового порядка вещей.

– Но ведь всякое насилие – замена разума руками, а те руки сильнее ваших.

– Теперь – да, но пройдут года, и там будет меньшинство. Мы-то, конечно, обреченные... Я уже переменяла фамилию: сестры Мани у вас больше нет. Подготовь маму, и выдумайте себе, какую хотите, историю моего исчезновения. До свадьбы лучше не говори ничего: я осталась, чтоб присмотреться к курсам.

– Ты будешь писать?

– Нет, ни я к вам, ни вы ко мне.

– Маня, но ты подумай, какой это удар для мамы будет?!

– А! Среди всех тех ударов, о которых скоро услышите, стоит ли еще говорить о таком ударе? И этот урод, на набитый мешок похожий, – Маня показала на проходившего, точно распухшего господина, который с широко раскрытыми глазами осматривал ее, – и лучший из людей – только короткий, очень короткий момент проносятся по земле, и весь вопрос не в продолжительности этого мгновения, так как оно все равно ничтожно по краткости, а в том, как это мгновение будет использовано, сколько сознания будет в него вложено в том смысле, что раз живешь, коротко живешь, и третье, что никому, кроме дела, которое вечно в тебе и за тебя будет жить, ты не нужна и не принадлежишь. Постарайся стать на мою точку зрения и понять одно, что все, что я говорю, не слова, а мое дело, и с точки зрения этого дела ты понимаешь, как я отношусь и к своим и к маминым невзгодам, которые являются для дела вредными, тормозящими его, поэтому отвратительными. Законно, целесообразно одно: общее, равное благо людей, и враги этого блага, похитители его, – наши враги без пощады. Они будут, конечно, ненавидеть нас, будут искажать смысл нашей деятельности, но им и не остается ничего больше... Можешь передать маме, что я лично счастлива, что попала в лучшую струю человеческой жизни, и что, что бы меня ни ждало, я лучшего ничего и не желаю. Желаю только, чтоб это все было чем больше, тем лучше.

Маня остановилась и весело протянула вперед руку.

– А теперь прощай и не поминай лихом. В мою память лишние деньги отдавай, а может быть, когда-нибудь и не в мою уже память, а в силу своего собственного сознания.

У Мани сверкнули слезы.

– О, какое это было бы счастье.

Маня отвернулась и пошла прочь.

– Маня! Маня! – звал ее Карташев.

Но Маня, не поворачиваясь, села на проезжавшего извозчика и быстро уехала.

Подавленный, недоумевающий Карташев еще долго стоял и смотрел вслед уехавшей сестре.

Неужели его сестра, эта Маня, может быть, очень скоро уже будет стоять перед своей жертвой, будет видеть ее кровь, конвульсии смерти, а потом и сама умирать? Сделаться палачом ей – Мане, которая сама и добрая, и умная, и любящая. Красивая... могла бы жить, наслаждаться жизнью... Как могла оторваться она от всего этого?... Мог ли бы он? Нет, нет. Даже если бы и сознавал, что истина у них. Но разве могут они с уверенностью сказать, что истина у них? Где факты? И разве жизнь не разрушила уже все фантазии Фурье, построенные на том, что стоит только захотеть. Но, чтоб захотеть, надо знать, чего хочешь. Надо самознание, образование, а среди ста миллионов темной, беспросветно темной массы

когда наступит это самознание? И это равенство, это равенство всех и вся... Возможно ли оно? Возможен ли прогресс, сама жизнь среди непроглядной серой пелены этого равенства без семьи, близких, из-за жалкого куска хлеба? Какая-то беспросветная тюрьма, арестантские роты, та же община, деревенская, в которой самые талантливые спиваются, ссылаются, делаются негодьями.

Карташев энергично, быстро шел в свое министерство.

Нет, нет. Жизнь не так прямолинейна, и если две тысячи лет тому назад попытки Христа, действовавшего не руками, а силой убеждения, силой большей, чем руки и насилие, ничего не достигли и до сих пор, то не достигнут и эти...

– Извозчик! – позвал Карташев пустого извозчика.

Он ехал и опять думал и думал.

Ему жаль было Мани. Она стояла чистая и светлая перед ним. Помимо его воли, все существо его проникалось уважением к ней, каким-то особым уважением к существу высшему, чем он, способному на то, о чем он и подумать не мог бы. Через нее и ко всей ее партии было то же бессознательное чувство.

1906

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)
[Оставить отзыв о книге](#)
[Все книги автора](#)